Проф. Р. Виппер.

ОЧЕРКИ

ТЕОРІИ ИСТОРИЧЕСКАГО ПОЗНАНІЯ.

Цѣна 1 руб.

Типо-литогр. Т-ва И. Н. КУШНЕРЕВЪ и К°. Пименовская ул., с. д.
Москва — 1911.

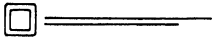


Проф. Р. Випперъ.

ОЧЕРКИ

ТЕОРІИ ИСТОРИЧЕСКАГО ПОЗНАНІЯ.

Цѣна 1 руб.
VIII. 1.





Типо-литогр. Т-ва И. Н. КУШНЕРЕВЪ и К°. Пименовская ул., с. д.
Москва — 1911.

„Мировъ Зѣ“

БИБЛИОТЕКА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
АКАДЕМИИ.

036
32

ПРЕДИСЛОВІЕ.

«Очерки теоріи историческаго познанія» составляютъ курсъ лекцій, читанныхъ въ Московскомъ Университетѣ зимой $190^{8}/_{9}$ года и появившихся въ слѣдующемъ году въ журналѣ «Современный міръ». Отдавая ихъ въ печать, авторъ ограничился несущественными измѣненіями редакціоннаго характера, стараясь сохранить по возможности и форму, въ которой излагался курсъ. Этими обстоятельствами объясняется планъ и содержаніе книги. Въ курсѣ лекцій было бы невозможно дать исчерпывающее и систематическое изложеніе общихъ проблемъ, занимающихъ современнаго историка, представить во всей полнотѣ столкновеніе борющихся между собою теорій. Но за то при изложеніи предмета было важно ввести слушателей въ кругъ вопросовъ, стоящихъ на очереди, и въ особенности испробовать съ ними пріемы критическаго анализа по отношенію къ нѣкоторымъ наиболѣе острымъ темамъ и спорнымъ пунктамъ современной исторической науки. Автору кажется, что тотъ интересъ, съ которымъ были встрѣчены его попытки теоретико-познавательнаго анализа студентами, раздѣлятъ и болѣе широкіе круги людей, интересующихся судьбами и работой этой науки.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стр.

Часть I. **Характеръ историческаго познанія.** . . 1—74

1. Почему вопросы историческаго познанія стоятъ на очереди? 1
2. Элементы абстракціи и конкрѣтности въ исторической наукѣ 16
3. Попытки избавить исторію отъ требованій общенаучнаго метода 48

Часть II. **Формы историческаго познанія.** . . . . 75—284

1. Представленія о планѣ и темпѣ историческаго движенія. 76
2. Традиціонныя представленія о факторахъ, причинахъ и цѣляхъ историческаго движенія . 115
3. Анализъ понятія цѣлесообразности историческаго движенія 138
4. Анализъ понятія причинной связи историческихъ явленій 166
5. Анализъ понятія основныхъ и производныхъ явленій 205
6. Активные и пассивные элементы культуры. Анализъ ученія о роли личности въ исторіи. 231
7. Анализъ понятія общественнаго класса 270

ЧАСТЬ I.

Характеръ историческаго познанія.

I.

Почему вопросы историческаго познанія стоятъ на очереди?.

Мы привыкли соединять общіе вопросы исторической науки подъ терминами: „философія исторіи“, „соціологія“, „методологія исторіи“; но до сихъ поръ, кажется, не встрѣчался еще въ ученой литературѣ терминъ: „теорія историческаго познанія“. Хорошо помню, что когда, лѣтъ 15 назадъ, въ первый разъ привелось упомянуть въ университетскомъ курсѣ о теоріи историческаго познанія, я не имѣлъ опоры въ какой-либо книгѣ или статьѣ; я исходилъ изъ того соображенія, что если теоретико-познавательные вопросы вообще важны въ современной наукѣ, то они должны быть важны и для нашихъ общественныхъ наукъ, а слѣдовательно, можно и должно установить пріемы и задачи теоріи познанія для исторіи.

Терминъ „теорія историческаго познанія".

Совершенно увѣренъ, что многіе тѣмъ же путемъ приходили къ тому же вопросу и къ тому же термину. Вполнѣ естественно, что современники, люди одной и той же эпохи и среды, пробѣгаютъ одинъ и тотъ же путь мысли, волнуются однимъ и тѣмъ же запросомъ, выговариваютъ одно и то же завѣтное слово, но выговариваютъ каждый про себя, не зная о своихъ единомышленникахъ. Когда кто-нибудь первый высказываетъ публично это готовое въ умахъ слово или формулу, онъ сразу объединяетъ множество людей. Точно сразу обнаруживается цѣлая секта, цѣлая партія. Фактъ этотъ до такой степени иногда поражаетъ тѣхъ, кто искалъ одинаковыхъ путей и выходовъ, что люди забываютъ о заслугѣ собственной мысли. Они готовы признать перваго возвѣстителя мысли, общей цѣлому ряду искателей, изобрѣтателемъ этой мысли, открывшимъ ихъ глаза. Они говорятъ: „Вотъ онъ нашелъ то, чего мы искали". Но, по большей части, я бы рѣшился сказать, почти всегда, это—ошибка. Идея, формулы, теоріи не изобрѣтаются, а обнаруживаются, и само обнаруженіе нерѣдко бываетъ случайнымъ; но какъ фактъ, служащій объединенію, какъ фактъ, соціализующій мыслящихъ людей, обнаруженіе мысли можетъ быть крайне важно. Оно можетъ служить новымъ и существеннѣйшимъ толчкомъ для движенія мысли, потому что, когда слово сказано, вмѣсто одновременной, но изолированной работы наступаетъ работа совмѣстная, взаимное укрѣпленіе и взаимный контроль.

Такъ понимаю я и предстоящую работу. Теоріи историческаго познанія пока нѣтъ, какъ связнаго цѣлаго, но запросъ на нее есть. Онъ соединяетъ многихъ, и

первый ли я произношу это слово, или нѣтъ, это неважно; важно то, что, произнося его, я высказываю общую многимъ цѣль исканій. И не только въ терминѣ, если онъ произносится впервые, нѣтъ изобрѣтенія; изобрѣтенія не будетъ и дальше, въ развитіи отдѣльныхъ положеній. Думаю, что мнѣ придется пересмотрѣть постановку обычныхъ нашихъ вопросовъ, анализировать наши привычные понятія и пріемы. Однако, надо столковаться. Что же мы будемъ разумѣть подъ теоріей историческаго познанія? Вѣдь она является не только чѣмъ-то новымъ, какъ предметъ изложенія, но она представляетъ и новую область изысканій. Что же выдвинуло эту новую научную цѣль, что въ ней кроется? Отчего эти задачи раньше вовсе не ставились или не возникали въ такой острой формѣ?

Характеръ новыхъ запросовъ въ области философіи.

Постоянно слышишь, что въ наше время возродился интересъ къ философіи; нерѣдко хвалятъ современныхъ студентовъ, какъ поколѣніе, которое „опять стало цѣнить философію“. Но если подъ философіей разумѣть общіе вопросы міропониманія, если философія—совокупность общихъ пріемовъ и задачъ мысли, то это — похвала, незаслуженная нашимъ молодымъ поколѣніемъ, и упрекъ, незаслуженный его предшественниками: дѣло въ томъ, что въ наукѣ всегда впереди стояли общіе, иначе говоря, философскіе вопросы, и рѣшительно нѣтъ основанія утверждать, что, напримѣръ, 20 или 40 лѣтъ тому назадъ ими менѣе интересовались, чѣмъ теперь.

Наши панегиристы философіи выражаются иногда точнѣе о характерѣ привѣтствуемаго ими философскаго возрожденія. Они говорятъ о возникновеніи критицизма, о настоятельной необходимости пересмотра нашихъ об-

щихъ понятій, сужденій и пріемовъ мысли. Такимъ образомъ оказывается, что не столько возродился интересъ къ философіи, сколько на первое мѣсто стало нѣкоторое новое направленіе ея. Правда, очень многіе изъ возвѣстителей эры критицизма какъ нельзя болѣе далеки отъ него по существу: подразумѣвая подъ критицизмомъ только отстраненіе началъ, выставленныхъ позитивной философіей, они пробиваютъ себѣ выходъ изъ тисковъ осторожной науки, чтобы взлетѣть въ облака безбрежной метафизики, чтобы пріобрѣсти право опять искать Бога, абсолютное начало, говорить о тайнахъ непознаваемаго, сверхчувственнаго и сверхразумнаго. Намъ нѣтъ дѣла до всей этой идеалистической эпопеи, которая по временамъ похожа на попытку вернуться въ сладкое младенчество сознанія. Намъ важно, что и эта реакція мысли вынуждена идти подъ знакомъ критицизма, что даже новые метафизики должны прикидываться критицистами. Слѣдовательно, это сильный, неустранимый запросъ.

На что же именно направленъ критицизмъ, и отчего онъ сталъ теперь на первую очередь? Опять-таки пересмотръ научныхъ схемъ, отвлеченій, символовъ, классификацій, терминовъ и пріемовъ совершается и совершался постоянно и непрерывно; исторія науки есть смѣна пріемовъ и формулъ, и всякой смѣнѣ предшествуетъ критика, толчкомъ къ которой служитъ неудовлетворенность построеніями и пріемами, переданными отъ предшествующихъ поколѣній. Спрашивается: есть ли какое-нибудь отличіе критической работы нынѣшняго времени надъ построеніями, символами, методами науки отъ критики другихъ временъ?

Да, мы всѣ, во всѣхъ областяхъ науки, чувствуемъ это отличіе, чувствуемъ напряженность и всеобщность критическаго пересмотра. И чтобы сказать сразу, однимъ словомъ, въ чемъ состоитъ основаніе пересмотра,— у насъ накопилось слишкомъ много устарѣлыхъ элементовъ научной мысли, которые являются негодными орудіями или слишкомъ грубыми схемами. Иначе выражаясь, между новыми запросами и тѣми группами символовъ, которыми мы располагаемъ для описанія, для классификаціи, для истолкованія фактовъ, образовалось несоотвѣтствіе.

Въ самомъ дѣлѣ, всѣ важнѣйшія понятія, причина, слѣдствіе, сила, энергія, воля, цѣлесообразность, вліяніе, воздѣйствіе и т. п., которыми мы оперируемъ въ толкованіяхъ исторіи и въ построеніи историческихъ схемъ, — всѣ они возникли на почвѣ другого міровоззрѣнія, которое можно назвать *анимистическимъ*. Анимизмъ предполагалъ въ мірѣ, въ отдѣльныхъ существахъ и въ вещахъ дѣйствіе скрытыхъ личныхъ двигателей, духовъ, боговъ и божковъ. Въ большинствѣ вышеприведенныхъ терминовъ ясно чувствуется оттѣнокъ принудительнаго дѣйствія какой-то скрытой силы, animus или anima, намекъ на творческое начало, идущее изъ глубины вещей.

Устарѣлость научнаго языка.

Отраженіемъ стараго міровоззрѣнія остался нашъ научный языкъ, наши традиціонныя формы умственнаго общенія. Но языкъ—не только архивъ старинной науки, онъ также необходимый аппаратъ и средство науки новой, подвигающейся впередъ. Языкъ, однако, не можетъ идти однимъ шагомъ съ развивающимися запросами, онъ неизбѣжно отстаетъ, затвердѣваетъ; безъ

сомнѣнія, въ немъ возможны частичныя реформы, языкъ можетъ дополняться новой терминологіей, но это—измѣненіе внѣшняго характера. Конечно, унаслѣдованныя словесныя формы можно примѣнять въ новомъ смыслѣ, вкладывать въ нихъ другое содержаніе; такое незамѣтное превращеніе, такая замѣна понятій постоянно и происходитъ. Безъ сомнѣнія, говоря о причинахъ, напримѣръ, Великой революціи, мы разумѣемъ не то, что̀ въ Средніе вѣка, согласно Аристотелю, понимали подъ causa efficiens, т.-е. творящей, осуществляющей силой; мы разумѣемъ подъ причиной — условія или даже только предшествующіе моменты событія. Мы уже смягчили это понятіе, вынули изъ него анимистическій смыслъ. Пожалуй, скажутъ, что возможность такой подстановки устраняетъ всякія затрудненія. Стоитъ ли такъ безпокоиться изъ-за словъ, терминовъ? Развѣ мы не господствуемъ надъ ними, развѣ мы не можемъ всякій разъ условиться относительно ихъ смысла и примѣненія?

Да, если бы всѣ были согласны при такомъ уговорѣ, и если бы слова были только подвижные знаки, а не вызывали бы опредѣленныхъ представленій! Намъ кажется, напримѣръ, что въ терминѣ „причина“, „причинная связь“ мы уже устранили анимистическій смыслъ, идею творящей силы, энергіи. Но такъ ли это? Удалось ли намъ сдѣлать это вполнѣ? Примѣняя терминъ, отыскивая причины историческихъ явленій, не попадаемъ ли мы все-таки на старые пути? Не пытаемся ли мы возстановить на практикѣ то, отъ чего въ принципѣ отказались? И, наконецъ, если мы не хотимъ допускать въ исторической жизни дѣйствіе скрытыхъ, одухотворенныхъ силъ, творящихъ человѣческія отношенія, то

какой новый смыслъ имѣетъ исканіе причинной связи историческихъ явленій?

Какъ бы мы свободно ни располагали данными научнаго и философскаго языка, однако и обратно, языкъ, точнѣе говоря, традиція черезъ посредство языка, господствуетъ надъ нашими представленіями. Въ видѣ иллюстраціи можно сослаться на реакціонеровъ начала XIX в., которые такъ настаивали на руководящей роли языка въ работѣ мысли. Слово, по ихъ мнѣнію, умнѣе мысли; все, что мы можемъ узнать въ наукѣ, намъ даютъ слова, даетъ языкъ. Высшій научный методъ— стараться понять вещи изъ ихъ названій. Отчего слѣдуетъ преклоняться передъ властью, передъ личностью властителя? Да потому, что эта заповѣдь заложена въ самомъ словѣ, означающемъ властителя: König, King, ханъ, каганъ и т. д.—всѣ эти слова отъ корня können, имѣть мощь, силу. Если ты понялъ истинный смыслъ слова, ты нашелъ принудительныя правила своего поведенія.

Конечно, это очень рѣдкій примѣръ торжества надъ человѣкомъ традицій, и потому онъ можетъ казаться малоубѣдительнымъ: вѣдь реакціонеры совершенно сознательно разыскивали въ архивѣ человѣческихъ дѣлъ и словъ все непонятное, загадочное, туманное, они намѣренно выстраивали изъ старинныхъ терминовъ какія-то загородки, препятствія для свободной мысли. Если же такой цѣли нѣтъ, если на языкъ не смотрѣть, какъ на неприкосновенный Божій даръ, если сознательно избѣгать мистики, то въ устарѣлости языка, повидимому, нѣтъ никакой опасности, есть лишь нѣкоторое неудобство, нѣкоторая тяжесть, мѣшающая движенію.

Возможенъ другой примѣръ, который покажетъ, что такая опасность есть, что старый аппаратъ рѣчи образуетъ реальную силу, что въ виду его жизненности намъ очень трудно разобраться въ нашихъ сужденіяхъ, остаться послѣдовательными.

Давленіе унаслѣдованной научной терминологіи.

Мы постоянно говоримъ: вина такой-то партіи, что произошли извѣстныя событія; заслуга такого-то дѣятеля, что онъ впервые поставилъ на очередь такую-то общественную задачу; массу народа охватило такое-то общее чувство, которое вызвало тѣ и тѣ коллективные поступки. Но развѣ не странны, не чужды нашему уху эти выраженія? И что́ они представляютъ: только условныя, предварительныя бѣглыя отмѣтки наши для классификаціи явленій, или это — настоящіе прямые вопросы и настоящія окончательныя оцѣнки?

Всѣмъ хорошо знакома борьба противъ метафизики, противъ понятій и сужденій, стоящихъ внѣ области опыта. Отстраненіе метафизики, открещиваніе отъ метафизики очень понятны: они внушены сознаніемъ ея безплодности. Но мы постоянно видимъ, что искреннѣйшіе противники метафизики сами оказываются повинны въ примѣненіи метафизическихъ идей и пріемовъ. Въ этомъ отношеніи существуетъ какое-то взаимное недовѣріе и подозрѣніе; во всякой новой теоріи стараются прежде всего открыть метафизическій элементъ. Что же означаютъ эти постоянныя взаимныя обвиненія, что показываютъ эти грѣхопаденія, невольныя и досадныя, потому что тотъ, кто оказывается виновнымъ въ примѣненіи метафизическаго пріема, искренно желалъ избавиться отъ всякаго подобія его?

Они только показываютъ силу традиціонной символики

мысли. Они показываютъ, что образовалось большое несоотвѣтствіе между нашими запросами, между задачами, которыя ставитъ наука, и тѣми средствами, которыми мы располагаемъ для ихъ разрѣшенія, для отвѣта на нихъ. И мы должны почувствовать, что устарѣлость научнаго языка есть нѣчто большее, чѣмъ одно внѣшнее неудобство. Отсюда возникаетъ потребность общей провѣрки, общаго пересмотра всего хода нашего познаванія, всего аппарата описанія и истолкованія фактовъ, подлежащихъ научному изслѣдованію. Задача теоріи познанія теперь до извѣстной степени можетъ быть названа боевой; въ результатѣ ея критической работы должно произойти очищеніе понятій и пріемовъ, устраненіе элементовъ чуждаго, устарѣлаго міровоззрѣнія, которое не согласуется съ нашими новыми запросами; вмѣстѣ съ тѣмъ должна получиться и болѣе точная формулировка нашихъ научныхъ задачъ. Въ то время какъ для пересмотра общихъ условій нашего научнаго познанія Рихардъ Авенаріусъ предпринялъ монументальную критику чистаго опыта, въ области отдѣльныхъ наукъ сдѣлано въ этомъ смыслѣ очень мало. Тонкія, остроумныя замѣчанія Эрнста Маха къ теоріи познанія физики и механики, конечно, должны казаться отрывочными. Но это все-таки очень большая работа въ сравненіи съ полнымъ молчаніемъ въ области теоріи познанія наукъ общественныхъ.

Кризисъ общихъ научныхъ понятій

Въ сферѣ естественныхъ наукъ въ настоящее время колеблются чуть ли не всѣ общія унаслѣдованныя понятія. Необходимо пересмотрѣть идеи матеріи, вещества, силы, энергіи: подъ вопросомъ стоитъ понятіе неистребимости, вѣчности матеріи и энергіи. Намъ говорятъ

о возможности рожденій и смертей въ неорганическомъ мірѣ, т.-е. такихъ явленій, которыя считались принадлежащими лишь органическому міру.

Нетрудно видѣть, что общественныя науки переживаютъ такой же кризисъ общихъ понятій и терминовъ. Какъ нельзя болѣе ярко кризисъ отражается въ жестокомъ конфликтѣ между идеалистическимъ и матеріалистическимъ истолкованіемъ исторіи. Нѣтъ сочиненія, которое бы осталось чуждымъ одной изъ двухъ теорій: той, которая принимаетъ самостоятельное возникновеніе и движеніе идей изъ самихъ себя и признаетъ ихъ творческую или организующую роль по отношенію къ матеріальнымъ явленіямъ общежитія; или той, которая считаетъ матеріальныя явленія—первичными, основными, а идеи—производными, отраженіями матеріальныхъ процессовъ.

Этотъ споръ осложняется. Для однихъ жизнь идей, духовная сфера, и сфера матеріальныхъ отношеній—двѣ раздѣльныя области и притомъ либо воздѣйствующія одна на другую, либо параллельно развивающіяся и лишь соотвѣтствующія другъ другу во всѣхъ своихъ фазахъ, во всѣхъ изгибахъ и отклоненіяхъ. Для другихъ существуетъ только одинъ процессъ жизни, обнаруживающійся въ двухъ разныхъ манифестаціяхъ: одной, которую мы называемъ духовной, другой—матеріальной; между ними соотношеніе функцій одного органическаго процесса.

Споръ идеалистовъ и матеріалистовъ, дуалистовъ и монистовъ представляется безнадежнымъ, и выхода изъ него нѣтъ, если мы не пересмотримъ всѣхъ вводимыхъ въ разсужденіе понятій. Чѣмъ вызвана для насъ необ-

ходимость раздѣленія матеріальной и духовной сферы? На какихъ условіяхъ нашего воспріятія оно основано? Какую оно имѣетъ для насъ цѣну и значеніе? И лишь разобравшись въ этихъ вопросахъ, можно будетъ рѣшить, какія допустимы соотношенія между той и другой областью. Можно ли говорить о двухъ процессахъ или о двухъ видахъ проявленія жизни, или же то, что мы называемъ духовной и матеріальной жизнью—ни что иное, какъ два различныхъ мысленныхъ разрѣза, два различныхъ способа изслѣдованія и изученія одного и того процесса? И, можетъ быть, окажется, что для научной классификаціи эти рубрики матеріальныхъ и духовныхъ явленій непримѣнимы, что они годятся лишь въ качествѣ внѣшнихъ учебныхъ рамокъ.

Споръ о возможности открытія „законовъ“ историческаго развитія.

Еще одинъ споръ весьма общаго характера напоминаетъ о необходимости пересмотра основныхъ понятій. Существуютъ ли законы исторической жизни? Можетъ ли быть, напримѣръ, открытъ законъ возникновенія и сохраненія общественныхъ формъ? Существуетъ ли законъ, который бы опредѣлялъ наступленіе, силу революцій и реакцій?

Мы нерѣдко слышимъ по этому поводу: законы историческихъ движеній или переворотовъ еще не найдены. Историческая наука въ этомъ отношеніи отстала отъ наукъ естественныхъ, она находится еще въ младенческомъ, первобытномъ состояніи. Тогда какъ въ химіи, физикѣ, біологіи найдены и установлены точныя формулы повторяющихся отношеній, и потому тамъ возможно предвидѣніе и предугаданіе,—въ области явленій человѣческаго общежитія такихъ формулъ нѣтъ, возможно только констатированіе происшедшаго, только

описаніе конкретныхъ группъ и связей. Это представленіе о хаотичности историческаго матеріала до такой степени вкоренилось у самихъ историковъ, что когда Бокль заговорилъ о механической повторяемости въ области человѣческихъ чувствъ и понятій, о возможности нравственной статистики, большинство историковъ въ Германіи крайне обидѣлись за свою науку и выразили свой протестъ въ такой приблизительно иронической формѣ: мы благодаримъ и не нуждаемся въ томъ, чтобы нашу исторію возводили въ рангъ науки, разрабатывающей законы [1]). И когда, лѣтъ 12 тому назадъ, Лампрехтъ поднялъ приблизительно тѣ же запросы, что и Бокль, опять зашумѣлъ протестъ. Сосредоточившись около журнала „Historische Zeitschrift", противники Лампрехта объявили себя вѣрными продолжателями стародавняго Ренке, который еще въ 20-хъ гг. XIX в. сказалъ между прочимъ, что обязанность историка—только „изобразить, какъ происходило дѣло". И, наконецъ, въ самое послѣднее время крупнѣйшій историкъ Германіи, Эдуардъ Мейеръ, опять рѣзко формулировалъ убѣжденіе въ отсутствіи закономѣрности историческихъ явленій, опять настаивалъ на неповторяемости, единичности моментовъ историческаго процесса.

Надо признать, что школа, такъ рѣзко объявляющая исторію грудой случайностей, по-своему права, что ея позиція въ значительной мѣрѣ оправдывается слабостью

---

[1]) Выраженія эти принадлежатъ критикѣ Дройзена противъ Бокля, появившейся въ 1862 году подъ заглавіемъ: „Erhebung der Geschichte zum Rang einer Wissenschaft".

противниковъ. То, что большинство соціологовъ предлагаетъ въ качествѣ законовъ исторіи, образуетъ довольно блѣдныя абстракціи, общія мѣста. Примѣромъ можетъ служить утвержденіе Лакомба (въ De l'histoire considérée comme science 1895 г.), что власть въ человѣческомъ обществѣ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ настоятельнѣе та потребность людей, надъ которой власть получаетъ контроль; очень большой принудительностью обладаютъ дѣйствія людей, вызываемыя чувствомъ голода, потому что безъ пищи человѣкъ не можетъ жить больше двухъ—трехъ дней. Но еще выше, чѣмъ власть надъ пропитаніемъ людей, стала бы та сила, которой удалось бы взять въ свои руки распредѣленіе между людьми воздуха, потому что безъ дыханія человѣкъ не можетъ прожить 5 минутъ.

Другая большая группа историковъ, весьма законно не удовлетворяясь такими малосодержательными абстракціями, говоритъ: законовъ нѣтъ и ихъ нельзя никогда найти вслѣдствіе крайней сложности общественныхъ отношеній. Тотъ же взглядъ является и въ болѣе смягченномъ видѣ: многіе думаютъ, что задача только сейчасъ не можетъ быть рѣшена вслѣдствіе несовершенства методовъ исторической науки или недостаточной изученности матеріала.

Необходимость теоретико-познавательнаго анализа для рѣшенія этого спора.

Нѣтъ ли, однако, во всемъ этомъ спорѣ крупнѣйшаго недоразумѣнія? Мыслимо ли, чтобы наука существовала вѣка и работала безъ выводовъ или произвела лишь тѣ скудныя формулы, о которыхъ только что упомянуто? Какъ бы ни смѣялись надъ предсказаніями въ исторіи, но предугадываніемъ всѣ и всегда занимались и интересовались. И предугаданія всегда опи-

рались на опредѣленныя, замѣченныя въ прошломъ постоянства, на сходныя или повторяющіяся группы отношеній. Исторія всегда была въ рангѣ науки, признававшей и наблюдавшей закономѣрность. Но, можетъ быть, историки не всегда давали себѣ отчетъ въ томъ, что они подчиняютъ свой матеріалъ большому плану, что они устанавливаютъ и признаютъ извѣстныя постоянства и послѣдовательности. Они всегда старались удовлетворить извѣстному запросу своему и своихъ современниковъ въ опредѣленіи смысла явленій или выведенія господствующей линіи отношеній, но, можетъ быть, съ этимъ запросомъ не совпадало понятіе „закона“ въ приложеніи къ исторіи.

Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь, терминъ „законъ“ появился въ исторической наукѣ въ качествѣ заимствованія. Взятое изъ сферы юридической со смысломъ принудительнаго правила, велѣнія высшей силы, примѣненное затѣмъ въ математикѣ и механикѣ въ качествѣ обозначенія аксіомы, это слово переходитъ къ біологамъ и соціологамъ. Въ пестрой массѣ переплетающихся конкретностей органической и общественной жизни, конечно, нѣтъ мѣста для безошибочнаго принудительнаго дѣйствія простыхъ правилъ, потому что ограничительныя условія чрезвычайно велики и разнообразны. Но съ терминомъ явился запросъ, и его считали нужнымъ удовлетворить, хотя онъ не отвѣчалъ характеру наблюденій.

Очевидно, если мы хотимъ поправки въ данномъ случаѣ, мы должны пересмотрѣть понятіе закона въ примѣненіи къ исторіи. Мы должны дать себѣ отчетъ въ томъ, какова природа тѣхъ постоянствъ, которыя

можно наблюдать и констатировать въ исторіи. Мы должны заранѣе имѣть въ виду степень точности, до которой могутъ идти наши заключенія. Мы должны и здѣсь выяснить, насколько согласуются наши запросы со средствами выполненія, не превосходитъ ли вопросъ нашихъ силъ, а слѣдовательно, правиленъ ли самый вопросъ.

II.

Элементы абстракціи и конкретности въ исторической наукѣ.

Первый нашъ вопросъ состоитъ въ опредѣленіи характера историческаго познанія, т.-е. въ выясненіи того, какимъ путемъ мы приходимъ въ исторической наукѣ къ новымъ истинамъ, къ общимъ заключеніямъ.

Вопросъ объ отношеніи между философіей и наукой.

Необходимо немного остановиться на общемъ спорѣ о характерѣ научной мысли. Обыкновенно принято разграничивать пріемы накопленія матеріала и выведенія законовъ въ видѣ двухъ методовъ: конкретнаго и абстрактнаго. Очень многіе видятъ въ этомъ различіи методовъ какъ разъ противоположность между наукой и философіей. Матеріалъ наблюденія, классификація фактовъ, процессъ опыта и заключенія изъ наблюденій и провѣренной опытомъ конкретности—вотъ истинная область науки, настоящая сфера. Общія идеи, общіе методы, связующіе принципы міровоззрѣнія—достояніе философіи, работающей не опытомъ, а спекулятивнымъ путемъ, путемъ абстрактныхъ заключеній. Отсюда ясно взаимоотношеніе между философіей и наукой. Философія указываетъ наукѣ пути, ставитъ ей проблемы, вноситъ въ фактическую груду организующее начало. Абстрактная мысль идетъ впереди, изобрѣтаетъ, за нею слѣдуетъ описаніе, про-

БИБЛІОТЕКА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМІИ

вѣрка, опытъ. Но есть и противоположный взглядъ на взаимныя отношенія науки и философіи, на вопросъ о первенствѣ того или другого метода. Школа, возражающая первой, утверждаетъ, что всякая научная работа беретъ начало въ описаніи и накопленіи фактовъ, затѣмъ идутъ частичныя обобщенія; дальше частныя научныя заключенія, пройдя многообразными тропами, выходятъ на большія широкія дороги крупныхъ обобщающихъ выводовъ, и все увѣнчивается, наконецъ, общей теоріей, кончается философіей.

Первый взглядъ подчиняетъ науку философіи, второй переноситъ философію внутрь самой науки. Тѣ, кто раздѣляютъ второй взглядъ, обыкновенно считаютъ нужнымъ внести разграниченіе между самими науками, именно различать науки абстрактныя и конкретныя, изучающія принципы и изучающія фактическое строеніе въ извѣстной области природы. Это дѣленіе наиболѣе ясно было выражено Контомъ, который въ то же время формулировалъ съ особенной отчетливостью тотъ взглядъ, что философія ни что иное, какъ совокупность, система научныхъ принциповъ и методовъ.

Въ настоящее время, повидимому, преобладаетъ первый взглядъ. Онъ и составляетъ сущность того, что принято называть „возрожденіемъ интереса къ философіи“. Оттого въ послѣднее время объявилось такъ много философовъ, занимающихся философіей вообще. Согласно взгляду противоположному подобное занятіе непонятно: либо философіей никто не занимается, или ею занимаются всѣ, изучающіе науку.

Ученіе о двухъ путяхъ познанія.

Ограничимся пока констатированіемъ существующихъ понятій, не входя въ ихъ критику, Мы очень часто

слышимъ теперь, что познаніе идетъ двумя различными путями: опытнымъ и спекулятивнымъ, научнымъ и философскимъ, что есть двѣ сферы разума: анализъ и творчество. Пути и способы эти могутъ соприкасаться, оплодотворять другъ друга, но они въ то же время продолжаютъ оставаться двумя различными между собою пріемами усвоенія истины. Наука, говорятъ намъ, можетъ долго строить, укрѣплять низы своей системы, но она неспособна дойти до увѣнчанія цѣлаго; за обиліемъ своего матеріала наука не охватываетъ, не сознаетъ вполнѣ цѣлаго. Напротивъ, философская мысль обладаетъ способностью внезапнымъ свѣтомъ обнаружить господствующую линію, сущность большой группы явленій, доминирующій законъ.

Такимъ образомъ проводится глубокая черта разрѣза между опытомъ и интуиціей, между изученіемъ, съ одной стороны, открытіемъ или изобрѣтеніемъ — съ другой. Иниціаторы разграниченія допускаютъ полезность перваго; но лишь второе въ ихъ глазахъ истинно божественно. Такъ какъ восхвалители философскаго творчества въ то же время являются представителями науки, то естественно предъявить имъ вопросъ: чѣмъ же, собственно, они занимаются, если научное познаніе такъ неполно и односторонне? На это мнѣ приходилось слышать не разъ отвѣтъ: Да наша цѣль и не наука, а выше науки. Есть еще болѣе откровенные люди, еще болѣе точно выражающіе, что они понимаютъ подъ областью, стоящей выше науки. Мы узнаемъ отъ нихъ, что великія интуиціи, великія принципіальныя открытія составляютъ счастливую особенность искусства или даже религіи, въ качествѣ своеобразнаго творческаго про-

цесса мысли. Художникъ, поэтъ или основатель религіозной системы—вотъ кто прозрѣваетъ сущность явленій, набрасываетъ основной законъ жизни, вотъ кто обладаетъ силой сразу увидѣть цѣлое, не отвлекаясь частностями, случайно-конкретными чертами.

Религія, философія или искусство, но во всякомъ случаѣ есть какая-то параллельная наукѣ форма познанія! Человѣкъ какъ будто познаетъ міръ двумя разными способами. Одинъ методъ подсчитываетъ, классифицируетъ, накопляетъ; другой пронизываетъ наподобіе молніи, изобрѣтаетъ.

Безъ сомнѣнія, мы очень далеко пошли за нѣкоторымъ патетическимъ ослѣпленіемъ и очень близко стоимъ къ чисто словесной игрѣ терминами. Конечно, вовсе неважно, причесть ли интуицію, изобрѣтеніе, абстрактную мысль къ наукѣ или нѣтъ, назвать ли эти функціи интеллекта принадлежностью науки, философіи или искусства. Рѣшительно не видно основанія, почему бы всякую форму познанія не считать научной, разъ наука ставитъ себѣ цѣлью познаніе? Трудно понять, что мы выиграемъ, если будемъ причислять, напр., къ искусству или къ философіи такія замѣчательныя изобрѣтенія, какъ „Новую науку“ Джанбатиста Вико или „Идеи къ исторіи человѣчества“ Гердера, культурно-историческія концепціи Ренана или діалектическій матеріализмъ Маркса? Наука это или не наука, а выше науки — на такомъ спорѣ не стоитъ останавливаться и пяти минутъ. Сущность различенія, конечно, заключается въ другомъ. Дѣйствительно ли мы работаемъ двумя методами, которые кореннымъ образомъ расходятся, и если да, то какія между ними отношенія? Идутъ ли эти два метода

все время каждый своимъ путемъ и объединяются ли только ихъ результаты въ представленіяхъ нашихъ? Или, можетъ быть, одинъ методъ образуетъ собственно творческій принципъ познанія, а другой играетъ роль послѣдующей провѣрки?

Какимъ изъ этихъ методовъ идетъ познаніе въ исторической наукѣ? Въ какой мѣрѣ и въ какомъ порядкѣ исторія прибѣгаетъ къ тому или другому методу? Можетъ быть, дѣло вовсе не обстоитъ такъ просто и схематично, какъ кажется на первый взглядъ. Попытаемся анализировать реальный случай въ научномъ движеніи.

Абстракція и конкретность въ спорѣ о старинной земельной общинѣ.

Въ XIX в. историки, соціологи и юристы проявили особенный интересъ къ проблемѣ возникновенія древней земельной общины. Особенно усердно изучали общинныя формы у древнихъ германцевъ, въ Индіи, въ новомъ славянскомъ мірѣ. Выставлены были широкія историческія схемы, въ которыхъ земельная община занимала мѣсто общечеловѣческой ступени развитія. Нетрудно указать тѣ ближайшія побужденія, которыя заставили заняться вопросомъ о земельной общинѣ. Они заключались въ общественныхъ отношеніяхъ послѣреволюціоннаго періода Европы. Поскольку въ интеллигентномъ обществѣ интересовались судьбою раскрѣпощаемыхъ крестьянъ и безпокоились въ виду факта развитія сельскаго пролетаріата,—представители науки старались выяснить вопросъ о старинныхъ коллективныхъ гарантіяхъ хозяйственной устойчивости крестьянъ. Но здѣсь заключается лишь общій толчокъ интереса, и онъ мало объясняетъ тенденцію различныхъ теорій старинной общины, появившихся въ ученой литературѣ.

Въ этомъ отношеніи рѣзко раздѣлились двѣ группы гипотетическихъ построеній. Представители одной говорили объ исконной общинѣ свободныхъ людей, которая позднѣе, съ развитіемъ культуры, была разрушена неравенствомъ, возникновеніемъ аристократіи. Другіе настаивали на исконномъ неравенствѣ человѣческаго общества и объясняли общину, какъ круговую поруку крѣпостныхъ; община — коллективная форма рабства, поздняя форма принудительной разверстки повинностей между порабощенными членами деревни, зависимой отъ сеньора, помѣщика; община остается потомъ въ наслѣдіе преемнику помѣщика, государственной власти, которая перевела на себя сеньеріальныя права и взиманіе повинностей съ подданныхъ.

Каждая изъ двухъ научныхъ школъ оперировала своими особыми фактическими ссылками. Ганнсенъ, одинъ изъ ранних теоретиковъ земельной общины, изслѣдовалъ аграрныя отношенія въ Даніи и нашелъ тамъ несомнѣнные слѣды стариннаго общиннаго порядка. Гакстгаузенъ въ 40-хъ годахъ объѣхалъ нѣкоторыя мѣстности Россіи и привезъ на западъ описаніе подлинной, живой еще земельной общины, великорусскаго „міра“. Русскіе славянофилы, его продолжатели, и еще позднѣе, народники видѣли въ этомъ строѣ старинную, глубоко-народную форму, пережившую всѣ невзгоды и утѣсненія феодально-крѣпостныхъ порядковъ.

Противники этого направленія, Чичеринъ, Фюстель де-Куланжъ, Сибомъ, большею частью ссылались на другіе факты. Чичеринъ остановился на условіяхъ поздняго развитія государства и въ качествѣ толчка къ возникновенію великорусской общины выдвинулъ адми-

нистративно-финансовую систему Московскаго государства XVII в. Государственная администрація была виновникомъ и отчасти устроителемъ принудительной разверстки повинностей въ деревнѣ; коллективный характеръ общинной жизни получился не отъ свободнаго соединенія интересовъ, а вслѣдствіе общности давленія. Фюстель де-Куланжъ и Сибомъ тоже направили вниманіе на факты иного рода, чѣмъ народники. Они ссылались на бытовыя явленія Франціи и Англіи, гдѣ и безъ того живыхъ слѣдовъ общины было меньше, чѣмъ въ восточной Европѣ. Что же касается фактовъ, приводимыхъ народниками, то противоположная школа относила ихъ къ другимъ историческимъ эпохамъ и другой связи, она считала общину на Западѣ или послѣдствіемъ римскаго крѣпостного права, римскаго колоната, или продуктомъ средневѣковой феодальной деревни.

Какъ объяснить происхожденіе этой рѣзкой разницы воззрѣній, наблюдаемой не только въ постановкѣ основныхъ положеній, но и въ подборѣ матеріала? Невольно фактъ такого систематическаго различія направляетъ насъ на вопросъ: какую роль въ возникновеніи и развитіи теорій играли фактическія наблюденія, описанный и классифицированный матеріалъ: активную или пассивную? Отъ группировки ли матеріала получились извѣстныя утвержденія, или обратно — подобранный извѣстнымъ образомъ матеріалъ послужилъ иллюстраціей къ готовымъ положеніямъ? Можно ли, напримѣръ, сказать, что Ганнсенъ или Гакстгаузенъ были на службѣ извѣстнаго рода idée fixe и отправились лишь отыскивать во что бы то ни стало доказательства въ ея пользу?

Въ такомъ случаѣ, описанные ими факты цѣликомъ вошли въ готовыя уже схемы?

Такого рода объясненіе связи между теоріей и ея иллюстраціями, ея фактической основой, на первый взглядъ, кажется наиболѣе правдоподобнымъ. Мы легко склоняемся къ мысли, что факты воспринимались наблюдателями черезъ нѣкоторую призму, дававшую извѣстное преломленіе, и что факты подыскивались въ опредѣленномъ направленіи. Мы говоримъ: человѣкъ такого-то общественнаго класса, или партіи, или кружка долженъ былъ усвоить такую-то теорію и, слѣдовательно, воспринимать факты въ такомъ-то направленіи и даже въ такомъ-то подборѣ. Но надо согласиться, что подобныя опредѣленія страдаютъ суммарностью; они пригодны лишь для нѣкоторыхъ практическихъ цѣлей общежитія, напримѣръ, для выясненія чьей-либо партійной физіономіи, для предварительной классификаціи мнѣній и т. п., но неудовлетворительны при рѣшеніи познавательной проблемы. Очень легко успокоиться на такомъ опредѣленіи, когда дѣло идетъ о какомъ-нибудь десятомъ, двадцатомъ, сотомъ повтореніи извѣстной теоріи или группы подобранныхъ, систематизированныхъ фактовъ. Но когда намъ надо объяснить возникновеніе теоріи, когда рѣчь идетъ о первыхъ попыткахъ привлеченія и подысканія фактовъ?

Схемы и иллюстраціи къ нимъ въ научныхъ построеніяхъ вообще.

Сославшись на „готовыя схемы“, признавши, что наблюдатель воспринималъ черезъ усвоенную раньше систему, мы еще ничего не рѣшили въ вышепоставленномъ вопросѣ, мы только отодвинули рѣшеніе на одно звено назадъ. Остается неяснымъ, какъ произошли готовыя схемы, какъ возникли тѣ положенія, которыя держалъ

въ головѣ теоретикъ, когда подходилъ къ фактамъ? Можетъ быть, слѣдуетъ допустить, что лишь послѣ долгаго накопленія фактовъ, послѣ долгой, невидной, незамѣтной работы подбора перестановокъ, сравненій и т. п. вниманіе стало фиксироваться на опредѣленной группѣ, и тогда именно возникло отвлеченное утвержденіе, которое есть ничто иное, какъ формула, объединяющая наблюденныя однообразныя отношенія? Возможенъ еще одинъ путь возникновенія общей идеи—изъ наблюденія одного факта возможно допустить, что начальнымъ шагомъ образованія схемы было сосредоточеніе вниманія на одномъ пунктѣ, именно тотъ самый пріемъ, который считаютъ особой принадлежностью художественной интуиціи.

Возникновеніе большихъ описательныхъ работъ.

Поставимъ тотъ же самый вопросъ о двухъ разныхъ методахъ въ другой формѣ. Существуютъ ли, возможны ли въ исторической наукѣ чисто-описательныя или чисто-собирательныя работы, которыя не исходятъ отъ нѣкоторыхъ заранѣе принятыхъ принциповъ, схемъ, а имѣютъ цѣлью дойти до нихъ лишь въ конечномъ результатѣ? И обратно, можно ли указать работы чисто-интуитивнаго или спекулятивнаго характера, которыя бы составляли продуктъ мысли, отвлекающейся отъ всякой конкретности? И если нѣтъ ни того ни другого типа въ чистомъ видѣ, то не должно ли оказаться наше различеніе двухъ отдѣльно работающихъ методовъ—фикціей?

Присмотримся къ тому, какъ происходитъ такъ наз. накопленіе фактовъ, ихъ описаніе и классификація. Въ качествѣ примѣра могла бы служить огромная описательная работа Мейцена о земельномъ строѣ у герман-

цевъ, славянъ, кельтовъ, финновъ и римлянъ [1]). Мейценъ собралъ въ теченіе долгихъ лѣтъ изумительную массу частностей, снялъ и классифицировалъ планы сотенъ и тысячъ деревень и полевыхъ угодій. Онъ анализируетъ и истолковываетъ мѣста древнихъ писателей, описываетъ хозяйственные порядки или повторяетъ описанія, составленныхъ новыми этнологами. Въ результатѣ—изъ груды трудно обозримыхъ фактовъ выдѣляются ясно и отчетливо выводы историка аграрныхъ отношеній. Они приблизительно таковы: сельскохозяйственные порядки консервативны; хозяйственный строй старины все еще можно читать по межевымъ картамъ, по расположенію дворовъ въ деревняхъ, по размѣрамъ, конфигураціи участковъ. Пользуясь межевыми картами, какъ своего рода археологическими документами, Мейценъ восходитъ отъ современности къ среднимъ вѣкамъ и къ германцамъ Тацита. Затѣмъ есть и болѣе спеціальный выводъ. Каждой народности свойственъ особый типъ поселеній: хуторовый или сплошными деревнями. Кельты склонны къ первому, германцы — ко второму. Отсюда по типу поселка можно опредѣлять расу, національность.

Отмѣтимъ еще одно заключеніе Мейцена. Земледѣліе является позже скотоводства, по крайней мѣрѣ въ Средней Европѣ. Оно вначалѣ составляетъ низшій, худшій родъ занятій сравнительно со скотоводствомъ. Оно возникло въ качествѣ вынужденнаго промысла худородныхъ, обѣднѣвшихъ, задолжавшихъ людей, состо-

[1]) *A. Meitzen,* Siedelung und Agrarwesen der Westgermanen und Ostgermanen, der Kelten, Römer, Finnen und Slawen. 1895.

явшихъ кліентами у хозяевъ-скотоводовъ; практиковать его стали разные опустившіеся элементы общества впервые на ненужной землѣ, получая скотъ взаймы у скотоводовъ и отдавая богатымъ часть продуктовъ; отсюда земледѣлецъ—естественный плательщикъ и крѣпостной, находящійся въ зависимости у богатаго скотовода. Историкъ аграрныхъ отношеній привелъ насъ такимъ образомъ къ болѣе широкому соціально-экономическому выводу: неравенство надо считать однимъ изъ старинѣйшихъ фактовъ деревни.

Наличность общихъ идей ранѣе приступа къ описанію.

Сочиненіе Мейцена представляетъ громадный архивъ кропотливо подобранныхъ, искусно анализированныхъ фактовъ. Но у насъ является сомнѣніе, считать ли только что упомянутые выводы дѣйствительнымъ концомъ работы Мейцена или вѣрнѣе предположить, что главныя заключенія уже выступали передъ нимъ въ началѣ и ходѣ работы? Безъ сомнѣнія, процессъ работы, появлявшіеся въ ходѣ ея новые факты могли измѣнить первоначальные проекты и общія перспективы, но невозможно себѣ представить, чтобы ученый приступилъ къ описанію и собиранію безъ опредѣленныхъ задачъ, рубрикъ и группировокъ, которыя вмѣстѣ съ тѣмъ уже предрѣшали извѣстные выводы. Прежде всего вызываетъ вниманіе пріемъ собиранія межевыхъ картъ. Такой методъ заставляетъ предполагать цѣлый планъ, цѣлую группу идей. Нельзя было начать складывать къ себѣ въ столъ разные карты, чертежи, выписывать со всѣхъ концовъ Европы копіи—такъ на, всякій случай. Всей работой собиранія руководила мысль о вѣрности межевой археологіи, о томъ, что въ нынѣшнихъ границахъ, межахъ и загородкахъ должны были остаться

глубокіе слѣды старыхъ раздѣловъ, черезполосицы и т. д. Другими словами, чтобы возымѣть намѣреніе накоплять и описывать чертежи, надо было допустить консерватизмъ аграрныхъ порядковъ; иначе не было смысла составлять все это обширное описаніе. А признаніе консервативности земледѣльческой деревни—въ свою очередь, одинъ изъ важнѣйшихъ выводовъ сочиненія Мейцена. Оно стоитъ внѣшнимъ образомъ въ концѣ работы. Въ дѣйствительности оно служитъ исходнымъ началомъ для первыхъ шаговъ дѣла собиранія матеріала, осуществленнаго историкомъ.

Приблизительно то же самое придется сказать и о другомъ положеніи аграріи-историка. Изъ ряда фактовъ сдѣланъ выводъ, что каждой національности свойственъ особый видъ поселеній, что кельты—хуторяне, а германцы—деревенцы. Какъ пришелъ къ нему Мейценъ? Описывалъ ли онъ сначала поселки безъ мысли объ ихъ расовой или національной принадлежности, и лишь послѣ того какъ чисто-техническая карта была готова, сопоставилъ ее съ картой этнографической, при чемъ, пораженный точнымъ совпаденіемъ границъ и цвѣтовъ двухъ картъ, здѣсь впервые сдѣлалъ свой выводъ?

Нѣтъ, конечно. И прежде всего потому нѣтъ, что точной этнографической карты для Средней Европы около времени Р. Х. нельзя составить, и какъ разъ вопросъ о границѣ между кельтами и германцами является очень спорнымъ. Скорѣе этнографическая карта была установлена самимъ Мейценомъ и притомъ по соображеніямъ, которыя были обратнымъ примѣненіемъ его метода. Онъ хотѣлъ доказать, что такой-то народной группѣ свойственъ такой-то характеръ поселеній;

и разъ онъ уже считалъ эту связь подтвержденной на извѣстныхъ случаяхъ, то сталъ предполагать ее всюду необходимой; а, слѣдовательно, по характеру поселеній началъ опредѣлять необходимое присутствіе такихъ-то расъ. У многихъ кельтовъ наблюдались хутора; слѣдовательно, гдѣ встрѣчаются хутора, надо предполагать первоначальное поселеніе кельтовъ—вотъ приблизительный ходъ мысли.

Это обратное разсужденіе особенно выдаетъ у автора наличность предварительнаго убѣжденія, предварительнаго принципа, которымъ онъ и руководился при составленіи описанія. А этотъ принципъ, въ свою очередь, восходитъ къ общей мысли о расѣ и національности, какъ духовно-физическомъ цѣломъ, которое рано слагается, прочно держится, которое охватываетъ и опредѣляетъ жизнь многихъ поколѣній, многихъ рядовъ индивидуальностей во всемъ ихъ разнообразіи и во всѣхъ частностяхъ. Можно держаться другого взгляда на расу и національность; можно различать то и другое единство; одно считать старинымъ и зоологическимъ явленіемъ, другое — позднимъ и культурнымъ; можно не связывать ни съ тѣмъ, ни съ другимъ единствомъ формъ общежитія и формъ хозяйства. Можно связывать формы хозяйства съ географическими условіями или съ условіями плотности населенія и условіями обмѣна и т. д. Для всѣхъ, кто держится такихъ взглядовъ, рубрикація Мейцена становится ненужной, неудобной, нелюбопытной. Для него, напротивъ, не могло быть другой постановки описанія. Мейценъ сталъ описывать опредѣленнымъ образомъ, потому что держался общей теоріи о расово-національныхъ основахъ культуры.

Наконецъ, и тотъ выводъ Мейцена, что земледѣліе возникло у германцевъ изъ стариннаго соціальнаго неравенства, что оно было занятіемъ крѣпостныхъ, также не есть результатъ спеціальнаго изученія старинно-германскаго быта. Этотъ выводъ—ни что иное, какъ аналогія, перенесеніе факта, извѣстнаго изъ новыхъ наблюденій среднеазіатской жизни; по отношенію къ германцамъ это—просто гипотеза.

Пріемы чистой индукціи не примѣнимы въ исторической наукѣ.

На примѣрѣ сочиненія Мейцена можно убѣдиться, какъ обманчиво представленіе о „чистомъ описаніи“, которое будто бы, не предрѣшая выводовъ, составляетъ лишь рядъ наблюденій и опытовъ, накопляемыхъ въ качествѣ безразличнаго матеріала. Всякое описаніе, напротивъ, предполагаетъ систему, руководящіе принципы и въ значительной степени является попыткой доказать нѣкоторыя общія положенія. Общая мысль является не въ концѣ работы, а въ ея началѣ и въ ея ходѣ.

Въ логикѣ можно найти схематическое изображеніе индукціи. Но въ дѣйствительности мы не восходимъ отъ болѣе частнаго къ менѣе частному, отъ частнаго къ общему. При самомъ приступѣ къ собиранію конкретнаго частнаго матеріала мы уже держимъ въ головѣ извѣстную предварительную организацію, которая образуетъ систему общихъ положеній. Безъ сомнѣнія, матеріалъ можетъ дать рядъ новыхъ поученій, и тогда общіе выводы, предположенные заранѣе, видоизмѣнятся или замѣнятся совсѣмъ другими. Напр., Мейценъ могъ бы въ своихъ наблюденіяхъ такъ часто встрѣчать несовпаденіе слѣдовъ кельтической расы съ хуторовыми поселками, что его первоначальное убѣжденіе должно

было поколебаться; онъ могъ бы остановиться на другой формѣ поселенія и признать ее характерной для кельтовъ. Онъ могъ бы пойти еще дальше и усомниться вообще въ связи между формой поселковъ и расой или напасть на путь къ другой теоріи, напр., искать связи между формой поселеній и устройствомъ поверхности или характеромъ родственныхъ организацій и т. п. Такая перемѣна среди работы явилась бы результатомъ наблюденныхъ вновь соотношеній и была бы скорѣе похожа на то, что въ логикѣ называютъ индукціей: факты, поставленные въ другія комбинація, заставили придти къ другимъ общимъ заключеніямъ. Толчокъ исходилъ отъ опыта.

Но мы не должны забывать при этомъ, что новый опытъ и вступленіе на путь индукціи стали возможны только благодаря тому, что раньше уже была организована извѣстная система наблюденія, что факты уже были поставлены въ извѣстную группировку. Они и раньше не составляли безразличной хаотической груды; собиратель зналъ, что онъ хочетъ съ ними сдѣлать.

Подобные случаи поворота, измѣненія въ ходѣ работы едва ли очень часты, хотя они все же чаще, чѣмъ можетъ казаться. Мы далеко не всегда узнаемъ о совершившейся перемѣнѣ: авторъ обыкновенно находитъ ненужнымъ, неумѣстнымъ сообщать о покинутыхъ мнѣніяхъ и о своемъ разставаніи съ ними; въ работѣ, выпускаемой въ свѣтъ, онъ излагаетъ лишь окончательные взгляды, а не исторію своей работы, своихъ колебаній. Но сколько бы разъ мы ни встрѣчались съ такими поправками въ ходѣ изслѣдованій и описаній, все-таки остается въ силѣ наше первое заключеніе:

чистыхъ, безпринципныхъ описаній нѣтъ; во всякомъ обзорѣ конкретной группы участвуетъ организующая общая мысль; она сначала представляетъ постановку вопроса, его рубрики; она возвращается въ концѣ въ видѣ отвѣта, заполняющаго конкретнымъ матеріаломъ эти рубрики, подчиняющаго конкретность предварительной постановкѣ.

Элементы дедукцій въ исторической наукѣ.

Въ логикѣ индукціи противополагается дедукція, путь разсужденія и заключенія отъ общаго къ частному. Мы пришли къ тому, что чисто-индуктивный пріемъ образуетъ лишь частный случай въ историческомъ познаніи, притомъ возможный только тогда, когда уже работа поставлена по другому пріему. Но каковъ же этотъ пріемъ, каковъ вообще основной доминирующій методъ историческаго познанія? Нельзя ли въ немъ видѣть приложеніе дедукціи?

Одинъ изъ самыхъ крупныхъ соціологовъ всѣхъ временъ, Джанбатиста Вико, считалъ историческую науку дедуктивной. По его мнѣнію, если признать, что соціальный міръ есть созданіе людей, то отсюда ясно, что въ умѣ культурнаго человѣка, въ томъ духовномъ наслѣдіи, которымъ онъ располагаетъ, должны отложиться всѣ пройденныя измѣненія, должны остаться слѣды пережитыхъ эпохъ, настроеній и мыслей. Поэтому, если только восходить правильнымъ методомъ, можно разсказать себѣ всю исторію прошлаго. Въ этой возсозданной исторіи, говоритъ Вико, „не будетъ ошибокъ, если тотъ, кто участвуетъ въ историческомъ дѣлѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ является лицомъ излагающимъ, возсоздающимъ исторію“. И еще: „Исторія можетъ стать наукой, столь же точной, какъ и геометрія, по-

тому что она создаетъ изъ самой себя міръ извѣстныхъ величинъ, потому что она строитъ сама себя изъ собственныхъ элементовъ".

Приблизительно таковъ же взглядъ Гегеля. То, что прожито человѣчествомъ, есть вмѣстѣ съ тѣмъ сумма идей, выработанныхъ на высшей ступени культуры и отраженныхъ въ сознаніи послѣдняго момента. Заключенные въ этомъ сознаніи принципы образуютъ вмѣстѣ съ тѣмъ руководящія линіи построенія и истолкованія историческаго прошлаго. Слѣдовательно, исторія подчиняется системѣ отвлеченныхъ идей, которыя сложились ранѣе всякой работы надъ историческимъ матеріаломъ.

Таково воззрѣніе основателей двухъ выдающихся системъ, двухъ крупнѣйшихъ изобрѣтателей философско-историческихъ идей. Большія философско-историческія и соціологическія системы вообще кажутся продуктами мысли, посторонней самому историческому матеріалу и лишь потомъ прилагаемой къ историческимъ даннымъ. Такое впечатлѣніе производитъ на насъ и соціологическая система Конта съ ея статикой и динамикой общественныхъ силъ, тремя фазами умственнаго развитія, съ ея ученіемъ о соотвѣтствіи между движеніемъ религіи и техники, съ ея представленіемъ о финальномъ состояніи человѣчества. Такое впечатлѣніе оставляетъ опять-таки Гегель, когда онъ подчиняетъ историческое развитіе идей закону трехъ смѣнъ, переходу положительной фазы въ отрицаніе, отрицанія—въ синтезъ, образующій, въ свою очередь, новую ступень положительнаго утвержденія и открывающій новый циклъ.

Историки съ ясно выраженной абстрактной мыслью.

Рядомъ съ этими очень общими философскими построеніями можно отмѣтить множество конкретныхъ работъ, въ которыхъ знакомыя схемы образуютъ основной скелетъ строенія, одѣтый плотью и кровью историческаго матеріала.

Для приложенія идей контизма особенно типична книга Фюстель де-Куланжа: „Гражданская община древняго міра“. Фюстель объясняетъ развитіе греческой и римской религіи при помощи двухъ идей Конта: во-первыхъ, той, что религіозное сознаніе идетъ путемъ упрощенія и возрастающаго обобщенія; во-вторыхъ, той, что формы и размѣры общественныхъ единицъ зависятъ отъ степени обобщенности религіозной идеи.

Въ качествѣ приложенія къ конкретной исторіи гегельянства очень типична книга Буркгардта: „Культура Возрожденія въ Италіи“. По Буркгардту, Возрожденіе—большой фазисъ общечеловѣческаго развитія; онъ образуетъ середину крупнаго цикла, начинающагося средними вѣками и кончающагося современностью. Средніе вѣка—фазисъ положительной вѣры, подчиненія личности цѣлому, господства стихійныхъ чувствъ, слѣпого авторитета. Возрожденіе — бурный выходъ изъ этого состоянія, его отрицаніе; это эпоха критицизма, свободнаго подъема личныхъ силъ, взрыва индивидуализма; оно вступаетъ въ борьбу съ враждебными силами и принципами среднихъ вѣковъ для того, чтобы изъ соединенія и примиренія противоположностей выработалась современная культура, гармонически сливающая начало личное и общественное, критицизмъ и конструктивную работу, свободу и порядокъ.

Въ работахъ Фюстель де-Куланжа и Буркгардта не-

возможно отрицать наличность дедуктивнаго пріема. Но и по отношенію къ нимъ является вопросъ: встрѣчаемся ли мы здѣсь съ дедукціей въ чистомъ видѣ? Не составляетъ ли руководящая мысль названныхъ авторовъ въ то же время формулы для нѣкотораго рода явленій, наблюденныхъ въ реальной жизни? И если мы будемъ восходить къ иниціаторамъ, Конту и Гегелю, то мы также въ правѣ спросить: не были ли, въ свою очередь, выставленные ими принципы внушены группой конкретныхъ наблюденій?

Конкретная черта, принадлежащая одной наукѣ, становится абстракціей въ области другой науки.

Здѣсь намъ приходится выдѣлить одинъ часто встрѣчающійся случай, возникающій вслѣдствіе того, что науки не изолированы другъ отъ друга, что работа мысли, выводы, сдѣланные въ одной, оказываютъ вліяніе на другую. Мы замѣчаемъ, напримѣръ, въ соціологической системѣ Конта понятія „статика и динамика“: онъ различаетъ отношенія статическія и динамическія, методъ, свойственный изученію статическихъ и динамическихъ явленій. Происхожденіе этихъ понятій изъ области механики — несомнѣнно. Спенсеровы „дифференціація“ и „интеграція“ взяты изъ математики; сравненіе общества съ организмомъ—изъ біологіи; выраженія „историческія вліянія“, „общественное теченіе“, — повидимому, изъ географіи, точнѣе — изъ ученія о рѣкахъ.

Въ подобныхъ случаяхъ мы имѣемъ дѣло со своеобразными толчками и побужденіями мысли. Въ опредѣленной наукѣ есть обобщеніе, которое относится къ ясно очерченной группѣ реальныхъ фактовъ. Оно производитъ на умъ, работающій въ области другой науки, впечатлѣніе удачной метафоры и даетъ возможность

поставить факты совершенно чуждаго ряда въ новую комбинацію.

Особенно любопытный примѣръ такого заимствованія представляетъ одинъ эпизодъ выработки Дарвиновой системы, разсказанный намъ самимъ Дарвиномъ. Изучая вопросъ о происхожденіи зоологическихъ видовъ, Дарвинъ долго искалъ объединяющихъ принциповъ для своего громаднаго матеріала. Среди этихъ исканій на него произвело необыкновенное впечатлѣніе, какъ онъ самъ признается, статистико-экономическое сочиненіе реакціонера Мальтуса, который доказывалъ, что средства пропитанія возрастаютъ несоотвѣтственно естественному росту населенія, и что, слѣдовательно, извѣстные элементы рода человѣческаго самой природой предназначены къ гибели и истребленію; войны, голодъ, заразы—регуляторы для очищенія земли отъ лишнихъ элементовъ; законъ жизни—борьба, выживаніе сильныхъ и устраненіе слабыхъ. Дарвинъ познакомился съ идеями Мальтуса очень поздно, лѣтъ сорокъ спустя послѣ выхода этой книги. Соціально-реакціонная тенденція Мальтуса нисколько не интересовала его. О провѣркѣ совершенно произвольной статистики Мальтуса онъ и не думалъ. Его поразила только мысль о борьбѣ особей большого вида между собой, о ихъ взаимномъ вытѣсненіи и истребленіи, о гибели слабыхъ или позже пришедшихъ, о томъ, что земная поверхность образуетъ арену столкновеній, словомъ—то, что самъ Дарвинъ формулировалъ, какъ законъ борьбы за существованіе. То, что Мальтусъ утверждалъ относительно рода человѣческаго, разумѣя, между прочимъ, настоящую войну, истребленіе однѣхъ группъ другими

въ собственномъ смыслѣ, то Дарвинъ распространилъ въ качествѣ общаго правила на всѣ зоологическіе виды. При этомъ понятіе борьбы за существованіе у него утратило специфическія черты человѣческой истребительной войны, планомѣрнаго уничтоженія, но осталось въ качествѣ весьма отвлеченнаго, блѣднаго объединяющаго понятія для огромнаго количества фактовъ различнаго рода, каково исканіе зоологическими видами пищи, отнятіе ея лучше приспособленными группами у другихъ, медленное вытѣсненіе съ извѣстной территоріи однѣхъ группъ другими, вымираніе слабо приспособленныхъ группъ и видовъ и т. д.

Въ подобнаго рода заимствованіяхъ повторяется одна методологическая черта: то, что было весьма близко къ конкретности въ извѣстной наукѣ, переходя къ другой, становится очень общимъ, становится „философской“ идеей.

Приложеніе къ одной наукѣ выводовъ другой часто представляется „философіей“.

Необходимо обратить вниманіе на то обстоятельство, что множество философскихъ идей и даже философскихъ системъ являются ни чѣмъ инымъ, какъ идеями, обобщеніями опредѣленной науки, опредѣленной спеціальной области, перенесенными на другую область, въ другую науку; онѣ кажутся тогда, на чужой почвѣ, *философіей вообще*, міровымъ принципомъ, хотя въ дѣйствительности онѣ образуютъ развѣ только философское обобщеніе ограниченной сферы или группы явленій. Таково происхожденіе философскаго идеализма Платона.

Болѣе всего Платона занимаютъ вопросы о душѣ, объ интеллектѣ и волѣ, т.-е. психологія, и вопросы о строеніи человѣческаго общества, т.-е. соціологія. Онъ

рѣшаетъ эти проблемы при помощи принциповъ и понятій, заимствованныхъ изъ астрологіи, изъ современной ему восточной науки о небесныхъ явленіяхъ. Платонъ беретъ оттуда ученіе о трехъ элементахъ, — тверди, влагѣ и газѣ, и превращаетъ ихъ въ три составныя части человѣческаго организма, — тѣло, душу и духъ; по тѣмъ же тремъ признакамъ онъ группируетъ три типа людей: расу низшую, соматиковъ („тѣлесныхъ", представляющихъ элементъ неподвижной твердой матеріи), расу среднюю, психиковъ (болѣе живыхъ и подвижныхъ, какъ вода) и высшую, пневматиковъ, людей „духа" (наиболѣе подвижныхъ и неуловимыхъ, какъ воздухъ). Платонъ беретъ также изъ астрологіи мысль о замираніяхъ и возрожденіяхъ солнца, о положеніи свѣтилъ въ водяной стихіи, т.-е. въ оцѣпенѣніи, въ плѣну, въ мученіяхъ, и о ихъ освобожденіи, торжествѣ, прояснѣніи; космогоническія формулы онъ примѣняетъ къ состояніямъ души, образуя изъ нихъ три эпохи: созерцательной небесной жизни души до рожденія, ея пребыванія въ тѣлѣ на землѣ въ качествѣ плѣнника, скованнаго узника, и ея новаго выхода на свободу послѣ смерти.

Не останавливаясь болѣе подробно на этомъ крайне любопытномъ вопросѣ о взаимодѣйствіи научныхъ методовъ, отмѣтимъ теперь только самый фактъ. Нерѣдко въ научную область вступаетъ принципъ, методъ изъ другой науки, и эффектъ такого вступленія посторонняго готоваго обобщающаго принципа въ томъ, что онъ образуетъ начало новой системы понятій. Дальнѣйшая работа составляетъ уже подборъ конкретнаго матеріала въ рамки этой системы.

Но и этотъ частый въ наукѣ случай не устраняетъ вопроса: да имѣемъ ли мы въ самомъ началѣ дѣло съ чистымъ отвлеченнымъ принципомъ, который лишь затѣмъ переносится на конкретные факты? Или съ самаго начала уже общая мысль связана была съ нѣкоторымъ конкретнымъ рядомъ и получилась отъ настойчиваго пересмотра этого ряда? И не долженъ ли въ такомъ случаѣ принципъ чужой науки, который казался главнымъ толчкомъ, исходнымъ моментомъ, быть признанъ лишь подкрѣпляющимъ средствомъ въ работѣ, шедшей уже своимъ опредѣленнымъ путемъ?

Конкретныя впечатлѣнія жизни, какъ основа философіи общественнаго развитія.

Всматриваясь въ философію исторіи и соціологію Гегеля и Канта, мы должны признать тѣсную связь обѣихъ системъ съ группой конкретныхъ впечатлѣній, переживавшихся всѣми современниками ихъ эпохи. Контъ и Гегель очень близко подходятъ другъ къ другу въ своихъ представленіяхъ о трехъ великихъ фазахъ въ развитіи человѣческаго духа. Одинъ называетъ ихъ вѣками богословской, метафизической и положительной научной мысли; другой характеризуетъ періоды преобладаніемъ методовъ положительнаго, отрицательнаго и синтетическаго, или примиряющаго. При всей разницѣ терминовъ сходство по существу поразительно. Оно всего замѣтнѣе въ опредѣленіи второго момента, который у обоихъ философовъ по преимуществу играетъ роль отрицанія, разрушенія предшествующаго, направленнаго къ тому, чтобы расчистить почву для чего-то новаго. У обоихъ философовъ, далѣе, замѣтна склонность сближать первый и третій моменты; въ противоположность среднему, критическому, оба крайніе члена, начальный и конечный, образуютъ періоды органическіе, вѣка по-

ложительныхъ построеній, спокойной систематической работы, вѣка общественной организованности. Третій вѣкъ нѣчто въ родѣ возрожденія перваго, но въ улучшенномъ видѣ; послѣ того какъ организація перваго разрушилась, разсыпалась на составныя части, на индивидуальности, третій снова собираетъ ихъ и снова гармонизируетъ въ цѣлое. Еще одно замѣчательное совпаденіе обѣихъ теорій: третій вѣкъ, вѣкъ современный самимъ мыслителямъ, есть вѣкъ окончательный для человѣчества; Контъ называетъ его финальнымъ, Гегель говоритъ о старости человѣческаго духа. Оба убѣждены что новаго разрушительнаго кризиса уже не будетъ, что благотворные результаты бывшей катастрофы второго періода уже оказали свое дѣйствіе, претворившись въ фундаментъ новаго общественнаго строенія третьяго вѣка.

Чѣмъ больше мы замѣчаемъ черты сходства между Контомъ и Гегелемъ, чѣмъ болѣе всматриваемся въ ихъ опредѣленія вѣковъ, тѣмъ яснѣе для насъ становится, что создатели философскихъ системъ возвели въ норму своеобразную формулировку событій недавняго прошлаго. Ихъ вѣка въ дѣйствительности ничто иное, какъ 1) старый режимъ до революціи, 2) революція и предшествующія ей критическія и оппозиціонныя направленія и, наконецъ, 3) послѣреволюціонный періодъ. Они лишь воспроизвели схему, которая безконечно много разъ формулировалась въ публицистикѣ начала XIX в. Въ культурной Европѣ господство авторитета смѣнилось сначала принципомъ неограниченной свободы, а затѣмъ примиреніемъ свободы и порядка. Между двумя состояніями европейскаго общества стоитъ разрубъ, кризисъ, кото-

рый уничтожилъ старыя сословныя рамки и формы деспотическаго государства. Въ умѣренно-либеральныхъ кругахъ была надежда и желаніе, чтобы революція кончилась; общіе результаты, достигнутые переворотомъ, казались удовлетворительными; остается укрѣплять, достраивать зданіе въ деталяхъ; Европа достигла успокоенія.

Несомнѣнно, конкретный рядъ европейскихъ событій, въ формулировкѣ, приданной политической мыслью извѣстныхъ направленій, послужилъ опытнымъ полемъ для философской мысли Конта и Гегеля. Гегель примыкаетъ, правда, принципами своей діалектики къ общимъ логическимъ категоріямъ, которыя были извѣстны еще греческой философіи. И онъ, и Контъ могли бы сослаться, кромѣ того, на важный прецедентъ въ видѣ старинаго религіознаго ученія о трехъ вѣкахъ: вѣкѣ Бога-Отца, вѣкѣ Бога-Сына, онъ же Богочеловѣкъ, и вѣкѣ Бога-Духа, который будетъ временемъ вѣчнаго или окончательнаго Евангелія. Но что именно придаетъ оригинальность ихъ теоріямъ сравнительно со средневѣковымъ ученіемъ о трехъ вѣкахъ? Какъ разъ тѣ черты, которыя даны новыми конкретными впечатлѣніями. Вниманіе Конта и Гегеля, пережившихъ революцію, неудержимо направлялось на эту цѣпь европейскихъ явленій; ихъ мысль постоянно пробѣгала опредѣленный рядъ событій и отношеній, и на этой именно опредѣленной группѣ провѣрялась и до извѣстной степени заострялась ихъ теорія.

Въ исторической наукѣ нѣтъ чистой дедукціи.

Вернемся къ занимающему насъ вопросу. Послѣ того какъ мы нашли, что въ исторической наукѣ нѣтъ чистой индукціи, нѣтъ описаній, которыя бы предшество-

вали выводамъ, пришлось поставить вопросъ: не представляетъ ли историческое познаніе обратнаго хода, не возникаютъ ли сначала общіе принципы внѣ конкретнаго матеріала и не составляетъ ли, слѣдовательно, описаніе—простого приложенія къ частнымъ случаямъ общихъ идей, принциповъ и категорій? Или, выражаясь терминами, принятыми у новокантіанцевъ: существуютъ ли, возникаютъ ли общія категоріи внѣ опыта и наблюденія, раньше самого наблюденія?

На этотъ вопросъ, по крайней мѣрѣ, въ предѣлахъ нашей науки, приходится отвѣчать отрицательно. Мы не могли бы привести такой философіи исторіи, которая не питалась бы матеріаломъ опредѣленной конкретной группы. Даже въ томъ случаѣ, когда общая идея есть заимствованіе изъ другой науки, она все же фиксируется на извѣстномъ рядѣ конкретныхъ явленій въ своей собственной области.

Возникновеніе соціально-исторической философіи марксизма.

Остановимся еще на одномъ примѣрѣ. Всѣмъ извѣстно, какую роль въ соціально-исторической философіи марксизма играетъ діалектическій принципъ, тотъ самый, который только что нами разобранъ въ философіи Гегеля. Достаточно коротко напомнить, какъ прилагалась діалектика къ картинѣ соціально-экономической эволюціи. Тезисомъ является старинная организація производства. Антитезисъ, это — эпоха развитія капитала, разбивающаго старинныя формы. Капиталъ отрываетъ трудовую массу отъ земли и разоряетъ ее; въ этомъ отрицательное значеніе момента. Но въ немъ же заложены и начала послѣдующаго, третьяго, положительнаго періода: подъ давленіемъ концентрированія капитала въ борьбѣ съ его носителями образуется рабочая масса. Концен-

трація капитала составляетъ основу дальнѣйшаго хозяйственнаго порядка, которымъ должна будетъ овладѣть организованная масса трудящихся; тогда разъединенные богатство и трудъ снова соединятся; это будетъ третій фазисъ эволюціи, ея синтезъ. Среди сторонниковъ марксизма діалектическій принципъ считается важнѣйшимъ эвристическимъ методомъ, т.-е. средствомъ подысканія неизвѣстныхъ ступеней на основаніи извѣстныхъ, средствомъ предугаданія новыхъ будущихъ формъ жизни.

Сужденіе самого К. Маркса.

Самъ Марксъ высказался очень опредѣленно о связи своего соціально-діалектическаго принципа съ діалектической логикой Гегеля. Въ предисловіи ко второму изданію (1873) „Капитала“ говорится: „Мой діалектическій методъ по существу не только отличается отъ гегелевскаго, но и есть его прямая противоположность. Для Гегеля процессъ мышленія, который онъ превратилъ даже, подъ именемъ идеи, въ самостоятельный субъектъ, является деміургомъ дѣйствительности, которая сама образуетъ лишь его внѣшнее проявленіе. У меня же, наоборотъ, идеальное—ничто иное какъ матерія, претворенная и переведенная въ человѣческой головѣ... Мистическую сторону гегелевской діалектики я раскритиковалъ почти 30 лѣтъ тому назадъ, когда она еще была въ модѣ“. Марксъ напоминаетъ далѣе, что его крайне раздражило поведеніе жалкой посредственной литературы, господствующей въ Германіи и позволяющей себѣ пренебрежительно относиться къ Гегелю. Поэтому (въ первомъ изданіи „Капитала“) „я заявилъ себя ученикомъ великаго мыслителя и даже въ главѣ о теоріи цѣнности кое-гдѣ пококетничалъ свойственной ему терминологіей. Мистическая форма, въ которую

облекается въ рукахъ Гегеля діалектика, ничуть не препятствуетъ тому, чтобы признать, что онъ первый широко и сознательно разработалъ общія формы ея движенія. Но она стоитъ у него кверху ногами. Нужно ее опрокинуть, чтобы открыть раціональное зерно, заключенное въ мистической шелухѣ".

„Въ своей мистической формѣ діалектика стала модой въ Германіи, потому что она, казалась, служила къ оправданію существующаго. Въ своей же раціональной формѣ она становится для бюргерства и его доктринальныхъ вождей предметомъ ужаса и ненависти, потому что въ положительное пониманіе существующаго она она уже включаетъ пониманіе отрицанія, необходимой гибели того же самаго существующаго, потому что всякую сложившуюся форму она познаетъ въ ея движеніи, т.-е. въ ея преходящихъ чертахъ, потому что она по существу критична и революціонна".

Съ важными оговорками, признаваясь въ собственномъ полемическомъ задорѣ, Марксъ выводитъ, однако, построенія своей соціально-исторической философіи отъ діалектическаго метода Гегеля. Это сближеніе сдѣлано на большомъ разстояніи отъ возникновенія собственной теоріи, оно въ значительной мѣрѣ является результатомъ рефлексіи и скорѣе даетъ понятіе о томъ, какъ Марксъ въ поздніе годы представлялъ себѣ кругъ родственныхъ понятій, чѣмъ объясняетъ генезисъ его собственныхъ идей. Но онъ все же признаетъ огромное значеніе абстрактнаго толчка, даннаго логической схемой Гегеля. Онъ какъ будто хочетъ сказать: я только перевелъ Гегеля на реальный языкъ, я отыскалъ матеріальныя формы жизни, точно соотвѣтствующія поворотамъ

мысли, потому что повороты мысли только заключались въ превращеніяхъ дѣйствительности.

Наша поправка къ этому сужденію.

Но очень трудно было бы согласиться съ тѣмъ, что Марксу понадобился искусственный свѣтъ абстрактной діалектической схемы для того, чтобы разобраться въ дѣйствительности. Можно быть увѣреннымъ, что его собственная роль гораздо оригинальнѣе, что онъ съ самаго начала читалъ въ книгѣ дѣйствительности, и отъ нея отвлекъ свою формулу, которую лишь позднѣе сличилъ и сблизилъ съ гегелевской.

Въ этомъ насъ убѣждаетъ знакомство съ историческимъ матеріаломъ, заключеннымъ въ „Капиталѣ“. Онъ весь состоитъ изъ примѣровъ, относящихся къ исторіи Англіи. Обезземеліе, концентрація промышленнаго капитала, организація рабочихъ—все это факты, ярко выраженные въ исторіи Англіи послѣднихъ двухъ столѣтій, и Марксъ первый далъ связную соціально-экономическую картину этихъ явленій вмѣстѣ съ ея глубоко-продуманнымъ комментаріемъ. И онъ самъ, и его ближайшій единомышленникъ, Энгельсъ, какъ эмигранты, поселившіеся въ Англіи, и какъ экономисты, интересовавшіеся судьбами промышленныхъ классовъ, съ особенной настойчивостью и вниманіемъ изучали Англію. Не забудемъ при этомъ того обстоятельства, что Англія была въ 40-хъ годахъ, когда ее наблюдали германскіе соціалисты-эмигранты, единственной страной, гдѣ явленія экономической эволюціи сказались именно съ такою рѣзкостью, и гдѣ они успѣли пройти до конца, т.-е. до организаціи индустріальнаго пролетаріата. Въ другихъ европейскихъ странахъ процессъ шелъ иначе или, начавшись позже, далеко не дошелъ до своего конца. Марксъ

читалъ англійскую дѣйствительность необыкновенно внимательно, но онъ читалъ только одну эту дѣйствительность. Онъ необыкновенно ясно схватилъ ея основной чертежъ, но этотъ абстрактный чертежъ былъ вмѣстѣ съ тѣмъ индивидуальнымъ снимкомъ. Его схемы, намѣченныя у него фазы нормальнаго экономическаго развитія всѣхъ временъ прежде всего суть періоды англійской соціально-экономической исторіи, выраженные отвлеченными терминами.

И мы должны сказать, вопреки признанію самого Маркса, что не гегелевскія схемы были имъ переведены на реальный языкъ, а, напротивъ, реальная дѣйствительность Англіи переведена на языкъ абстракцій, который близко совпадалъ съ отвлеченнымъ языкомъ Гегеля.

Приведенный примѣръ долженъ еще разъ иллюстрировать то положеніе, что отвлеченная мысль въ исторической наукѣ работаетъ вовсе не внѣ конкретнаго матеріала. Этотъ матеріалъ можетъ быть односторонимъ, онъ можетъ быть изолированъ отъ сравненій, онъ можетъ оказаться лишеннымъ параллелей. Извлеченные изъ него выводы не опираются тогда на множество рядовъ, не строятся изъ частныхъ обобщеній; они составляютъ тогда констатированіе нѣкоторой основной линіи, наблюденной на одномъ опредѣленномъ рядѣ. Можетъ быть, даже это и есть типичный видъ изобрѣтеній или открытій въ исторической наукѣ; такимъ путемъ, можетъ быть, чаще всего и возникаютъ новыя теоріи.

Роль абстракціи и конкретности въ исторической наукѣ.

Итакъ, историческая наука не идетъ чисто-опытнымъ путемъ, ея методъ нельзя назвать индуктивнымъ. Но, съ другой стороны, она и не исходитъ отъ чистыхъ

интуицій, отъ абстрактныхъ категорій, ея методъ нельзя назвать дедуктивнымъ. Не будемъ рѣшать теперь, въ какой мѣрѣ понятія индукціи и дедукціи вообще пригодны для современнаго научнаго познанія. Но для нашей науки они во всякомъ случаѣ имѣютъ второстепенное значеніе, они являются пріемами дополнительными. Въ нашихъ толкованіяхъ и построеніяхъ историческаго матеріала мы направляемся болѣе сложными, комбинированными путями. На вопросъ, что идетъ раньше, опытъ или интуиція, едва ли можно отвѣтить, потому что тотъ и другой пріемъ никогда не являются раздѣленными. Никакое наблюденіе не совершается безъ руководящей роли извѣстныхъ общихъ категорій, въ свою очередь—общій принципъ никогда не стоитъ внѣ опыта.

Историческая или соціологическая мысль одновременно конкретна и абстрактна, опирается на наблюденія и ищетъ изобрѣтенія. Всякое описаніе наше, всякое перечисленіе фактовъ является на службѣ опредѣленной организующей теоріи. Всякая теорія есть формула опредѣленныхъ конкретныхъ рядовъ. Но такъ какъ ранѣе составленныя организаціи матеріала переплетаются съ новыми, мы никогда не можемъ отрубить моментъ и сказать, что теперь начинается собственно описаніе или собственно изобрѣтеніе. Конкретное и абстрактное являются не двумя противоположностями, а двумя градаціями: больше, меньше реальнаго матеріала, сравненій, опытовъ; большее, меньшее удаленіе отъ наблюденнаго конкретнаго ряда.

Конкретное и абстрактное—не двѣ раздѣльныя группы, а два крайнихъ полюса, двѣ предѣльности, среди ко-

торыхъ движется наша мысль. Въ области нашей науки нельзя отмѣтить раздѣльное примѣненіе двухъ разныхъ методовъ, конкретнаго и абстрактнаго. Нельзя поэтому отнести исторію ни къ категоріи конкретныхъ, ни къ категоріи абстрактныхъ наукъ. Но можетъ ли вообще быть удержано это раздѣленіе? И какъ тогда относиться къ соціологіи, въ свое время выдвинутой Контомъ въ качествѣ абстрактной науки, необходимой рядомъ съ наукой конкретной, исторіей?

Исторія и соціологія.

Предшествующій анализъ методовъ исторической науки, повидимому, указываетъ намъ выходъ въ данномъ случаѣ. Если нельзя провести границу въ примѣненіи абстрактныхъ идей и реальныхъ описаній, то едва ли есть необходимость различать двѣ особыя науки: абстрактную, соціологію, и конкретную, собственно исторію. Если смыслъ соціологіи заключается въ постановкѣ общихъ задачъ, то изъ нихъ трудно или невозможно образовать особую область научнаго вѣдѣнія, потому что общія задачи не выдѣлимы изъ всей совокупности работы надъ историческимъ матеріаломъ. Слѣдовательно, соціологію можно разсматривать какъ умственное отвлеченіе новыхъ задачъ, поставленныхъ въ исторической наукѣ и въ ея дѣйствительной жизни неразрывно соединенныхъ съ матеріаломъ. Раньше этотъ элементъ абстракцій, общихъ началъ, носилъ другое названіе—*философіи исторіи*. Соціологія—преемница философіи исторіи, соціологія, это—новыя общія требованія, предъявляемыя исторіи.

III.

Попытки избавить исторію отъ требованій общенаучнаго метода.

Съ выраженнымъ выше взглядомъ на роль конкретности и абстракціи въ исторической наукѣ, съ нашей характеристикой значенія соціологіи не согласна большая школа историковъ и философовъ въ Германіи; иначе, чѣмъ мы, понимаетъ задачи исторіи вліятельный и старинный историческій журналъ „Historische Zeitschrift“. Вся эта группа ученыхъ относится съ характернымъ, почти націоналистическимъ недовѣріемъ къ соціологіи, какъ научному методу, чуждому Германіи, выросшему на почвѣ французской и англійской мысли. Мы не знаемъ соціологіи,—говоритъ до сихъ поръ большинство германскихъ историковъ,—мы сомнѣваемся въ самой возможности ея существованія; мы находимъ ее безпредметной; принципы ея не приложимы къ исторіи.

На основѣ такихъ сомнѣній и такого протеста возникаютъ попытки опредѣлить истинную и своеобразную сущность исторической науки. Въ послѣднее время всѣ характерныя возраженія противъ соціологической постановки исторіи собралъ выдающійся историкъ Эдуардъ Мейеръ въ своей извѣстной брошюрѣ: „Теоретическіе

и методологическіе вопросы исторіи“ [1]). Въ систематической формѣ развиваетъ тѣ же идеи философъ Риккертъ въ большихъ работахъ и въ статьяхъ, въ частности въ своей „Философіи исторіи“ [2]).

Ученіе о противоположности наукъ естественныхъ и духовно-общественныхъ.

Возможно передать воззрѣнія представителей этого направленія въ общей связи. Существуютъ двѣ группы наукъ и два основныхъ научныхъ метода. Однѣ изучаютъ явленія повторяющіяся, ряды однообразные, и отмѣчаютъ ихъ неизбѣжныя и одинаковыя слѣдованія, иначе говоря, открываютъ *законы*. Другія изучаютъ неповторяющіеся, единственные въ своемъ родѣ ряды и устанавливаютъ преемство внутри одной, только разъ данной цѣпи; открываемыя ими группы причинъ и слѣдствій встрѣчаются только одинъ разъ, онѣ индивидуальны; ихъ остается только *констатировать*. Соотвѣтственно различны и методы той и другой группы. Первыя, отыскивая сходства, повторенія, отвлекаются отъ частнаго, конкретнаго, индивидуальнаго; ихъ методъ абстрактный, обобщающій, „генерализующій“, какъ выражается Риккертъ. Вторыя, отыскивая своеобразное, имѣя дѣло не съ равными многочисленными случаями, а съ моментами одного движенія, составными частями одной группы, сосредоточиваютъ вниманіе на частномъ и конкретномъ, стараются дать наиболѣе точное и полное его описаніе; ихъ методъ—индивидуализирующій.

Раздѣленіе наукъ по методу совпадаетъ съ ихъ раздѣленіемъ по содержанію. Риккертъ особенно настаи-

[1]) Подъ этимъ заглавіемъ переведена *Ed. Meyer*. Zur Theorie und Methodik der Geschichte, 1902.

[2]) Русскій переводъ сдѣланъ со второго изданія статьи, появившейся въ 1907 г. въ сборникѣ имени Куно Фишера.

ваетъ на томъ, что естественныя науки—по существу генерализующія, абстрактныя; въ противоположность имъ общественныя науки, или, какъ въ Германіи говорятъ, Geisteswissenschaften, науки, изучающія духовныя явленія, по существу—конкретныя. Разница происходитъ отъ того, что матеріалъ той и другой группы наукъ неодинаково воспринимается сознаніемъ человѣка. Естественныя науки имѣютъ дѣло съ явленіями, для человѣка безразличными; явленія здѣсь группируются по внѣшнимъ объективнымъ признакамъ, и потому группы состоятъ изъ комбинацій однихъ и тѣхъ же ограниченныхъ въ числѣ элементовъ. Иначе науки, изучающія міръ духовныхъ отношеній: онѣ знаютъ лишь такія явленія, которыя представляютъ для человѣка цѣнности и воспринимаются въ своемъ особомъ субъективномъ значеніи. Изучая эту область отношеній, человѣкъ не только наблюдаетъ, сравниваетъ и заполняетъ рубрики, но главнымъ образомъ оцѣниваетъ культурныя блага по мѣрѣ ихъ пригодности для себя, для своего уровня жизни. Субъективность этихъ оцѣнокъ придаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ индивидуальный характеръ всякому разсматриваемому явленію; всякая вещь занимаетъ свое опредѣленное мѣсто въ кругозорѣ оцѣнивающаго субъекта.

Исторія не можетъ быть подчинена методу естественныхъ наукъ. Безъ оцѣнокъ нѣтъ историческихъ сужденій, оцѣнки составляютъ истинную сферу исторической науки. Повторяющіяся явленія не могутъ интересовать историка. Разумѣется, исторія знаетъ, напр., многократные случаи объединенія и раздробленія націй, возникновенія и разрушенія государствъ. Но историческая

наука не занимается образованіями и паденіями общественныхъ группъ вообще; ея предметъ — образованіе римской имперіи, государства Карла Великаго и т. п.

Исторія въ качествѣ конкретной науки, полной субъективныхъ оцѣнокъ.

На исключительно конкретномъ интересѣ исторіи особенно настаиваетъ Эд. Мейеръ. Аѳинская демократія представляетъ нѣчто единственное въ своемъ родѣ, и, по мнѣнію этого историка, въ ней важно именно то, что не похоже на другія демократіи; притомъ ея формы при Периклѣ и при Клеонѣ также образуютъ явленія единственныя въ своемъ родѣ. Всякій историческій моментъ опредѣляется дѣятельностью такихъ-то личностей, а личности слагаются внѣ элементарныхъ факторовъ исторіи. Какіе бы ни удалось найти законы психическихъ отношеній массъ, историкъ долженъ признать появленіе личности фактомъ непредусмотримымъ, моментомъ внезапно врѣзывающимся. Въ исторіи дальше констатированія такихъ исключительностей нельзя идти. Историческій процессъ образуется изъ цѣпи случайностей; сколько бы ни отводить мѣста взаимной обусловленности простыхъ элементовъ, все-таки существенныя событія и перемѣны зависятъ отъ какого-то нерастворимаго начала, отъ чего-то, неподдающагося учету и классификаціи.

У насъ не должно оставаться никакихъ сомнѣній относительно истинныхъ намѣреній разбираемой школы ученыхъ. Мы могли бы спросить „субъективистовъ“: допускаютъ ли они соціологическую постановку исторіи? Находятъ ли они возможнымъ разсматривать историческій матеріалъ еще подъ другимъ угломъ зрѣнія, кромѣ рекомендуемаго ими? Признаютъ ли они за соціологами право на существованіе, но, не желая съ

ними имѣть ничего общаго, предлагаютъ соціологіи объединиться съ естественными науками, или они считаютъ попытку соціологовъ приложить абстрактный, генерализующій методъ къ историческимъ явленіямъ погоней за призраками?

Конечно, субъективисты держатся послѣдняго взгляда. Въ самомъ дѣлѣ, какова, по ихъ мнѣнію, роль общихъ понятій, абстракцій въ истолкованіи и размѣщеніи историческаго матеріала? Только вспомогательная. Абстракціи служатъ только вступительнымъ словомъ къ реальному описанію единичнаго, единственнаго процесса исторіи. Совершенно также въ любомъ разсказѣ о происшествіи, вмѣсто собственныхъ именъ участниковъ, полезно вводить еще нарицательныя имена, въ родѣ: толпа, многіе, большинство, меньшинство, отдѣльные люди, масса и т. д. Но эти нарицательныя имена не даютъ повода къ особымъ постановкамъ вопроса; толпа, масса, группа, вѣдь, это—только сокращенія, вмѣсто того, чтобы перечислять такихъ-то людей и въ такомъ-то количествѣ. Таково же можетъ быть примѣненіе выраженій въ родѣ: „паденіе государства“, „иноземное вліяніе на культуру“. Для историка это—только короткія предварительныя обозначенія сложныхъ индивидуальныхъ явленій по нѣкоторымъ поверхностнымъ признакамъ. Паденіе римской имперіи, паденіе Израиля, паденіе наполеоновскаго господства важны и интересны каждое своею индивидуальностью, и именно выясненіе этой индивидуальности—послѣдняя цѣль исторіи. О паденіяхъ государствъ вообще нечего разсуждать: такихъ явленій нѣтъ. Это лишь словесные подходы къ точнымъ опредѣленіямъ. Какъ всякія вступленія въ нашей

рѣчи, въ нашихъ курсахъ, книгахъ, они служатъ лишь для оріентировки. Разъ мы узнали предметъ рѣчи, вошли въ него, первыя неясныя обозначенія его очертаній уже не нужны, могутъ быть забыты.

И, конечно, слѣдуетъ признать, что только въ такой рѣзкой формулировкѣ понятенъ походъ субъективистовъ противъ соціологіи, противъ попытокъ найти закономѣрность въ исторіи. Между ними есть ученые огромной силы, какъ, напр., самъ Эд. Мейеръ. Его собственныя работы отличаются всѣми достоинствами глубокаго проникновенія въ условія историческаго прошлаго. Онъ вовсе не отбрасываетъ какія-либо группы вопросовъ на своемъ пути изслѣдованія и истолкованія. Онъ увѣренъ, что въ иной формѣ, другихъ вопросовъ нельзя предъявить къ историческому матеріалу. Мейеръ не для удобства отмежевываетъ себя отъ соціологіи; онъ своеобразно опредѣляетъ свою работу и работу другихъ историковъ, какъ нѣчто органически непохожее на соціологію. Если мы хотимъ съ нимъ спорить, мы должны ему доказать, что онъ именно исполняетъ соціологическую работу, не замѣчая этого или не желая признаваться въ этомъ.

Естественныя науки описательнаго характера.

Попробуемъ разобрать приведенныя воззрѣнія. Вѣрно ли утвержденіе, будто исторіи, какъ наукѣ, изучающей міръ общественныхъ отношеній, свойственно заниматься индивидуальнымъ, единственнымъ, конкретно-случайнымъ; тогда какъ естественныя науки, изучая внѣшній міръ, имѣютъ дѣло съ общимъ, съ повтореніями и вслѣдствіе этого только онѣ однѣ способны выводить законы?

Но вотъ въ числѣ послѣднихъ наука чисто-историческаго типа: это—геологія, наука о составѣ, напла-

стованіяхъ, развитіи земной коры, поверхности земного шара. Развѣ нельзя сказать, что она констатируетъ фазы и комбинаціи одного единственнаго связнаго процесса такъ же, какъ наука, изучающая конкретный историческій процессъ въ человѣческой средѣ? Обратимся къ біологическимъ наукамъ. Ихъ предметъ— многоразличные живые и органическіе виды. Но прежде всего не только живые, а также бывшіе, вымершіе, палеонтологическіе. Затѣмъ и живые, и вымершіе разсматриваются въ біологіи не только въ системѣ, не только подлежатъ сравненію, такъ сказать, на одной плоскости, но всѣ они изучаются такъ же, какъ моменты, какъ развѣтвленія, какъ фазы одной большой системы, развивающейся во времени—мы можемъ смѣло сказать: *одного историческаго процесса*. Что такое самыя блестящія открытія въ біологіи XIX вѣка? Не назовемъ ли мы ученія Ламарка, Дарвина, Уоллеса, Геккеля историческими теоріями? Не составляетъ ли ихъ задачу установить порядокъ формъ, условія возникновенія одной формы изъ другой? Біологическія формы крайне разнообразны и ряды ихъ сцѣпленія многочисленны. Но развѣ нельзя сказать, что каждый видъ занимаетъ опредѣленное мѣсто въ общемъ процессѣ, мѣсто единственное и самъ по себѣ является чѣмъ-то исключительнымъ, единственнымъ, поскольку и самый процессъ въ цѣломъ былъ и есть только одинъ разъ?

Да и у самой астрономіи, абстрактнѣйшей изъ наукъ, по опредѣленію Конта, развѣ нѣтъ исторической задачи? Къ сожалѣнію, ей приходится оперировать съ такими періодами, которые неизмѣримо больше чело-

вѣческой жизни, слѣдовательно, быстротечныя средства наблюдателей слишкомъ мало соотвѣтствуютъ медленному темпу міровой исторіи; мы способны уловить какую-нибудь долю секунды въ міровыхъ годахъ и столѣтіяхъ; и все же самыя настойчивыя усилія астрономовъ направлены на выясненіе процесса образованія, возникновенія и разрушенія громадныхъ міровыхъ тѣлъ и системъ. „Исторія міра“ — эти слова не должны звучать странно для астрономовъ. Основной вопросъ въ изученіи центральнаго тѣла нашей системы, солнца, состоитъ въ опредѣленіи періодовъ накопленія и сохраненія его тепловой и свѣтовой энергіи, момента его охлажденія, который будетъ концомъ всей нашей міровой группы. Рядомъ съ нимъ стоитъ вопросъ о возникновеніи изъ одной массы отдѣльныхъ тѣлъ, современныхъ планетъ, первоначально, можетъ быть, составлявшихъ части одной слабо объединенной массы и обратившихся въ спутниковъ болѣе сосредоточенной центральной матеріи. Это — своего рода историческій процессъ; передъ нами выдѣляется отчетливый рядъ явленій, при полной конкретности и единичности отдѣльныхъ моментовъ и отдѣльныхъ индивидуальностей.

И нельзя даже сказать, что, изучая солнечную систему нашу, мы изучаемъ основную міровую единицу вообще, что мы узнаемъ характеръ всякой и любой солнечной системы. Исторія нашего солнца, если можно такъ выразиться, имѣетъ ограниченно мѣстное значеніе. Когда было сдѣлано открытіе, что большая часть наиболѣе яркихъ звѣздъ—двойныя свѣтила, это повело къ предположенію объ особомъ типѣ міровыхъ системъ, именно о такихъ, гдѣ нѣтъ одной огромной централь-

ной массы, а есть двѣ взаимно связанныя массы; далѣе было сдѣлано предположеніе о существованіи такъ называемыхъ темныхъ солнцъ, которыя въ свою очередь могутъ являться центрами вращенія цѣлой группы небесныхъ тѣлъ. Всѣ эти открытія и предположенія заставили думать, что типы системъ, типы солнечно-планетныхъ міровъ могутъ быть очень разнообразны.

Такимъ образомъ во всѣхъ наукахъ мы приходимъ къ конкретностямъ, къ индивидуальностямъ, къ неповторяющимся рядамъ. Такъ наз. единичность и исключительность явленій вовсе не особый удѣлъ историческаго изученія; это вовсе не особливое свойство матеріала наукъ о духѣ. Вездѣ въ мірѣ на лицо эволюція, процессъ движенія, вездѣ во всѣхъ наукахъ ставится вопросъ объ опредѣленіи отдѣльныхъ конкретныхъ моментовъ, ступеней и индивидуальностей.

Что такое научное предвидѣніе?

Нерѣдко говорятъ о томъ, что въ исторіи невозможно предвидѣніе, тогда какъ оно возможно въ естественныхъ наукахъ и именно потому, что онѣ имѣютъ дѣло не съ единственно случившимся, а съ повторяющимся. При этомъ обыкновенно забываютъ о всей громадной области исторически движущихся элементовъ міровой жизни. Въ исторіи органическаго міра на землѣ, въ исторіи астрономически изучаемаго міра мы имѣемъ такъ же, какъ и въ исторіи рода человѣческаго, ряды, цѣпи явленій; ряды эти могутъ быть сравниваемы, но они не совпадаютъ между собою. И вездѣ, гдѣ рядъ не законченъ, вездѣ вслѣдствіе его индивидуальности предвидѣніе является въ высшей степени труднымъ, обставленнымъ множествомъ ограниченій.

Когда говорятъ о предвидѣніи въ естественныхъ наукахъ, недоступномъ для исторіи, въ примѣръ приводятъ вычисленіе сроковъ затменій или опредѣленіе впередъ химическаго эффекта такого-то провѣреннаго опытомъ соединенія элементовъ. Но чтобы сравнивать дѣйствительно сравнимыя научныя дѣйствія, надо спросить, въ какой мѣрѣ біологи рѣшаются предугадывать новыя органическія формы на землѣ, сроки ихъ возникновенія, характеръ будущихъ видовъ. Астрономовъ надо спросить, въ какой мѣрѣ способны они предсказывать міровыя катастрофы или хотя бы даже фазы, моменты дальнѣйшей эволюціи солнечной системы. И окажется, что вездѣ, гдѣ дѣло идетъ о незаконченныхъ рядахъ, о развивающихся комбинаціяхъ явленій, предвидѣніе въ той же мѣрѣ, какъ въ исторіи, является крайне ограниченнымъ, предсказаніе—чрезвычайно обусловленнымъ. Если вообще можно и слѣдуетъ проводить границу между міромъ единичнаго и міромъ повторяемаго, то раздѣлъ вовсе не тамъ проходитъ, гдѣ его чертитъ школа субъективистовъ. Не въ этомъ состоитъ различіе общественныхъ (или „духовныхъ“) и естественныхъ наукъ. И если намъ пришлось отмѣтить единичность въ группахъ явленій внѣчеловѣческой жизни, наравнѣ съ единичностью историческаго процесса, то, обратно, нельзя упускать изъ виду, что повторяемость, будто бы свойственная только міру внѣчеловѣческихъ отношеній, также встрѣчается въ явленіяхъ общественной жизни, т.-е. въ области исторіи.

Наблюденіе повтореній, какъ основа сравнительнаго метода.

Въ самомъ дѣлѣ, повторенія охватываютъ самыя существенныя стороны историческаго процесса. Повторяются столько разъ, сколько смѣняется поколѣній, явле-

нія, связанныя съ возрастами людей: энтузіазмъ, энергія, новаторство молодыхъ, апатія, консерватизмъ, холодность стариковъ; постоянно повторяются и воспроизводятся группировки людей по близости интересовъ, повторяется борьба между ними и мотивы этой борьбы, повторяются явленія господства и зависимости, явленія покорности и протеста, и т. д. Доказывать обиліе повтореній, перечислять ихъ возможности было бы излишне. Субъективисты и не отрицаютъ наличности повтореній въ исторической жизни; они лишь пытаются отнять у явленій повторяемости методологическую цѣну. Для опредѣленія будущаго, для выведенія законовъ изученіе повтореній въ ихъ глазахъ ненужно, безполезно. Историческая наука или обойдется безъ нихъ въ предугадываніи, или она вовсе не можетъ предвидѣть и предсказывать.

Необходимо, прежде всего, условиться, что такое *повтореніе*. Мы нигдѣ не наблюдаемъ полнаго тождества явленій; нѣтъ двухъ экземпляровъ одного и того же вида, которые бы совпадали во всѣхъ особенностяхъ своихъ организмовъ; нѣтъ двухъ затменій, которыя были бы совершенно тождественны по взаимному положенію трехъ небесныхъ тѣлъ, участвующихъ въ явленіи. Повтореніе всегда есть относительное повтореніе: оно заключаетъ совпаденіе очень многихъ составныхъ элементовъ или признаковъ, при несовпаденіи остальныхъ, которые мы считаемъ возможнымъ игнорировать. Мы игнорируемъ несовпадающіе признаки въ тѣхъ случаяхъ, когда намъ достаточно матеріала для сравненія, когда мы сразу захватываемъ признаки извѣстнаго вида, т.-е. то, что мы считаемъ главнымъ, основнымъ для

такой-то индивидуальности. Въ томъ случаѣ, когда нельзя игнорировать несовпадающіе признаки, мы и не будемъ говорить о повтореніи; мы выдѣлимъ тогда новую группу явленій, въ которой, по всей вѣроятности, и придется признать главными какъ разъ вновь замѣченные несовпадающіе признаки. Устанавливая повторенія, мы, собственно, производимъ опыты, цѣль которыхъ—найти простѣйшую формулу явленія, вывести его главный чертежъ, или, иначе говоря, открыть его главный законъ. Наблюденіе повтореній, *сравнительный методъ*—самый важный и надежный путь къ этой цѣли, но не единственный. Мысль можетъ обойтись безъ сравненій, безъ опыта, сопровождаемаго удаленіемъ или игнорированіемъ несовпадающихъ признаковъ. Существенное можетъ быть схвачено на одной наблюдаемой группѣ, на одномъ выдающемся явленіи.

Возможность общихъ заключеній изъ наблюденій единичнаго ряда.

Таково, повидимому, происхожденіе соціально-исторической философіи Маркса. Законъ соціально-экономической эволюціи былъ открытъ на явленіяхъ одной только Англіи за опредѣленный періодъ. Сравненія, ссылки на сходные ряды въ другихъ странахъ, въ другія эпохи были сдѣланы позже или продолжаютъ дѣлаться послѣдователями Маркса, но онѣ уже играютъ роль провѣрки, роль дополнительную. Составляетъ ли этотъ способъ открытія какую-нибудь особенность нашей науки? Или, можетъ быть, какъ разъ этотъ пріемъ, въ глазахъ субъективистовъ, и доказываетъ опрометчивость научныхъ заключеній въ области исторіи? Ни то, ни другое утвержденіе не будетъ вѣрно. Эрнстъ Махъ въ книгѣ „Познаніе и заблужденіе“ отмѣчаетъ, что крупнѣйшее открытіе астрономіи, законы небесной механики,

выведенные Кеплеромъ и Ньютономъ, получено именно такимъ путемъ, благодаря многократному пересмотру только одного ряда явленій—и безъ помощи сравненій. Махъ считаетъ возможнымъ обозначить такого рода пути заключенія *дѣятельностью фантазіи*, въ противоположность методическому накопленію массы матеріала, за которымъ слѣдуетъ сравненіе. Результаты заключенія тѣмъ и другимъ путемъ одинаковы: добивается ли изслѣдователь сразу установленія господствующихъ главныхъ признаковъ явленія, выступаетъ ли чертежъ ослѣпительными линіями, или приходится разбираться въ темной сначала массѣ, устранять случайные элементы, производить долгое перечисленіе элементовъ сходныхъ и постоянныхъ, чтобы изъ огромнаго накопленія ихъ, наконецъ, убѣдиться, что существенное именно въ нихъ и заключается.

Мѣняютъ-ли оцѣнки методъ общественныхъ наукъ?

Опять мы не находимъ органическаго отличія въ пріемахъ наукъ естественныхъ и наукъ общественныхъ. Но остается еще одинъ доводъ школы субъективистовъ. Они считаютъ элементы сравнимые, сходные въ области историческихъ явленій не существенными, не важными, не характерными. Существенно какъ разъ неповторяющееся, то самое, что при установленіи сходныхъ признаковъ устраняется въ качествѣ случайнаго. И это потому, что историческій матеріалъ не можетъ быть разсматриваемъ объективно, какъ химическіе элементы и космическія явленія, какъ вообще внѣчеловѣческія силы и группы. Историческія явленія составляютъ моменты въ накопленіи культурныхъ благъ. Вся цѣна этихъ благъ опредѣляется ихъ значеніемъ для современнаго человѣка, пишущаго и изучающаго исторію.

Государственныя формы, техника, просвѣщеніе, сплоченность общества—все это важно въ исторіи только потому, что важно въ современности. Если бы эти явленія потеряли цѣну для новѣйшаго человѣка, ихъ изученіе утратило бы всякій смыслъ. Напротивъ, разъ они составляютъ цѣнности для человѣка, они размѣщаются передъ нимъ въ стройномъ порядкѣ; всѣ эти явленія получаютъ до извѣстной степени собственныя имена, становятся личностями, опредѣленными составными частями того цѣлаго, которое и образуетъ современную культуру. Вотъ почему исторія состоитъ изъ оцѣнокъ и оцѣнками живетъ; оцѣнки, это—установленіе собственныхъ именъ для всякаго момента, для всякой ступени культуры. Въ наукахъ, изучающихъ родовыя и видовыя явленія, можно замѣнить одинъ экземпляръ другимъ; это невозможно въ исторіи, гдѣ на каждое явленіе положена печать особаго приговора. Итакъ, историческій процессъ не столько единиченъ самъ по себѣ, сколько индивидуализированъ изучающимъ субъектомъ.

Вѣрно ли, однако, что оцѣнки составляютъ какую-то исключительную особенность исторической науки? И вѣрно ли, что нашъ методъ мѣняется въ зависимости отъ того, безразличенъ для насъ матеріалъ, который мы изучаемъ, или онъ составляетъ прямую для насъ цѣнность?

Развѣ мы не изучаемъ всюду своего рода цѣнностей съ точки зрѣнія потребностей и свойствъ нашего организма? Что такое различеніе свойствъ почвы, различеніе питательныхъ и ядовитыхъ веществъ въ органическомъ мірѣ? Идя дальше, мы должны признать, что всѣ явленія космическаго характера, которыя мы изучаемъ,

свѣтъ, тепловая энергія, электричество и т. д., привлекаютъ наше вниманіе потому, что имѣютъ положительное или отрицательное значеніе для нашего организма. Свѣтъ, напримѣръ, такъ тѣсно связанный съ характеромъ нашего зрительнаго аппарата, имѣетъ для нашей природы жизнесохранительное значеніе, представляетъ біологическую цѣнность для человѣка. Едва ли можно сомнѣваться въ томъ, что біологическое значеніе элемента отражается на его познаніи человѣкомъ. Нельзя допустить, чтобы аппаратъ жизни и приспособленія человѣка—а сюда относится и познавательный процессъ—стоялъ одиноко въ жизни остального міра. Человѣческое познаніе есть продолженная и утонченная форма приспособленія человѣческаго организма къ окружающему. Въ своемъ познаніи человѣкъ воспріимчивъ къ тому самому, что имѣетъ отношеніе къ его органической жизни; его органы воспріятія постольку являются посредниками въ усвоеніи окружающей жизни, поскольку они сами проникнуты, заполнены ея элементами.

Поэтому можно было бы сказать, что весь постижимый міръ наполненъ цѣнностями съ точки зрѣнія человѣка; въ извѣстномъ смыслѣ всякое познаніе есть и оцѣнка.

И въ области общественной жизни цѣнности возникаютъ точно такъ же, и точно такъ же опредѣляются ихъ біологическимъ значеніемъ для человѣка; культурныя блага, это—его жизнесохраняющіе элементы. Безъ сомнѣнія, въ исторической жизни цѣнности образуютъ особенно сложныя комбинаціи. Представленія о нихъ, оцѣнки мѣняются быстрѣе, болѣе зависятъ отъ состоянія культуры, болѣе варіируются въ зависимости отъ

партійнаго, профессіональнаго, классоваго положенія. Это дѣлаетъ затруднительнымъ соглашеніе воззрѣній разныхъ группъ людей. Но въ предѣлахъ каждаго отдѣльнаго міровоззрѣнія эти, такъ называемыя, субъективныя черты не мѣняютъ дѣла, не вызываютъ необходимости примѣнять какой-либо особый, иной методъ: сравненіе осуществимо въ той же мѣрѣ, такъ же возможно выдѣленіе типическаго и т. д.

Наконецъ, прежде чѣмъ строить всѣ эти загородки между науками, выправлять имъ особыя дороги, слѣдовало бы посмотрѣть, въ чемъ собственно состоитъ обычная и общая всѣмъ историкамъ работа. Не производятъ ли историки все время той самой генерализаціи, отъ которой ихъ хотятъ освободить и которую считаютъ для нихъ вредной?

Описательная работа всегда составляетъ упрощеніе дѣйствительности.

Что такое самое обыкновенное историческое *повѣствованіе?* Одно время консервативная школа въ Германіи, группировавшаяся около „Historische Zeitschrift“, любила ссылаться на Ранке, какъ на историка чистаго типа, реалиста-разсказчика, свободнаго отъ теоретизирующей тенденціи, отъ попытокъ дѣлать соціологическія обобщенія. Напоминали слова Ранке: не судить и не поучать должна исторія, а лишь „*разсказывать, какъ было дѣло*“. Задача очень хорошая, но какъ ее выполнить? Общественная жизнь состоитъ изъ такого множества мелочей, актовъ, словъ, столкновеній, случаевъ, ежедневныхъ и ежечасныхъ, что передавать все нѣтъ возможности, и о полной передачѣ всего происшедшаго никто никогда не думаетъ. Тому же Ранке въ другой разъ пришлось ограничить предметъ исторіи такимъ опредѣленіемъ: слѣдуетъ изображать Haupt- und Staats-

aktionen, т.-е. особенно важные и, по преимуществу, государственные акты. Это ограниченіе тоже благоговѣйно повторяютъ его почитатели.

Не будемъ спорить теперь противъ существа опредѣленія: едва ли въ настоящее время кто-нибудь согласенъ будетъ считать политическую исторію за самостоятельный рядъ; политическіе акты для насъ лишь наиболѣе рѣзкія выраженія явленій соціальныхъ. Обратимъ вниманіе только на общее самоограниченіе, признанное авторитетнымъ историкомъ, и посмотримъ, какъ онъ самъ его выполняетъ. Онъ роется въ дипломатической перепискѣ европейскихъ дворовъ, пересматриваетъ въ государственныхъ архивахъ Венеціи, Испаніи, Пруссіи политическіе мемуары, доклады, проекты, перечитываетъ разсказы современниковъ о великихъ дняхъ, о шумныхъ происшествіяхъ, манифестаціяхъ и революціонныхъ столкновеніяхъ. Но какая же небольшая доля всего этого идетъ въ его изложеніе! Происходитъ выборка, сокращеніе, сведеніе совпадающаго или сходнаго, сшиваніе кусочковъ, взятыхъ изъ большихъ цѣльныхъ документовъ. Мотивы, которыми руководился историкъ, весьма понятны: если бы матеріалъ остался во всей полнотѣ и пестротѣ, составитель никогда бы не кончилъ работы, а читатель не добрался бы до пониманія цѣлаго, до сколько-нибудь отчетливаго представленія о группѣ явленій. Но дѣло не ограничилось только сокращеніемъ имѣвшагося налицо матеріала. Историкъ не только беретъ изъ многихъ проектовъ самый характерный, изъ манифестацій—самую рѣзкую, и т. д. Онъ еще сгущаетъ отдѣльныя черты и краски, онъ драматизируетъ цѣлые періоды.

Напр., въ разсказѣ о подготовкѣ первой англійской революціи обыкновенно драматизируется одиннадцатилѣтній періодъ безпарламентскаго правленія (1629—1640 гг.), предшествующій взрыву общественнаго движенія. За это время общественная жизнь шла обычнымъ порядкомъ, распадалась на тѣ же отдѣльные акты: издавались и читались книги, разбирались судебные процессы, происходили засѣданія мировыхъ судей, собирали подати, продавали и покупали имущества, отправляли корабли съ товарами; королевскій совѣтъ принималъ проекты и жалобы, выслушивалъ мнѣнія отдѣльныхъ членовъ и т. д. Историкъ при изображеніи этой эпохи отбрасываетъ огромное количество фактовъ и выбираетъ $^1/_{1000}$ данныхъ; напримѣръ, процессъ Гемпдена или рѣзкое мнѣніе Страффорда, бывшаго оппозиціонера, ставшаго министромъ, съ его извѣстной ссылкой на торжество бюрократіи во Франціи. Но этого мало; историкъ точно пишетъ завязку трагедіи; имѣя въ виду представить далѣе бурную катастрофу, онъ изображаетъ безпарламентское время, какъ сдавленное затишье: люди живутъ въ тягостномъ ожиданіи; обѣ стороны, между которыми потомъ произойдетъ столкновеніе, молча готовятся къ борьбѣ. Характеристика настроенія такова, что одиннадцать лѣтъ превратились у историка какъ бы въ одинъ долгій день. Соотвѣтственно этому общему замыслу планируются и тѣ данныя, которыя историкъ выбираетъ изъ своего безконечно громаднаго матеріала.

Не будемъ теперь разбирать, въ какой мѣрѣ желательна такая драматизація. Но она постоянно примѣняется въ изображеніяхъ исторической жизни; изъ

подобнаго рода драматизацій состоитъ и работа того же Ранке, который только хотѣлъ „разсказать, какъ было дѣло“.

Риккертъ считаетъ такой пріемъ вполнѣ допустимымъ; онъ называетъ его „упрощеніемъ“ историческаго матеріала. Упрощеніе представляется ему чѣмъ-то похожимъ на пріемъ живописца, который при зарисовкѣ пейзажа или фигуры отвлекается отъ множества линій и оттѣнковъ, различаемыхъ глазомъ при детальномъ разглядываніи небольшихъ полей зрѣнія, и сливаетъ мелочи въ общія пятна; эти пятна должны передавать средніе моменты между мелочами, уловлять въ болѣе короткомъ символѣ сумму мелкихъ впечатлѣній. Но упрощеніе далеко не есть обобщеніе; это—двѣ совершенно различныя умственныя операціи. Историкъ, по мнѣнію Риккерта, упрощаетъ разъ данный стоящій передъ нимъ отдѣльный случай. Его изображенія—правда, не фотографіи, не снимки, а символы, сокращенные планы. Но они остаются все же индивидуальными чертежами: внѣ своего оригинала они не примѣнимы.

Но такъ ли это въ дѣйствительности? Не должны ли мы признать, что упрощеніе всегда есть приспособленіе воспринятой конкретности къ извѣстному типу изображенія? Только что мы видѣли, какъ склоненъ историкъ къ драматизаціи моментовъ и періодовъ. Въ основѣ этого невольно театральнаго пріема лежитъ, безъ сомнѣнія, общее представленіе, сущность котораго можно передать такъ: общество въ цѣломъ обладаетъ коллективнымъ сознаніемъ и волей; переживаемыя имъ раздробленныя состоянія объединяются въ духовныхъ рефлексахъ, и его жизнь становится похожей на жизнь

личности. Иначе говоря, историческій процессъ отождествленъ съ процессомъ психологическимъ. Къ такой общей концепціи историкъ приспособилъ индивидуальный чертежъ такого-то событія, такой-то эпохи.

Упрощеніе есть и обобщеніе.

Но этого мало. Упрощая, историкъ не только незамѣтно для себя ищетъ подходящаго типа; своимъ изображеніемъ онъ до извѣстной степени самъ вырабатываетъ тотъ или другой типъ. Анализируя историческую философію Маркса, мы могли бы, пожалуй, сказать, что онъ упростилъ въ своемъ изображеніи соціально-экономическую эволюцію Англіи. Но также вѣрно будетъ признать, что Марксъ превратилъ эту конкретную эволюцію въ типическій процессъ. Смыслъ даннаго имъ изображенія, вѣдь, можно кратко передать формулой: классовое развитіе Англіи въ XVIII и XIX вв. показываетъ лишь въ особенно рѣзкомъ видѣ характерныя черты общественнаго движенія, бывшаго въ другихъ странахъ; согласно тому же типу произойдетъ движеніе въ обществахъ будущаго.

Въ этомъ же смыслѣ Вико и Монтескьё упрощали исторію Рима. Монтескьё отвлекъ отъ реальнаго процесса римской исторіи двѣ большія общія группы—„величія“ и „паденія“; величіе—эпоха свободной игры силъ въ республиканскомъ Римѣ, паденіе—эпоха бюрократической имперіи и бездѣятельности общества. Ни у кого не остается сомнѣнія, что Монтескьё по поводу Рима думаетъ и говоритъ о республикѣ и имперіи вообще, о неизбѣжной смѣнѣ величія паденіемъ или свободы деспотизмомъ вообще. Римъ въ его глазахъ—яркій типъ для всѣхъ временъ. Его „Величіе и паденіе

Рима“ можно было бы озаглавить: „Величіе и паденіе народовъ, показанное на примѣрѣ Рима“.

На исторіи того же Рима почти одновременно съ Монтескьё Вико демонстрируетъ другой типъ, другой символъ отношеній. У Вико нѣсколько иная манера, чѣмъ у Монтескьё, онъ не такъ часто упоминаетъ собственныя имена, Сципіоновъ, Суллу, Цезаря; у него личности—не вожди, а только свидѣтели и показатели эпохъ. Но когда Вико говоритъ о борьбѣ между аристократіей и плебействомъ, о торжествѣ демократическихъ началъ, о паденіи политическаго интереса, о порчѣ нравовъ въ связи съ упадкомъ общественной самодѣятельности, онъ почти исключительно имѣетъ въ виду Римъ. Въ первыхъ очеркахъ набросанной имъ общей картины эволюціи человѣчества еще мелькаетъ нѣсколько примѣровъ изъ греческой исторіи, Гомеръ является въ подкрѣпленіе римскихъ сказаній, но дальше Вико переходитъ въ русло римской исторіи и остается въ немъ до конца, вплоть до паденія имперіи и прихода сѣверныхъ варваровъ.

У Вико историческіе моменты носятъ другія обозначенія: съ рыцарскимъ періодомъ связанъ героизмъ, съ демократіей—уравнительная справедливость, съ монархіей—равенство размягчающее. Существенное отличіе его схемы отъ схемы Монтескье въ томъ, что конецъ цикла поворачиваетъ опять къ началу; культурное общество впадаетъ въ одичаніе, которое сближаетъ его съ обществами младенчески дикими, варварскими. На этомъ сближеніи конца съ началомъ основана возможность общественнаго возрожденія. У Вико мы читаемъ римскую исторію и въ то же время типологическую

исторію вообще. Онъ оставляетъ читателя на порогѣ перваго возрожденія, которое помѣщено въ концѣ римской исторіи, въ IV—V вв. нашей эры. Вико не ведетъ дальше, не развиваетъ второго, третьяго кольца цѣпи; реально онъ нарисовалъ одинъ поворотъ колеса исторіи; но въ дальнѣйшемъ предполагается многократное и непрерывное вращеніе этого колеса.

Подобнаго рода историческія изображенія можно называть, если угодно, „упрощеніями“. Неужели, однако, мы не должны въ нихъ признать также и „генерализаціи“, обобщенія? И какъ еще иначе представить себѣ генерализацію?

Крупныя конкретныя работы представляютъ собою и философскія обобщенія.

Присмотримся къ другимъ историческимъ работамъ. Въ менѣе яркихъ, менѣе талантливыхъ нельзя замѣтить сразу ту общую цѣль, которой служитъ данное конкретное изображеніе. Но стоитъ взять „Римскую исторію“ Моммзена, „Происхожденіе современной Франціи“ Тэна, „Исторію революціи“ Жореса, „Исторію общественныхъ учрежденій старинной Франціи“ Фюстель-де Куланжа, и ясно чувствуется, что въ нихъ историческій рисунокъ одновременно носитъ характеръ и конкретный, и типологическій. У Моммзена Цезарь служитъ типомъ и героемъ демократической монархіи и даже въ самой римской исторіи онъ удвояется въ Каѣ Гракхѣ. Тэнъ принимается изображать якобинца 1793 г., а въ дѣйствительности рисуетъ ненавистный консерваторамъ типъ людей, встрѣчающійся во Франціи постоянно, во всѣ времена, и въ частности выразившійся въ группѣ особенно непріятныхъ автору современныхъ радикальныхъ политиковъ. Для Жореса французская революція, конечно, прежде всего опредѣленный мо-

ментъ подъема національной энергіи и въ частности торжество класса, съ которымъ онъ и его единомышленники теперь, 100—120 лѣтъ спустя, ведутъ борьбу. Но онъ умѣетъ найти во французской буржуазіи прошлаго черты энтузіазма, здраваго смысла, соціальной честности, которыя роднятъ ее съ новыми движеніями соціализма и благодаря которымъ въ первой революціи открывается типъ настроеній, близкій къ современнымъ намъ требованіямъ соціализма. Какъ Тэнъ видитъ въ якобинцѣ одну изъ французскихъ породъ и притомъ глубоко ему ненавистную, такъ, обратно, Жоресъ видитъ въ первой революціи выступленіе нѣкоторой постоянно присущей французамъ симпатичной ему энергіи. И опять у того и другого французская революція—типичный для Франціи, для французской націи моментъ, или случай выступленія типическихъ фигуръ и группъ.

Фюстель де-Куланжъ въ своей „Исторіи учрежденій старинной Франціи“, повидимому, занятъ временемъ, точно ограниченнымъ, и территоріей, ясно обрисованной. Франція сложилась изъ двухъ расъ,—галльской, проникнутой римской культурой, и германской; изъ соединенія данныхъ той и другой группы составились учрежденія, формы быта первоначальнаго французскаго государства феодальной эпохи. Какъ характеризованы эти группы? Римское или романское начало несетъ въ себѣ сильное государство—іерархію сословныхъ единицъ и учрежденій, подчиненность точно выраженному закону, съ особенно ярко очерченнымъ правомъ частной собственности, техническую выучку и сноровку. Германское начало—полная противоположность: съ нимъ

заразъ вторгается отсутствіе принудительной власти и административной регламентаціи, безпорядочное проявленіе силъ, неумѣнье обращаться съ землею, и отсюда неясное право земельной собственности, которое, по мнѣнію Фюстеля, ошибочно принимали за наличность общиннаго права и общиннаго строя. Въ цѣломъ, германцы—рыхлая матерія, хорошая мышечная сила, чисто-физическій ингредіентъ: римляне, точнѣе—галлы, воплотившіе римское право,—организующая энергія, воспитатели и дисциплинаторы сѣрой массы. Результатъ встрѣчи—неполная, несовершенная политическая обработка соціальной матеріи, въ видѣ феодальнаго государства. Въ этомъ строѣ можно узнать первоначальныя организаторскія начала, но они исказились, преломились; на всѣхъ линіяхъ они показываютъ отклоненіе. Это произошло потому, что организующая сила встрѣтила сопротивленіе косной матеріи, притупилась о нее, и ея дѣйствіе раздробилось.

Если бы Фюстель де-Куланжъ захотѣлъ отвѣтить на вопросъ о томъ, какъ въ свою очередь сложился организаторскій геній римлянъ, онъ, вѣроятно, повторилъ бы ту же самую картину, которая уже была имъ демонстрирована на исторіи старинной Франціи. Онъ отыскалъ бы въ Римѣ также двѣ расы,—народъ, служившій матеріаломъ, и народъ, творившій изъ этого матеріала формы, можетъ быть, отождествилъ бы первый съ плебеями, второй—съ патриціями. Мы имѣемъ право думать такъ на основаніи того, что уже далъ Фюстель де-Куланжъ. Вѣдь въ рамкахъ исторіи Франціи онъ изобразилъ нѣчто гораздо болѣе общее: именно, какъ надо представлять себѣ возникновеніе государства.

Масса людей живутъ разрозненными интересами, неспособные охватить мыслью цѣлое; они живутъ такъ до тѣхъ поръ, пока въ ихъ среду не спускается организующая идея, носители которой—культурные люди, прирожденные правители. По этому типу всюду возникало и будетъ возникать государство; такова соціологическая теорія Фюстель де-Куланжа.

Приведенные примѣры даютъ поводъ еще къ одному замѣчанію. Всѣ упомянутые авторы сосредоточивали свое вниманіе на *одной* группѣ явленій; для того, чтобы создать и изобразить занимавшій ихъ типическій образъ, они не прибѣгали къ сравненіямъ, къ параллелямъ. Случилось ли только одинъ разъ въ исторіи описанное ими сцѣпленіе условій или нѣсколько разъ, это обстоятельство не казалось имъ особенно важнымъ; ихъ мысль, повидимому, шла къ тому выводу, что если явленія, изображенныя ими, еще не повторились, то они могутъ или должны повториться. Это даетъ намъ возможность еще разъ вернуться къ оцѣнкѣ положенія, выставленнаго Риккертомъ, будто бы тамъ, гдѣ не наблюдаются повторенія, нѣтъ мѣста и генерализаціи, нельзя выводить и законы. Мы видимъ, что фактъ повторяемости можетъ быть безразличенъ для открытія постояннаго начала. Законъ можетъ быть выведенъ изъ одного ряда. Типъ часто опредѣляется изъ одной индивидуальности.

Историческое познаніе строится по типу общенаучнаго познанія.

Анализъ воззрѣній школы субъективистовъ привелъ насъ къ признанію, что исторія или вообще общественныя науки по своимъ пріемамъ и задачамъ не стоятъ въ рѣзкой противоположности къ наукамъ естественнымъ. Но тотъ же анализъ показалъ намъ также тѣсное

и постоянное соединеніе конкретнаго и абстрактнаго во всѣхъ наблюденіяхъ и заключеніяхъ, которыя мы дѣлаемъ въ исторіи. Только что мы видѣли, что всякое вновь наблюдаемое явленіе невольно нами превращается въ типъ, расширяется или обобщается до степени группового, видового. Въ свою очередь со всякимъ типомъ у насъ соединяется опредѣленное конкретное представленіе.

Конечно, здѣсь нѣтъ ничего отличнаго отъ нашего обычнаго воспріятія. Какъ извѣстно, мы не имѣемъ чистыхъ ощущеній, т.-е. такихъ, которыя бы представляли только одну реакцію нашихъ чувственныхъ органовъ на раздраженіе даннаго момента. Ощущеніе сопровождается и осложняется воспоминаніемъ, т.-е. отзвукомъ прежнихъ сходныхъ ощущеній. Только благодаря этому обстоятельству и возможна регистрація новаго ощущенія; только при помощи воспоминаній мы узнаемъ предметъ, констатируемъ его принадлежность къ знакомымъ намъ рядамъ. Но что такое воспоминаніе? Рядъ наслоенныхъ ощущеній, въ свою очередь когда-то воспринимавшихся при помощи болѣе раннихъ воспоминаній, причемъ и тѣ, и другія, по мѣрѣ восхожденія къ началу нашего сознанія, оказываются все слабѣе и смутнѣе. Мы чувствуемъ всякій разъ очень опредѣленно разницу между даннымъ ощущеніемъ и всей совокупностью прежнихъ, раньше отложившихся въ сознаніи; изъ сознанія этой разницы и возникаетъ различеніе конкретнаго и абстрактнаго.

Конкретно — непосредственно воспринимаемое, абстрактно — сгущенное и объединенное отъ прежнихъ воспріятій; но и это сгущеніе разлагается на отдѣльные

конкретные случаи. Конкретное воспринимается какъ бы черезъ извѣстную сѣть, его данныя входятъ тотчасъ же въ русла или линіи типическаго. Мы имѣемъ всюду уже слаженную сѣть и наблюдаемъ лишь измѣненія ея; мы нигдѣ не въ состояніи указать ихъ начала, отдѣлить форму отъ содержанія, категоріи отъ заполняющей ихъ матеріи.

ЧАСТЬ II.

Формы историческаго познанія.

Всякое познаніе, въ томъ числѣ историческое, никогда не имѣетъ передъ собою „чистой дѣйствительности". Оно прежде всего встрѣчается съ рядомъ наслоенныхъ другъ на друга схемъ, въ которыхъ предшествующія поколѣнія передали намъ воспринятый ими матеріалъ. Прежде чѣмъ составлять собственный чертежъ исторіи, мы должны подчиниться готовой классификаціи и слаженной перспективѣ. Въ старомъ построеніи исторіи иное намъ стало чуждымъ; однако, необходимы большія усилія, чтобы перелить усвоенное содержаніе въ новое русло и приспособить къ основнымъ линіямъ новой группировки. Другія черты этого построенія оказываются болѣе устойчивыми. Необходимо присмотрѣться къ нимъ; изучая ихъ, намъ, можетъ быть, удалось бы замѣтить такіе формы и обороты мысли, которые являются тѣсно связанными съ нашими органическими потребностями, біологически для насъ необходимыми.

I.

Представленія о планѣ и темпѣ историческаго движенія.

Первымъ кругомъ представленій, въ который намъ приходится вступить, до извѣстной степени наружнымъ очертаніемъ, фасадомъ историческаго строенія служитъ раздѣленіе прошлаго человѣчества на вѣка, періоды, циклы жизни. Прежде чѣмъ мы начинаемъ думать о законахъ историческаго движенія, о руководящихъ силахъ и т. д., у насъ уже есть *планъ исторіи*, т.-е. представленіе о ходѣ и порядкѣ историческихъ явленій, о смѣнѣ въ немъ кризисовъ и остановокъ, о срокахъ оборота и слѣдованія большихъ повторяющихся группъ.

Господствующее дѣленіе на періоды.

Школьное изученіе исторіи уже два съ половиной вѣка держится трехчленнаго дѣленія на Древность, Средніе вѣка и Новое время. Въ дѣленіи этомъ нетрудно узнать прежнюю ограниченность европейскаго кругозора. Съ тѣхъ поръ какъ возникло это дѣленіе, произошло большое расширеніе поля зрѣнія: открылась старинность и самостоятельность культуръ восточной Азіи и Америки, глубокая древность культуры ближняго Востока. Схема трехраздѣльной исторіи начинаетъ колебаться. Иные находятъ, что принципъ дѣленія сохраняетъ свой смыслъ: историческая жизнь всякаго общества проходитъ три возраста, или три вѣка; но такъ какъ опытъ показываетъ, что европейскій рядъ былъ не единственнымъ, то дѣленіе на три части надо примѣнять не однажды, а столько разъ и тамъ, гдѣ оно понадобится. Поэтому многіе историки говорятъ, напр., о средневѣ-

ковьи греческомъ, японскомъ, египетскомъ. Другіе находятъ, что тройственное дѣленіе вообще не выдерживаетъ болѣе критики. Въ самомъ дѣлѣ, если даже имѣть въ виду только линію европейской культуры и разсматривать исторію Передней Азіи, какъ введеніе къ ней, то отдѣлъ Древности, условная первая треть, оказывается несоразмѣрно длиннымъ сравнительно съ двумя остальными.

Когда экономистъ Бюхеръ попробовалъ соединить старое тройственное дѣленіе исторіи со своими тремя этапами экономической эволюціи и объявилъ Древность эпохой натуральнаго, Средніе вѣка—городского, а Новое время—народнаго хозяйства, онъ встрѣтилъ почти общее осужденіе. Ему указали на то, что хозяйственная жизнь Древности была гораздо сложнѣе и сама по себѣ прошла три намѣченныя его теоріей ступени. Ему указали на то, что немыслимо вести одну непрерывную линію развитія черезъ два раздѣленныхъ другъ отъ друга замкнутыхъ міра, Древній и Новый, разумѣя подъ вторымъ Средніе вѣка и собственно Новое время, согласно прежней терминологіи.

Но какую цѣну вообще имѣютъ различныя дѣленія на періоды и помогаютъ ли поправки къ унаслѣдованнымъ дѣленіямъ? Служатъ ли они только въ помощь памяти, для удобства обозрѣнія, ограничивается ли ихъ значеніе примѣненіемъ въ школѣ, гдѣ такъ важны предварительныя рубрики? Или они отвѣчаютъ болѣе глубокой потребности и связаны, напр., съ представленіями о кругахъ оборота, о начинаніяхъ и завершеніяхъ? Въ какой мѣрѣ они намъ нужны и что мы съ ними соединяемъ въ умѣ?

Чтобы отвѣтить на эти вопросы, важно заглянуть въ старинныя системы раздѣленія исторіи на періоды, вѣка и круги оборота явленій.

Дѣленіе исторіи по 4 всемірнымъ монархіямъ.

Дѣленіе всемірной исторіи на Древность, Средніе вѣка и Новое время идетъ съ конца XVII в. До тѣхъ поръ и въ школѣ, и въ большихъ историческихъ обзорахъ примѣнялось раздѣленіе всего историческаго процесса, отъ начала временъ до переживаемаго дня, на четыре большихъ всемірныхъ царства; подразумѣвались имперіи ассиро-вавилонская, персидская, македонско-греческая и римская. Согласно этой теоріи смѣны великихъ царствъ, человѣчеству суждено пройти лишь четыре эпохи; затѣмъ міръ кончится, будетъ катастрофа и судъ Божій. Старое дѣленіе очень хорошо согласовалось съ Библіей, которая и абсолютно, и относительно давала тогда огромный матеріалъ „всемірной исторіи“. Первыя три царства приходились на Ветхій Завѣтъ; въ нихъ хорошо умѣщалось то, что было извѣстно изъ исторіи древнихъ грековъ. На четвертую, римскую имперію приходился Новый Завѣтъ и вся христіанская эпоха. Фактъ разрушенія подлинной римской имперіи въ V в. по Р. Х. не мѣшалъ ученымъ средневѣковой Европы держаться счета четырехъ всемірныхъ монархій. Да римскую имперію и не считали исчезнувшей. Она продолжала существовать въ видѣ священной имперіи, возстановленная Карломъ и германскими королями. Она не только существовала, какъ фактъ, но она признавалась неотмѣнимой принципіально; она должна была быть, потому что послѣ нея не будетъ уже никакой иной формы, объединяющей человѣчество; она — послѣдняя на землѣ.

Представленіе о великихъ вѣкахъ исторіи человѣчества, такъ долго державшееся среди европейско-христіанскаго міра, опиралось внѣшнимъ образомъ на извѣстный образъ въ пророчествахъ Даніила. Пророкъ-публицистъ олицетворилъ враждебное іудейской теократіи свѣтское государство въ видѣ колосса, составленнаго изъ четырехъ элементовъ; утвержденное на глиняныхъ ногахъ чудовище должно пасть, когда изживетъ послѣдній желѣзный вѣкъ. Образъ Даніиловыхъ пророчествъ и представленія, примыкающія къ нему, несомнѣнно, восходятъ высоко. Гесіодъ въ Греціи, за 600 лѣтъ до іудейской книги, излагалъ ученіе о четырехъ вѣкахъ и предстоящемъ послѣ періода желѣза концѣ міра. Можетъ быть, ученія эти коренятся въ стариннѣйшей космогоніи Вавилона.

Представленіе о концѣ міра.

Ихъ существенная черта—мысль о приближеніи къ *катастрофѣ міра*, которая должна наступить послѣ столькихъ-то вѣковъ или послѣ завершенія такихъ-то состояній человѣчества. Высказывая теорію вѣковъ, вѣрующій сознаетъ себя въ обстановкѣ послѣдней фазы. Авторъ Даніиловыхъ пророчествъ писалъ въ эпоху возстанія Маккавеевъ противъ греко-македонскаго владычества; современныхъ греческихъ Антіоховъ онъ считалъ четвертымъ, послѣднимъ царствомъ, которому предшествуютъ ассирійское, халдейское и персидское. Но когда пророчество перешло къ христіанамъ, на лицо была уже новая всемірная монархія—римская имперія. Пятой монархіей ее нельзя было сдѣлать, такъ какъ катастрофа міра, ожидаемая послѣ четвертой, еще не наступила; поэтому первыя двѣ монархіи стянули въ одну и поставили Римъ на четвертое мѣсто.

Англійскіе сектанты эпохи первой революціи разсудили иначе. Они уже сознавали себя среди начинающейся міровой катастрофы; четвертая монархія, по ихъ мнѣнію, кончилась, наступаетъ пятая, которая вмѣстѣ съ тѣмъ образуетъ происходящій на землѣ Судъ Божій.

Въ ученіи о міровыхъ вѣкахъ, или монархіяхъ, повидимому, существенно не то, сколько фазъ должно пройти человѣчество, и которая по счету будетъ послѣдняя; удареніе лежитъ на томъ, что есть послѣдняя эпоха, и что съ нею связаны опредѣленные признаки. Послѣдній періодъ иногда особо выдѣленъ въ рѣзко очерченное будущее, въ которомъ небесная жизнь сольется съ земной. Такъ представляютъ себѣ тысячелѣтнее царство Христово на землѣ милленаристы, или хиліасты. Будущему принадлежитъ послѣдній вѣкъ также и въ ученіи о Вѣчномъ Евангеліи, признающемъ трехчленное, а не четырехчленное дѣленіе: за вѣкомъ Бога-Отца, прошедшимъ, слѣдуетъ современный—вѣкъ Бога-Сына; остается впереди будущій и вмѣстѣ съ тѣмъ послѣдній—вѣкъ Бога-Духа, или Вѣчнаго Евангелія.

Во всѣхъ этихъ періодизаціяхъ міръ человѣческихъ судебъ проходитъ одинъ циклъ отъ сотворенія до гибели, разрушенія. Окончательная катастрофа даетъ особый отпечатокъ послѣднему вѣку. Она непосредственно слѣдуетъ за послѣднимъ вѣкомъ или отождествляется съ нимъ, или отдѣляетъ отъ стараго міра новый, возрожденный.

Мысль о катастрофѣ является и въ другихъ комбинаціяхъ. Если, согласно однѣмъ теоріямъ, представляли себѣ такую развязку, которая должна отрубить въ концѣ нить земныхъ событій, то по другимъ—ката-

строфы нѣсколько разъ повторялись или, по крайней мѣрѣ, угрожали человѣчеству. Міръ уже прошелъ нѣсколько цикловъ, и кризисы стоятъ раздѣлами между этими циклами; міръ нѣсколько разъ рождался и умиралъ. Въ древности символомъ этихъ замираній и возрожденій служила чудесная птица Фениксъ, которая сгораетъ въ старости, въ концѣ большого періода, продолжающагося нѣсколько сотъ лѣтъ, и возрождается вновь молодой изъ своего пепла. Въ христіанской средѣ допускали, по крайней мѣрѣ, двукратное повтореніе этого процесса. Ветхій міръ завершилъ свой циклъ ко времени появленія Спасителя; Христосъ—новый Адамъ, возрожденный первый человѣкъ, вождь новаго вѣка; но и этотъ вѣкъ станетъ старымъ ко второму концу, ко второму пришествію.

Римское общество, повидимому, освоилось съ представленіемъ, что циклы бываютъ коротки и кризисы часты. Такова была, по крайней мѣрѣ, теорія, выдвинутая въ связи съ большими секулярными, или юбилейными играми, которыя были офиціально отпразднованы Августомъ въ 17 году до Р. Х. Римскіе вѣка, saecula, равные столѣтіямъ, охватываютъ группу нѣсколькихъ поколѣній. Въ концѣ одного и началѣ другого вѣка жизнь меркнетъ, замираетъ. Но отъ грознаго кризиса можно отмолиться, а его прекращеніе слѣдуетъ потомъ отпраздновать блистательными молебствіями и жертвами. Папскій Римъ, во многомъ столь близкій къ старому императорскому, усвоилъ теорію вѣковъ и практику юбилейныхъ празднествъ. Приглашая въ Римъ богомольцевъ, осужденныхъ, просителей и т. д. на праздники вѣка, объявляя всеобщія амнистіи грѣховъ,

папы воспроизводили старинную теорію вѣковъ, воспитывали въ этой идеѣ обширный кругъ своихъ почитателей и плательщиковъ своей державы.

Приемотримся внимательнѣе къ тѣмъ оттѣнкамъ, которые привносятся въ различныя періодизаціи. Въ нихъ можно отмѣтить три группы представленій.

Основныя идеи періодизацій. Скорость движенія.

Во-первыхъ, есть понятіе о *темпѣ движенія*. Во всѣхъ періодизаціяхъ наблюдается нѣкоторое сознаніе экономіи времени и протяженной во времени энергіи. Размѣры періодовъ не должны быть чрезмѣрно длинны. Когда періодъ растягивается на слишкомъ большой срокъ, это вызываетъ безпокойство мысли; тогда приходятъ къ необходимости произвести новое пересѣченіе, внести новую остановку. Но, съ другой стороны, и остановки не должны быть особенно часты, періоды, лежащіе между ними, не должны быть особенно дробны. Поэтому, если получилось много дѣленій, является потребность стянуть мелкія единицы въ болѣе крупные циклы. Особенно ярко послѣдняго рода стремленіе наблюдается, напримѣръ, въ историческихъ періодизаціяхъ Конта и Гегеля. У того и другого—три большіе вѣка раздѣляются каждый еще на нѣсколько тройственныхъ періодовъ, внутри которыхъ повторяются характерныя черты общаго движенія; но эти мелкія единицы подчиняются нѣкоторой высшей іерархіи. Такимъ образомъ есть какой-то общій законъ въ пріемахъ періодизаціи. Главныхъ основныхъ вѣковъ не должно быть много: чрезмѣрная дробность не удовлетворяетъ, а разстраиваетъ мысль. При дальнѣйшемъ анализѣ можно замѣтить, что не малую роль въ разстановкѣ паузъ и вѣхъ играетъ мысль о продолжительности

всего процесса исторіи и въ связи съ нею, въ зависимости отъ нея, мысль о степени скорости движенія. Старыя теоріи четырехъ всемірныхъ монархій или трехъ великихъ вѣковъ тѣснѣйше связаны съ представленіемъ о сравнительной краткости существованія человѣчества на землѣ. Когда въ новѣйшее время археологическимъ путемъ стала устанавливаться необыкновенная давность человѣческой культуры, когда біологія отнесла само происхожденіе человѣка, какъ зоологическаго вида, очень далеко вглубь, уже не на столѣтія и даже не на тысячелѣтія, а на десятки тысячелѣтій, и когда мы теперь на развалинахъ, повидимому, древнѣйшихъ культуръ открываемъ слѣды еще болѣе старыхъ—прежняя періодизація совершенно поблѣднѣла, утратила свой смыслъ; она служитъ теперь только въ качествѣ группы отмѣтокъ для небольшой, очень поздней доли всего движенія человѣчества.

Идея органическагороста.

Помимо идеи темпа, въ существующихъ періодизаціяхъ исторіи наблюдается еще другая группа представленій, которую можно было бы назвать мыслью объ органическомъ характерѣ историческаго развитія, или идеей *морфологической*. Все человѣчество или отдѣльныя общества мыслятся, какъ организмы. При построеніи исторіи отмѣчаютъ возрастныя эпохи этой органической жизни, младенчество, зрѣлость и старость человѣческаго общества; фазы возникновенія коллективнаго организма, возрастанія его силъ, завершенія его строя и обветшанія его превращаются въ періоды всемірной исторіи. Соотвѣтствующія представленія очень распространены и живучи, а по временамъ они получаютъ какое-то новое подкрѣпленіе въ общественныхъ настроеніяхъ.

Знакомые намъ термины, гегелевская „старость человѣческаго духа“, контовскій „финалитетъ“, т.-е. конечный періодъ человѣческой культуры, возникли на почвѣ великой европейской реакціи начала XIX вѣка. На тему о старчествѣ цивилизованнаго человѣчества, о томъ, что культура и есть старость, очень много разсужденій у Руссо, а за нимъ у его послѣдователей, и притомъ больше у реакціонныхъ, чѣмъ у радикальныхъ. Въ данную минуту мы не особенно склонны говорить о старчествѣ европейскаго и въ частности нашего общества, но легко вспомнить, какъ сравнительно недавно очень распространенная историческая школа славянофиловъ говорила о ветхости и старческомъ разложеніи культурнаго міра Европы, конечно, повторяя лишь то, что раньше сказали о той же Европѣ западные мистики и философы реакціи. Бываютъ эпохи, когда политическое утомленіе или отчаяніе подсказываетъ мысль объ органическомъ ветшаніи или летаргическомъ замираніи человѣческаго общества. Лѣтъ 20 тому назадъ приходилось слышать отъ историковъ, весьма несклонныхъ къ реакціоннымъ идеямъ, признаніе, что наше время напоминаетъ эпоху римской имперіи и конецъ древняго міра по совокупности признаковъ упадка политическаго интереса, слабости общественной энергіи, ослабленія критической мысли, жажды успокоенія и т. п. Эта аналогія приходила въ голову въ связи съ сознаніемъ старчества современнаго общества.

Въ противоположность пессимистическимъ оцѣнкамъ возрастнаго положенія человѣчества можно указать другія, которыя характеризуютъ послѣдній переживаемый вѣкъ, какъ время полнаго расцвѣта силъ человѣческаго

общества или даже предстоящаго вступленія въ вѣкъ силы и энергіи. Таково приблизительно представленіе двухъ радикальныхъ теоретиковъ первой революціи, Кондорсе и англичанина Годвина. У послѣдняго мысль о вступленіи человѣчества въ возрастъ полной силы является въ крайне своеобразной формѣ: Годвинъ представлялъ себѣ возможность неопредѣленнаго удлиненія человѣческой жизни, почти безсмертіе на землѣ.

Такъ или иначе, мысль о различіи возрастовъ, о возрастныхъ эпохахъ, о смѣнахъ жизненныхъ періодовъ постоянно возвращается въ періодизаціяхъ. Въ дѣленіи, которое принято въ нашемъ школьномъ изученіи исторіи, понятіе возраста запечатлѣлось ясно. Наше выраженіе: „средніе вѣка“, или: „средній вѣкъ“, какъ говорилъ еще Грановскій, составляетъ неточный переводъ французскаго moyen âge, нѣмецкаго Mittelalter, въ свою очередь передающихъ оригинальный латинскій терминъ medium aevum, придуманный филологами XVII в. Всѣ эти выраженія означаютъ средній возрастъ. Они взяты изъ цѣльной системы, гдѣ средина имѣетъ опредѣленный смыслъ между двумя крайними членами: среднему періоду—medium aevum—предшествовала древность, въ качествѣ ранняго возраста. За эпохой проявленія чистыхъ первоначальныхъ элементовъ въ жизни идетъ кризисъ борьбы съ враждебными силами; это и есть средній вѣкъ—въ глазахъ филолога, характеризованный потемнѣніемъ чистой латыни, ея борьбой и смѣшеніемъ съ варварствомъ. Въ концѣ стоитъ послѣдній, современный возрастъ, періодъ возстановленія первоначальныхъ элементовъ во всей чистотѣ, отмѣченный возрожденіемъ чистой латыни.

Идея повторяемости явленій, или „круговорота“.

Третья группа представленій, входящихъ въ періодизаціи, сводится къ мысли о возвращеніи извѣстныхъ началъ, о *повтореніи* моментовъ, комбинацій или нѣкоторыхъ основныхъ свойствъ человѣческой природы. Такія повторенія предполагаются послѣ завершенія опредѣленнаго цикла явленій, послѣ нѣкотораго круговорота. Есть теоріи, для которыхъ „круговоротъ“ самое подходящее обозначеніе, потому что историкъ дѣйствительно представляетъ себѣ нечувствительное приближеніе главной линіи движенія, послѣ большого пробѣга, къ прежнему ея концу и почти незамѣтный переходъ движенія на прежніе пути. Такъ Вико вычерчиваетъ въ видѣ круга паденіе общества съ высоты культуры, возвратъ его къ варварству и дикости и новый его подъемъ къ культурѣ. На кругъ или на спираль похоже движеніе исторіи у Гегеля, когда синтезъ, смѣнившій борьбу двухъ противоположныхъ направленій, оказывается самъ началомъ новой борьбы.

Съ представленіемъ о круговоротѣ, возвращеніи исходныхъ или первоначальныхъ свойствъ, мотивовъ и т. д. часто комбинируется мысль о катастрофѣ, замираніи, разгромѣ и послѣдующемъ воскресеніи, возрожденіи, обновленіи общества: какъ будто бы общество можетъ перенести смерть или летаргію и затѣмъ вернуться къ элементарнымъ условіямъ или начать своего рода вторую жизнь. Формула возрожденія общества къ новой жизни, или *палингенезіи* (какъ любили выражаться, примѣняя греческій терминъ), пользовалась большой популярностью послѣ Великой европейской революціи конца XVIII в. и начала XIX в.: революцію представляли себѣ въ видѣ большого болѣзненнаго кризиса,

судорожнаго потрясенія организма, момента великаго страданія, Суда Божія на землѣ, въ силу котораго произошло очищеніе органовъ, крови, началось новое накопленіе и новое распредѣленіе жизненной энергіи.

Терминъ „возрожденіе“ связывали, однако, и съ другими моментами, и даже особенно посчастливилось въ этомъ отношеніи XV и XVI вѣкамъ, къ которымъ и до сихъ поръ приписано „Возрожденіе наукъ и искусствъ“. Впервые это обозначеніе возникло въ средѣ тѣхъ же филологовъ XVII в., которые придумали дѣленіе исторіи на Древность, Средніе вѣка и Новое время. Ученые прежде всего хотѣли выразить словомъ „возрожденіе“ фактъ открытія чистыхъ источниковъ латыни и греческаго, двухъ вѣчныхъ божественныхъ языковъ, фактъ возстановленія подлинной рѣчи Цицерона и Демосоена. Новая Европа возродила римлянъ и грековъ въ языкѣ и искусствѣ—такъ опредѣлялось для нихъ значеніе эпохи XV и XVI вв.

Въ другомъ свѣтѣ стала выдѣляться та же эпоха послѣ событій Великой революціи, когда рушился авторитетъ католической церкви, сброшены были устои деспотической власти, открылся просторъ общественнымъ силамъ, таланту, личной предпріимчивости. Историкъ, пережившій революцію и сочувствовавшій ей, разсуждаетъ такъ. Крупному освобожденію должна была предшествовать пропаганда; были предвѣстія; былъ прологъ или предварительная драма; слѣдуетъ написать картину пролога по образцу главной драмы. Такимъ образомъ, позади нашего новаго Освобожденія выростаетъ другое раннее Освобожденіе. Каково содержаніе этого перваго Освобожденія или Возрожденія? Оно должно быть ана-

логично революціи; слѣдовательно оно было малой революціей, или оно было революціей въ идеяхъ до революціи въ фактахъ. Благодаря такому удвоенію въ характеристику Возрожденія XV—XVI вв. вошли понятія освобожденія личности, реабилитаціи плоти, гармонизаціи духовнаго и тѣлеснаго существа, возникновенія критицизма и т. д. Въ отсвѣтѣ этого лучезарнаго момента Средніе вѣка стали представляться эпохой духовной смерти, матеріальнаго истязанія, глухой тьмы человѣческаго сознанія. Всѣ эти дополнительные оттѣнки представленій, будучи прибавлены къ идеямъ филологовъ, образовали группу, которая и дошла до насъ подъ именемъ Возрожденія въ собственномъ смыслѣ. Напротивъ, съ революціоннымъ періодомъ перестали соединять понятіе Возрожденія. Произошло это въ значительной мѣрѣ потому, что послѣдующія явленія слишкомъ тѣсно примыкали къ революціи и уже весь XIX в. могъ казаться продолжающейся революціей.

Связь періодизацій съ элементами старинной астрологіи.

Мы отмѣтили три группы идей, которыя въ разное время были связаны съ дѣленіемъ историческаго прошлаго на періоды. Это было понятіе темпа движенія и точныхъ срокахъ оборота, мысль о моментахъ органическаго роста и возрастахъ организма и, наконецъ, идея цикловъ, повтореній, прерываемыхъ катастрофами и осуществляемыхъ путемъ возрожденій. Какія первоначальныя наблюденія лежатъ въ основѣ этихъ представленій? Какими аналогіями пользовались при построеніяхъ?

Давно уже замѣчена связь старинной исторіографіи съ астрологіей. Легко видѣть, что многіе греческіе и римскіе историки, лѣтописцы среднихъ вѣковъ отра-

ничивали періоды земной жизни при помощи терминовъ науки о небѣ, переведенныхъ на языкъ земныхъ отношеній, что историческія предсказанія и ожиданія событій опирались у нихъ нерѣдко на астрологическіе расчеты. Въ настоящее время, когда открылась намъ подлинная астрологія древняго Востока, мы яснѣе видимъ, какъ широко и сильно было ея вліяніе и на композицію книгъ, составляющихъ Библію, и на историческую литературу грековъ, и на раннее мусульманство. Вмѣстѣ съ календаремъ, этимъ затвердѣлымъ остаткомъ двухъ культовъ, луннаго и солнечнаго, астрологическіе циклы перешли въ средневѣковую христіанскую Европу. Они исчезли только съ возникновеніемъ новой астрономіи, новой небесной механики Коперника-Кеплера-Ньютона.

Если всмотрѣться внимательнѣе, то, можетъ быть, окажется, что и начало тройственнаго дѣленія исторіи лежитъ въ астрологическихъ выкладкахъ, въ календарномъ счисленіи Вавилона. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь ближайшій предшественникъ нашей трехраздѣльной исторіи, ученіе о вѣчномъ Евангеліи утверждало, что прошелъ старый вѣкъ Бога-отца, идетъ второй вѣкъ Бога-Сына и предстоитъ близко третій вѣкъ Бога-Духа. Въ этой теоріи нетрудно отыскать слѣды схемы, которая была офиціальнымъ календарнымъ ученіемъ въ старомъ доперсидскомъ Вавилонѣ. Богомъ-отцомъ называли луннаго бога, представителя старшаго, отошедшаго вѣка; богомъ-сыномъ звали правящаго солнечнаго бога; съ его циклами сообразованъ былъ дѣйствующій календарь, а календарь былъ полный систематическій укладъ всей жизни. Существовало смутное представленіе

о предстоящемъ концѣ этого вѣка; наступитъ новый вѣкъ, и съ нимъ вмѣстѣ придетъ новый богъ, представитель будущаго вѣка.

Всякая религія, пройдя вѣка долгой жизни, сдвинутая для позднѣйшаго наблюдателя въ сжатую перспективу, кажется очень систематичной. Въ дѣйствительности она составилась изъ представленій разнаго порядка, разныхъ эпохъ. Такъ и здѣсь. До насъ дошли воззрѣнія въ ихъ поздней формѣ, отшлифованной и гармонизированной. Они составились изъ наблюденій различныхъ временъ, различныхъ культурныхъ состояній. Въ вавилонской періодизаціи отразились математическія вычисленія; въ результатѣ наблюденій надъ небомъ установлены точные строки затменій или солнцестояній—сроки, которые могли быть легко констатированы въ любомъ поясѣ земного шара. Но рядомъ съ такими научными выкладками есть черты конкретныя, взятыя отъ ближайшей культурно-географической обстановки. Таково представленіе объ особенной разрушительной и въ то же время обновляющей роли воднаго элемента, жидкой стихіи. Начала этого представленія, безъ сомнѣнія, надо искать въ огромныхъ ежегодныхъ наводненіяхъ двухъ большихъ рѣкъ и ихъ рукавовъ, заливавшихъ всю культурную землю. Страна превращалась на нѣкоторое время въ океанъ съ плавучими островами въ видѣ лодокъ, барокъ и плотовъ; люди должны были спасать пожитки и выселяться на возвышенные пункты, а потомъ, когда воды спадали, поднималась горячая работа на поляхъ, и страна точно возрождалась. Ежегодная катастрофа, страшная и въ концѣ-концовъ благодѣтельная, символизировалась въ знаменитомъ сказаніи о потопѣ.

Общія идеи переживаютъ породившія ихъ конкретныя условія.

Теперь извѣстно, что библейское сказаніе о потопѣ— перифразъ болѣе стариннаго и болѣе реалистическаго вавилонскаго сказанія. Позднѣйшая іудейская обработка, составленная для народа, жившаго въ совершенно иныхъ условіяхъ, не знавшаго на своемъ плоскогорьѣ никакихъ наводненій, сохраняетъ еще ясные намеки на то, что потопъ мыслился въ широкой равнинѣ. Но сказаніе уже оторвалось отъ своей почвы. Этотъ примѣръ важенъ намъ потому, что онъ объясняетъ дальнѣйшее странствованіе и переживаніе символическаго разсказа. Можно думать, что греческое сказаніе о потопѣ не имѣло никакихъ реальныхъ прицѣпокъ на Балканскомъ полуостровѣ, а есть ни что иное, какъ заимствованіе. Переживанія могутъ жить очень долго и заходить очень далеко. Символизація чисто-вавилонскаго явленія, въ видѣ всемірнаго потопа, дошла до нашего времени. Она даже вступила въ кругъ представленій новой науки, геологіи, подъ именемъ дилювія, хотя, конечно, содержаніе этого термина скоро видоизмѣняется до неузнаваемости.

Необходимо остановиться еще на вавилонскихъ наводненіяхъ, потому что ихъ символизація оказала сильнѣйшее вліяніе на эсхатологію, т.-е. на представленіе о концѣ міра, о страшномъ переворотѣ, за которымъ послѣдуетъ новый вѣкъ, новая, свѣтлая жизнь. Нѣмецкій изслѣдователь Гункель въ книгѣ „Твореніе міра и хаосъ“ сопоставилъ два разсказа: первую главу книги Бытія и главу 12-ю Апокалипсиса. Первый разсказъ трактуетъ о началѣ міра изъ первоначальнаго хаоса, который представляется въ видѣ мрачнаго океана; даже въ очень отшлифованной передачѣ Библіи осталось вы-

раженіе tehom—глубина водъ, указывающее на вавилонскій кругъ представленій и на типично-вавилонскую стихію періодическихъ наводненій. Въ 12-й главѣ Апокалипсиса рѣчь идетъ о страшной борьбѣ въ концѣ дней. Драконъ, онъ же сатана, хочетъ погубить небесную царицу и ея потомство и выпускаетъ на нихъ изъ своей пасти широкій разрушительный потокъ; но земля поглощаетъ океанъ и спасаетъ намѣченныя драконом жертвы. Такимъ образомъ начало міра похоже на его конецъ; смерть и рожденіе происходятъ въ одномъ и томъ же элементѣ—въ водной стихіи. Краски для изображенія творенія міра взяты изъ картины свѣтопреставленія и обратно. Мистическая тьма небытія, куда уходитъ всякая жизнь и откуда она появляется снова, мыслится, какъ вѣчный изначальный океанъ.

Этотъ водный элементъ представляли себѣ, какъ нижнюю сферу земли, какъ преисподнюю, давали ей опредѣленное географическое мѣсто. Въ Апокалипсисѣ эта черта осталась еще въ реальномъ видѣ: земля поглотила потокъ, который изрыгнулъ драконъ. А такъ какъ земля есть только копія неба, то и на небѣ оказываются тѣ же сферы, воздухъ (эѳиръ), земля и вода, и тамъ тоже океанъ—стихія смерти, замиранія; главное свѣтило, солнце, пребываетъ въ зимніе мѣсяцы въ небесномъ океанѣ; названія созвѣздій соотвѣтствующей части неба, водолей, рыбы, китъ (собственно—большая рыба), указываютъ на характеръ этого пояса.

Въ эсхатологическихъ картинахъ и символахъ неизмѣнно появляется міровая вода, темная глубь. Пророкъ Іона проводитъ три дня во чревѣ большой рыбы, т.-е. проглоченный океаномъ. Когда обострялось ожиданіе

катастрофы міра въ средневѣковой Европѣ, думали что сатана выйдетъ на свободу изъ темной глубины, куда онъ былъ низвергнутъ на 1000 лѣтъ.

Приведенные примѣры заслуживаютъ вниманія потому особенно, что на нихъ видно, какъ спеціальная мѣстная черта можетъ войти опредѣляющимъ моментомъ въ извѣстную систему, какъ она затѣмъ превращается въ общій, если угодно *философскій*, или метафизическій факторъ, совершаетъ цѣлое странствованіе, усвоивается въ обстановкѣ совершенно чуждой и, наконецъ, въ качествѣ символа, воспроизводится безконечное множество разъ, становится категоріей мышленія.

Между прочимъ трехраздѣльная исторія ставитъ въ промежутки, на границахъ между большими періодами— катастрофы. Древній міръ кончается катастрофой паденія римской имперіи, великимъ переселеніемъ народовъ и подъемомъ дикихъ стихійныхъ силъ. Съ крушенія такъ называемаго средневѣковаго міровоззрѣнія и взрыва освободительныхъ силъ въ Возрожденіи начинается и Новая исторія. Катастрофы, если присмотрѣться ближе, искусственно придуманы, онѣ составляютъ произвольныя преувеличенія, въ приложеніи къ извѣстнымъ моментамъ, хотя ихъ можно было также проставить и раскрасить на другихъ мѣстахъ. Катастрофы появляются въ построеніи историковъ, потому что онѣ должны быть на раздѣлахъ. Присматриваясь дальше къ типу изображенія катастрофы, мы увидимъ въ немъ слѣды старинаго яркаго образа, потускнѣвшаго и сведеннаго на общую рубрику.

Итакъ, важнѣйшимъ источникомъ идеи историческихъ вѣковъ и періодическихъ смѣнъ надо признать *астро-*

логическія наблюденія, которыя даютъ впечатлѣніе правильности и неизбѣжности космическихъ явленій (затменій, ежегодныхъ солнцестояній) или земныхъ (наводненій).

Связь періодизаціи со старой антропологіей.

Но есть еще другой источникъ представленія, что человѣчество проходитъ нѣкоторыя крупныя общія, необходимыя фазы жизни. Это наблюденія надъ *человѣческимъ организмомъ*. Параллель между обществомъ и человѣкомъ очень стара, такъ же стара, какъ между обществомъ и міромъ. Но надо замѣтить, что въ старину наблюденіе анатомическаго строенія и физіологическихъ отправленій человѣка ставится совершенно иначе, чѣмъ въ новой наукѣ. Сначала вниманіе ученаго привлекаетъ всякое рѣзкое отступленіе—уродство, острая болѣзнь, нервный припадокъ, необычная форма органа и т. п. Не даромъ лѣтописецъ рядомъ съ историческими фактами отмѣчаетъ рожденіе уродовъ въ человѣческомъ и даже животномъ мірѣ. Старинная анатомія и физіологія—науки объ органическихъ курьезахъ или органическихъ кризисахъ, потрясеніяхъ. Въ виду этого понятна старинная концепція человѣческой жизни, какъ смѣны рѣзкихъ кризисовъ, раздѣляющихъ ее на нѣсколько особыхъ жизней.

Въ смыслѣ такихъ кризисовъ понимаются нѣкоторыя болѣзни, но въ особенности такъ понимается моментъ перехода или вступленія въ періодъ органической зрѣлости человѣка, моментъ возмужанія. Цѣлый рядъ обычаевъ и церемоній, сохранившихся у разныхъ народовъ въ Африкѣ, Полинезіи, указываетъ на то, что выходъ мальчиковъ, а мѣстами и дѣвочекъ изъ отроческаго возраста понимается, какъ второе рожденіе. Но рожде-

ніе уже жившаго существа должно наступить послѣ подобія смерти, послѣ замиранія, послѣ смертной опасности. Поэтому нерѣдко симулируется смерть въ видѣ тяжелаго сна, въ который впадаетъ субъектъ вслѣдствіе физическаго напряженія или продолжительнаго поста; или его подвергаютъ пыткамъ, ставятъ его подъ градъ стрѣлъ, бросаютъ въ воду, держатъ въ темнотѣ, пугаютъ страшными картинами. По выдержаніи испытанія „перерожденнаго“ поздравляютъ со вступленіемъ въ новую жизнь, ему даютъ новое имя, его стараются увѣрить, что въ него вселился новый духъ, что онъ сталъ совершенно инымъ и долженъ забыть все, что зналъ раньше. Всего легче достигается психическое внушеніе тамъ, гдѣ юноша съ достиженіемъ зрѣлости переходитъ изъ семьи въ общественный домъ.

Обычаи *инициаціи*, какъ ихъ теперь называютъ въ этнологіи, перешли потомъ въ религіозную область въ видѣ обрѣзанія или погруженія въ воду. Въ этихъ обрядахъ остались всѣ черты старины—и напоминаніе о старой пыткѣ въ видѣ бросанія въ воду, и присвоеніе имени, которое прежде было перемѣной имени, когда крестили взрослыхъ. Позднѣйшая религія требуетъ совершенія обряда при самомъ началѣ жизни, но нѣтъ сомнѣнія, что раньше онъ занималъ другое мѣсто; крещеніе, даже по принятому ученію, есть второе рожденіе, рожденіе въ духѣ, слѣдовательно отмѣчаетъ моментъ зрѣлости.

Если церковь, этотъ классическій аппаратъ консервированія бытовой старины, отвела такое видное мѣсто иниціаціи, то отсюда ясно, какъ сильно отражалась она въ старинной теоріи жизни человѣческаго организма.

Въ свою очередь мысль о кризисахъ и возрожденіяхъ человѣческаго организма легко была перенесена на исторію общественныхъ формъ, разъ къ обществу примѣнили тѣ же анимистическія идеи.

Живучесть старинныхъ научныхъ концепцій.

Можетъ показаться страннымъ, что мы такъ долго останавливались на старинныхъ идеяхъ и концепціяхъ жизни. Вѣдь наша главная задача – анализъ новыхъ представленій, *нашихъ* представленій. Но мы и не ушли отъ этой задачи. Прежде всего слѣдовало дать себѣ отчетъ въ томъ, какъ много въ нашихъ пріемахъ сохранилось унаслѣдованнаго и повторяемаго механически. Безъ сомнѣнія, множество представленій уже не имѣютъ реальной силы для насъ и сохраняются въ видѣ поблѣднѣвшихъ символовъ, при чемъ въ привычныя рубрики мы подставляемъ новый смыслъ. Но съ перваго взгляда очень неясно, какія именно черты стараго вѣкового аппарата мысли еще живы въ насъ и какія находятся наканунѣ полнаго забвенія. Обозрѣніе и анализъ старинныхъ взглядовъ необходимы намъ въ качествѣ провѣрки. Послѣ нея мы можемъ поставить вопросы: въ какой мѣрѣ для насъ убѣдительны или обязательны пріемы прежнихъ поколѣній? Удержалось ли что-либо изъ старинныхъ мотивовъ?

Собственно говоря, остатковъ старинныхъ мотивацій очень много, и мы встрѣчаемся съ ними на каждомъ шагу. Что такое, напр., понятіе финальнаго вѣка, или старости человѣческаго духа, какъ не ясный отзвукъ старинной эсхатологіи? А, между тѣмъ, оно занимаетъ видное мѣсто въ двухъ крупныхъ философіяхъ исторіи, Гегеля и Конта. Лѣтъ 20 тому назадъ нѣмецкій историкъ, Оттокаръ Лоренцъ, предложилъ въ качествѣ

основы философіи исторіи ученіе о поколѣніяхъ, Generationenlehre. Лоренцъ считаетъ, что большія историческія перемѣны укладываются въ рамки жизни поколѣній, что законъ ихъ слѣдованія есть законъ смѣны человѣческихъ генерацій. Теорія его очень похожа на старо-римское ученіе о saecula, вѣкахъ, образующихъ смѣну жизненныхъ моментовъ въ опредѣленномъ темпѣ. Очень часто можно услыхать разсужденія объ усталости культурнаго общества, конечно, преимущественно отъ людей усталыхъ или считающихъ себя таковыми. Въ связи съ представленіемъ о послѣдовательномъ органическомъ ослабленіи человѣчества, о вырожденіи расъ выставляются по временамъ теоріи, утверждающія, что люди когда-то, въ отдаленную, но трудно опредѣлимую эпоху обладали совершенной культурой, возвышенной религіей; затѣмъ позднѣе, въ силу какого-то внутренняго органическаго истощенія, ихъ воззрѣнія и потребности огрубѣли, кругозоръ сузился, бытовая обстановка понизилась. Современные дикари — живые результаты замиранія культуры; они нисколько не отставшіе члены развивающагося человѣческаго общества; они не младенцы культуры, а старики ея.

Въ подобныхъ воззрѣніяхъ повторяются систематически старыя теоріи органическаго цикла развитія человѣчества. Но теоріи замираній и возрожденій оставили еще много отдѣльныхъ слѣдовъ и отмѣтокъ, которые мы встрѣчаемъ въ видѣ названій и характеристикъ извѣстныхъ историческихъ моментовъ. Такъ, до сихъ поръ говорятъ о вырожденіи, разрушеніи, смерти античнаго общества. До сихъ поръ за XV—XVI вв. осталось обозначеніе „Возрожденія“, и все еще многіе историки

стараются нарисовать какую-то картину пробужденія послѣ долгаго сна, буйнаго расцвѣта вырвавшихся на свободу силъ, наступленія для общества возраста, соотвѣтствующаго молодости, и т. п. Но всѣ эти остатки старинныхъ теорій производятъ впечатлѣніе разрозненности. Иная комбинація, когда-то живой членъ большой стройной системы, хотя и продолжаетъ еще повторяться, но въ сущности превратилась въ метафору, уже не вызывающую живыхъ ассоціацій.

Перемѣна, внесенная открытіемъ древности человѣческой культуры.

Что здѣсь собственно произошло? Самую рѣшительную перемѣну въ наши воззрѣнія внесло понятіе о *громадной протяженности исторіи человѣчества*. Въ самомъ дѣлѣ, всѣ эти трехраздѣльныя или четырехраздѣльныя группировки, всѣ эти представленія о періодическихъ катастрофахъ и возрожденіяхъ держались на мысли о краткости вѣка человѣчества на землѣ. Всѣ старыя философіи исторіи исходятъ отъ этой мысли и сообразно формулируютъ свое понятіе о темпѣ эволюціи, о скорости оборотовъ и т. д. Прежде безъ колебанія помѣщали первобытнаго человѣка за порогъ исторіи и разрубали послѣдующую, такъ наз., историческую жизнь на нѣсколько ярко отличаемыхъ другъ отъ друга эпохъ. Теперь мы, во-первыхъ, затруднились бы указать, гдѣ этотъ порогъ, существуетъ ли онъ; можетъ быть, такъ наз. „начало исторіи“—наша фикція, ни что иное, какъ результатъ признанія, что на извѣстномъ отдаленіи зрѣніе наше становится неясно. Правда, въ германской наукѣ еще держится раздѣленіе человѣчества на Kulturvölker и Naturvölker, но оно чрезвычайно условно. Только два крайніе конца заслуживали бы обозначенія „культурныхъ народовъ“ и „дикарей“, а

между ними множество промежуточныхъ ступеней, не укладывающихся ни въ ту, ни въ другую категорію. Будучи поставлены въ историческую переспективу, эти переходныя ступени образуютъ громадную линію протяженія. Начало культуры приходится отодвинуть необычайно далеко. Въ сравненіи съ этой протяженностью тотъ пробѣгъ, который прежде считали исторіей, такъ невеликъ, что его раздѣленія на періоды, или вѣка, блѣднѣютъ, утрачиваютъ цѣну.

Прежнее дѣленіе историческаго прошлаго на возрастныя эпохи, на паденія и возрожденія потеряло значеніе еще по другой причинѣ. Всѣ старыя философіи исторіи выдвигали на первое мѣсто быстроту эволюціи человѣчества: и притомъ все равно, были ли онѣ теоріями непрерывнаго и безконечнаго прогресса, или онѣ признавали законъ круговорота, періодическія паденія и возрожденія; въ первомъ случаѣ эволюція казалась однородной, во второмъ—состоящей изъ смѣны линіи подъема и линіи пониженія. Но такъ или иначе, казалось, что движеніе идетъ быстро; человѣчество двинулось, удалилось отъ какого-то опредѣленнаго начала и приближается къ опредѣленному концу или задачѣ: формы его жизни составляютъ этапы приближенія къ цѣли.

Любопытно отмѣтить, что христіанство благопріятствовало этой идеѣ цѣлесообразной эволюціи. Оно до извѣстной степени завѣщало новоевропейскому просвѣщенію теорію прогресса. Въ самомъ дѣлѣ христіанство дало двѣ мысли, которыя очень явственно проступаютъ, по крайней мѣрѣ, въ первыхъ свѣтскихъ теоріяхъ прогресса: мысль о сліяніи всего человѣчества на землѣ

въ одну великую общину, которое совершится вслѣдствіе усвоенія всѣми людьми общей истины, и затѣмъ мысль о возрастающемъ просвѣтлѣніи, о новыхъ озареніяхъ, которыя приближаютъ человѣка къ полному знанію. Конечно, послѣдняя идея, собственно говоря, свободно высказывалась только въ сектахъ, обыкновенно отвергаемыхъ официальнымъ христіанствомъ, но ея основа лежитъ въ той формулировкѣ, которую христіанство приняло для объясненія своего происхожденія. Кратко историческая формула христіанства можетъ быть передана такъ: тьма стараго язычества дошла путемъ страданія и тяжкихъ поисковъ до усвоенія той истины, которая отвѣтила на мучительные вопросы. Ветхій Завѣтъ весь полонъ ожиданій, предсказаній и приготовленій къ новому строю жизни и понятій.

Христіанская философія исторіи возникла въ узкомъ кругозорѣ, считавшемъ землю или даже $^1/_{10}$ земли за весь міръ. Она обусловлена также узостью хронологическихъ представленій, т.-е. мыслью о краткости существованія человѣческаго общества на землѣ: если въ центрѣ исторіи стоитъ актъ искупленія, то онъ не могъ наступить слишкомъ поздно; не могли же его дожидаться и изнывать въ грѣхахъ и страданіяхъ безконечныя поколѣнія людей въ теченіе необозримыхъ вѣковъ.

Теорія прогресса—продолженіе христіанской философіи исторій.

Новоевропейское просвѣщеніе вначалѣ стояло очень близко къ построеніямъ религіозной философіи. Теорія историческаго прогресса въ той формулировкѣ, какую она получила въ концѣ XVIII вѣка и началѣ XIX вѣка, очень настаивала на быстротѣ движенія культуры; согласно ученіямъ первыхъ эволюціонистовъ, этапы развитія человѣчества недалеко отстоятъ другъ отъ друга

и смѣняются въ скорой очереди. Причина этого убѣжденія вполнѣ понятна: на нихъ все еще дѣйствуетъ неостывшее христіанское представленіе о краткости человѣческаго вѣка на землѣ.

Въ настоящее время историческая перспектива выступаетъ уже въ совершенно иномъ видѣ. Какъ бы ни казались намъ рѣшительными и важными успѣхи промышленной техники и научныя открытія послѣднихъ 100—150 лѣтъ, мы не можемъ не сознавать, что пока это моментъ незначительный по времени существованія. Подъ первымъ впечатлѣніемъ грандіозныхъ ожиданій, вызванныхъ наступленіемъ этого момента, Контъ могъ въ своей философіи исторіи представлять все прошлое, какъ подготовку научныхъ идей XIX вѣка. Мы уже неспособны на такое преувеличеніе; мы, можетъ быть, слишкомъ чувствуемъ, какъ недавно начался этотъ подъемъ. Намъ приходится притомъ признать, что строй жизни и понятій огромнаго большинства человѣчества почти не измѣнился отъ успѣховъ науки и техническихъ изобрѣтеній.

Теперь, когда археологическія открытія развертываютъ передъ нами длинный рядъ вѣковъ неизмѣннаго или почти неизмѣннаго уклада жизни, мы невольно всматриваемся иными глазами въ строй, современный намъ, въ господствующія понятія и отношенія. И мы начинаемъ все болѣе сознавать, какое огромное мѣсто занимаютъ въ историческомъ прошломъ повторяющіяся дѣйствія однѣхъ и тѣхъ же силъ, какъ медленно и слабо совершались измѣненія.

Теорія прогресса располагала нѣкоторыми излюбленными аргументами и иллюстраціями для доказательства

своего представленія о непрерывномъ ростѣ человѣческаго общества и неуклонномъ расширеніи человѣческаго сознанія. Прежде всего она приводила въ свою пользу фактъ утонченія и усовершенствованія общественныхъ формъ. Вначалѣ общество ничтожно или даже вовсе не существуетъ; чѣмъ дальше впередъ, тѣмъ болѣе растетъ оно и, наконецъ, захватываетъ всю жизнь отдѣльныхъ людей. Линія развитія рисовалась приблизительно такъ. Старинный человѣкъ былъ совсѣмъ одинокъ; но и позднѣе, сложивъ себѣ узкую сферу семьи и рода, онъ недалеко ушелъ отъ эгоизма; еще позже онъ началъ вырабатывать себѣ болѣе широкіе интересы группового характера. Кругъ его симпатій все растетъ; онъ идетъ отъ формъ общинныхъ, городскихъ къ національнымъ, государственнымъ и, наконецъ, общечеловѣческимъ.

Возраженія противъ теоріи прогресса.

Въ новѣйшей наукѣ скорѣе склонны отмѣчать малоподвижность формъ. Общественность вовсе не началась на опредѣленной ступени человѣческаго развитія; общество родилось вмѣстѣ съ человѣкомъ, идетъ съ нимъ равнымъ шагомъ или, можетъ быть, оно даже старше человѣка, какъ зоологическаго вида. Съ другой стороны, на огромномъ протяженіи можно наблюдать упорное цѣпкое существованіе однѣхъ и тѣхъ же формъ общественности: 1) семьи или вообще соединенія родственниковъ, 2) союза товарищей по занятію, по настроенію или симпатіямъ, 3) племени или національности, т.-е. сближенія по нѣкоторымъ естественнымъ унаслѣдованнымъ признакамъ, и 4) государства, т.-е. формы господства и подчиненія. Варіаціи ихъ очень разнообразны, онѣ становятся въ различныя отношенія между собою:

особенно можетъ быть растяжима вторая форма—союзъ, который является въ видѣ дружины, религіознаго братства, торговой компаніи, профессіональнаго соединенія мастеровъ или рабочихъ, политической партіи, секты, церкви, при чемъ приближается нерѣдко къ четвертой формѣ. Но при всемъ разнообразіи, переплетеніи оттѣнковъ, массѣ промежуточныхъ формъ—отмѣченныя группы остаются живыми типами, существующими съ незапамятныхъ временъ.

Важной иллюстраціей для теоріи прогресса всегда служила ссылка на *движеніе религіозныхъ идей*. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ возрастающее утонченіе и просвѣтлѣніе религіозныхъ понятій не доказываетъ, что человѣческая культура восходитъ по непрерывному и крутому подъему?

Но гдѣ доказательства въ пользу силы и быстроты религіозной эволюціи? Съ каждымъ днемъ мы убѣждаемся, что тѣ идеи, которыя постарались монополизировать себѣ большія всемірныя религіи, которыя онѣ объявили своими пріобрѣтеніями, необычайно старинны: таковы понятія о верховномъ божествѣ, правящемъ міромъ, вѣра въ небеснаго патрона-искупителя, сходящаго на землю, ожиданіе страшнаго суда, вѣра въ потусторонній міръ, гдѣ исправляются несовершенства и ошибки здѣшней жизни. Вмѣстѣ съ этими идеями цѣлый рядъ символовъ и обрядовъ, неразрывно и тѣснѣйше связанныхъ съ господствующими большими религіями, оказывается также наслѣдіемъ незапамятной старины. Все это восходитъ въ такую глубь вѣковъ и отдаляется на такую низкую ступень развитія, что вмѣсто восходящей линіи эволюціи и совершенствованія мы полу-

чаемъ ровную полосу необычайно долгаго и упорнаго переживанія.

Въ свое время чрезвычайно важное значеніе придавали переходу отъ политеизма къ монотеизму; въ христіанской апологетикѣ идея единаго Бога была чуть ли не главнымъ аргументомъ въ пользу высоты и превосходства предлагаемой религіи. Поддаваясь тому же увлеченію, Огюстъ Контъ объявилъ монотеизмъ, ради его стройности, за систему почти научную. Конту казалось, что идея единобожія приближаетъ послѣднія стадіи богословскаго вѣка къ вѣку позитивному. Но въ образцово монотеистической религіи, христіанствѣ, единобожіе фактически осталось фикціей на огромномъ протяженіи времени для подавляющихъ массъ, и нѣтъ никакого основанія считать монотеистическую идею продуктомъ послѣднихъ высшихъ ступеней религіознаго развитія. Представленіе о единомъ Божествѣ, уживаясь съ вѣрой въ болѣе мелкихъ мѣстныхъ духовъ, стихійныхъ боговъ и т. д., идетъ изъ самой отдаленной поры и встрѣчается повсемѣстно, независимо отъ проповѣди такъ наз. всемірныхъ религій.

Относительно исторіи религіозныхъ идей возможно еще одно предположеніе. Пусть въ извѣстный, весьма отдаленный моментъ произошла смѣна представленій; но не зачѣмъ представлять себѣ эту смѣну въ видѣ возрастанія тонкости и возвышенности идей. Можно разсматривать всѣ извѣстныя религіи, какъ своеобразныя познавательныя попытки, отмѣченныя одной общей чертой: именно, пріемомъ разсужденія, который Авенаріусъ назвалъ интроекціей и который состоитъ въ томъ, что позади вещей человѣкъ мыслитъ живыхъ двигателей,

отъ каждаго видимаго дѣйствія отвлекаетъ дѣйствующую „силу“, во всякомъ явленіи старается отыскать сидящую въ глубинѣ прочную и неизмѣнную „сущность“. Благодаря этому пріему вся природа одухотворяется, наполняется „душами“; міръ раздѣляется на видимую косную матерію и невидимый творящій и движущій духъ, и матерія подчиняется духу.

Подъ этимъ угломъ зрѣнія высшія религіи не отличаются существенно отъ низшихъ грубо-анимистическихъ. Боги и великій единый богъ являются лишь дальнѣйшимъ развитіемъ представленій о духахъ, близкихъ къ человѣку или находящихся въ самомъ человѣкѣ; высшія небесныя существа лишь государи въ воображаемомъ таинственномъ царствѣ, проникающемъ собой весь внутренній міръ. Есть нѣкоторыя основанія думать, что человѣкъ не всегда отличался наклонностью къ интроекціи, къ заполненію воображаемаго потусторонняго міра живыми силами, духами и т. д. Повидимому, ранѣе появленія собственно религіозныхъ вѣрованій, предполагающихъ въ мірѣ внѣчеловѣческія силы, господствовала чистая магія, т.-е. убѣжденіе человѣка въ своихъ собственныхъ сверхестественныхъ свойствахъ и силахъ. Можетъ быть, въ очень отдаленную пору человѣкъ не раздвоялъ ни природу, ни себя самого, не зналъ никакихъ духовъ и отмѣчалъ кругомъ себя и въ себѣ только жизнь, только живое, не чувствуя необходимости предположить позади вещей какой-то спрятанный духовный міръ.

Если такое представленіе о старинѣ близко къ истинѣ, тогда еще менѣе основанія видѣть въ движеніи религіозныхъ идей факты прогрессивнаго развитія человѣ-

ческой культуры. Скорѣе вся полоса религіознаго пониманія міра должна показаться намъ колоссальной аберраціей человѣческой мысли, отклоненіемъ, изъ круга котораго человѣческая мысль стала освобождаться только въ новѣйшихъ стадіяхъ научнаго міровоззрѣнія.

Въ данную минуту мы не можемъ останавливаться на этихъ вопросахъ. Намъ важно было только отмѣтить факты, составляющіе существенное возраженіе противъ теоріи непрерывнаго прогресса человѣчества. Эволюція человѣческой культуры не представляется намъ теперь одной линіей, круто и ускоренно поднимающейся вверхъ. Эволюціонный процессъ раздробляется на много самостоятельныхъ группъ, по большой части вовсе не примыкающихъ другъ къ другу, въ видѣ звеньевъ одной цѣпи. Многія изъ этихъ группъ въ своей жизни, растянутой на вѣка, производятъ впечатлѣніе медленно развертывающихся почти ровныхъ полосъ. Въ исторіи передъ нами выступаютъ не столько хронологическіе моменты одного расширяющагося теченія, сколько мѣстные общественные и культурные типы съ характернымъ строеніемъ весьма длительнаго свойства.

Старыя періодизаціи драматизировали историческіе факты.

Вспомнимъ еще разъ, какую важную роль въ старыхъ историческихъ концепціяхъ играло представленіе о катастрофахъ, замираніяхъ и возрожденіяхъ. Оно было яснымъ знакомъ сознанія краткости вѣка человѣчества; оно было необходимымъ дополненіемъ или иллюстраціей органическаго взгляда, мысли, что поколѣнія сливаются въ жизнь одного великаго организма. Но разъ мы замѣчаемъ, что пути движенія чрезвычайно длинны, что эволюціонная линія поднимается слабо, разбивается на много параллелей, то въ нашихъ гла-

захъ неизбѣжно должно ослабѣть и впечатлѣніе тѣхъ моментовъ, которые прежнее міровоззрѣніе обозначило катастрофами. Какъ много катастрофъ должно было случиться на всемъ протяженіи исторіи и какъ мельчаютъ онѣ вслѣдствіе этого! Нельзя не замѣтить, что мысль о катастрофахъ держалась на нѣкоторой произвольной драматизаціи, на сильномъ стягиваніи состояній и настроеній, въ дѣйствительности раздвинутыхъ во времени, т.-е. до извѣстной степени на сокращеніи сокращеній. Напримѣръ, катастрофа паденія древней, такъ наз. языческой культуры и замѣна ея культурой христіанской изображалась въ видѣ страданія и болѣзненнаго умиранія поколѣній, которыя потомъ оживаютъ подъ вліяніемъ новаго озаряющаго ихъ свѣта. При этой концепціи, очевидно, или забывали, или намѣренно игнорировали, что перерожденіе, или второе рожденіе, приходится на долю вовсе не тѣхъ поколѣній, что раньше страдали и изнывали въ ожиданіи. Реальный прогрессъ медленной смѣны понятій, скорѣе—перефразировки старыхъ воззрѣній, очень отличался отъ того символическаго плана, который на него накинула позднѣйшая историческая мысль, стянувшая долгія состоянія въ короткіе драматическіе акты съ завязкой и развязкой, при чемъ пришлось смѣло шагать черезъ головы конкретныхъ людей, оперируя неопредѣленными сущностями, въ родѣ „общество римской имперіи“, „античное общество“ и т. п.

Такъ можно было разсуждать и строить только на основѣ органической теоріи; въ свою очередь, изображеніе драматическихъ катастрофъ служило важнымъ подкрѣпленіемъ органическаго взгляда. То и другое

потеряло теперь силу и значеніе для исторической мысли. Намъ не нужна драматизація моментовъ, когда измѣнилось представленіе о продолжительности эволюціи; она потеряла свою доказательную силу, такъ какъ исчезла сама основа ея, представленіе объ органическомъ характерѣ развитія.

Какъ отразились эти перемѣны въ современныхъ намъ построеніяхъ исторіи?

Періодизаціи болѣе соотвѣтствующія новымъ историческимъ свѣдѣніямъ.

Не слѣдуетъ удивляться тому, что пока, въ виду новизны открытыхъ фактовъ, въ виду недавности самаго переворота въ понятіяхъ, сказались результаты скорѣе отрицательнаго свойства, чѣмъ положительнаго. Во-первыхъ, историку приходится отказаться отъ такъ наз. Всемірной исторіи, Weltgeschichte, которую такъ складно умѣщали прежде въ одну полосу отъ Египта и Вавилона по руслу греко-римской и среднеевропейской жизни до нашихъ дней, допуская небольшія дополненія на окраинахъ, въ родѣ Индіи, Китая, арабовъ. Кругъ прежней всемірной исторіи охватывалъ небольшую часть земной поверхности. Типическіе формулы и лозунги старой всемірной исторіи: „съ Востока свѣтъ“, „напоръ свѣжихъ силъ сѣверныхъ варваровъ“ и т. п., ясно обнаруживаютъ пограничную окружность этого цикла и главныя дѣйствующія силы всемірно-исторической драмы. Планъ ея очень старъ: тѣ же самыя дѣйствующія силы и составныя части названы еще у Геродота; онѣ образуются изъ Европы и Передней Азіи. Въ старой всемірной исторіи нетрудно было бы вскрыть простое преувеличеніе христіанской Европы и ея историческаго сознанія.

Въ настоящее время даже въ этой тѣсно отграни-

ченной географической сферѣ историческія перспективы должны быть переставлены самымъ существеннымъ образомъ сравнительно съ тѣмъ размѣщеніемъ, которое дали матеріалу въ эпоху составленія схемъ всемірной исторіи. Унаслѣдованныя рубрики древней, средневѣковой, новой исторіи не пригодны для насъ. Если попрежнему сохранить суженную полосу, по которой представляли себѣ движеніе всемірной исторіи, то все же придется внести другое дѣленіе, въ которомъ хронологическіе отдѣлы будутъ отчасти сообразованы съ географическими районами, а большіе періоды будутъ открываться перемѣщеніемъ культурно-географическихъ центровъ.

Мы получимъ тогда, въ качествѣ первой эпохи и настоящей *древней* исторіи, періодъ *нильско-евфратскій* съ центрами Ѳивы, Мемфисъ, Вавилонъ, Ниневія, Суза, Іерусалимъ. Страны и народы Передней Азіи и сѣверовосточной Африки съ давнихъ поръ находились въ оживленныхъ сношеніяхъ; къ концу періода они объединяются въ персидской державѣ, а ихъ культура вливается въ русло іудейской религіи и въ видѣ христіанства уходитъ на западъ, покидая свою первоначальную географическую почву. Задолго до окончанія этого историческаго ряда въ сосѣднемъ *средиземноморскомъ* районѣ начинается второй, *средній* періодъ, культурная эпоха греко-финикійско-римская, которая захватываетъ большую часть того, что прежде называли древней исторіей; она заходитъ съ другой стороны въ глубину слѣдующей эпохи, называвшейся Средними вѣками; Византія и западные арабы тѣснѣйше связаны со Средиземнымъ моремъ и въ культурномъ отношеніи живутъ, главнымъ образомъ, традиціями гре-

ко-римскаго періода. Между тѣмъ на сѣверѣ уже начался третій періодъ и *новый* культурный кругъ, который можно назвать *среднеевропейскимъ*. Въ его предѣлы умѣстится почти вся эпоха, называющаяся въ школѣ Средними вѣками; она соединится съ такъ наз. Новымъ временемъ въ одну непрерывную линію.

Географическое размѣщеніе историческаго матеріала.

Намъ нѣтъ теперь нужды останавливаться на этой частичной реформѣ періодизаціи исторіи. Намъ важно только отмѣтить, что даже въ такой ограниченной сферѣ, гдѣ отношенія между общественными и народными группами являются особенно тѣсными и непрерывными, мы все же склонны внести принципъ *географическаго* размѣщенія. Географическій принципъ дѣленія и является теперь самымъ серьезнымъ конкурентомъ старой всемірно-исторической планировки.

Географическая идея положена въ основу большой коллективной работы, выходящей подъ редакціей Гельмольта; она порываетъ рѣшительно со старымъ основнымъ дѣленіемъ историческаго матеріала по эпохамъ, по хронологическимъ разрѣзамъ и группируетъ факты по большимъ территоріальнымъ кругамъ, каковы Америка, Африка, Восточная Азія, Южная Азія, Западная Азія, Средиземное море, Европа и т. д. До извѣстной степени демонстративно это сочиненіе, называющееся „Всемірной исторіей“, начинаетъ не съ того края, который всегда считали колыбелью культуры, т.-е. не съ таинственнаго Востока, а съ Америки, какъ бы для того, чтобы подчеркнуть безразличное отношеніе къ вопросу о большей или меньшей старинности той или другой культуры.

По существу намъ нельзя разбирать попытки Гельмольта. Конечно, въ ней вѣетъ еще старый духъ все-

мірной исторіи; вѣдь, частности въ ней исполнены спеціалистами, которые большею частью мало безпокоились объ общей концепціи и имѣли въ виду только свой опредѣленный кругъ историческихъ отношеній. Поэтому географическій принципъ въ разбираемомъ сочиненіи остается лишь внѣшнимъ планомъ, иногда превращается въ случайный разрѣзъ, или, наоборотъ, въ случайное соединеніе; напр., отдѣлъ американской исторіи заключаетъ въ себѣ двѣ части, совершенно не связанныя между собою: старинную мѣстную исторію туземной Америки и новую Америку, вышедшую изъ европейской эмиграціи и составляющую продолженіе европейской исторіи.

Безъ сомнѣнія, географическій принципъ только тогда получитъ свое настоящее значеніе, когда рамки для дѣленія по территоріямъ, очерчивая физико-біологическія условія странъ, будутъ служить вмѣстѣ съ тѣмъ естественными границами соціально-культурныхъ типовъ. Поэтому приходится отмѣтить еще одинъ недостатокъ Всеобщей исторіи Гельмольта. У него географія не идетъ дальше заголовковъ. Нѣтъ даже и намека на обстоятельное описаніе физической обстановки, среди которой развертываются соціальныя отношенія, нѣтъ совершенно попытки привести въ связь типическія черты данной мѣстной исторіи, ея постоянныя или повторяющіяся свойства, съ тѣми или другими постоянными особенностями соотвѣтствующей группы странъ. Вотъ примѣръ: исторію ислама и мусульманской культуры немыслимо отдѣлять отъ своеобразной географической полосы степей, протянувшихся черезъ весь Старый свѣтъ и являющихся вмѣстѣ съ тѣмъ главнымъ театромъ жизни номадныхъ народовъ. Но такое раз-

мѣщеніе историческаго матеріала потребовало бы особаго географическаго разрѣза, который въ свою очередь въ книгѣ не предусмотрѣнъ. Тѣмъ не менѣе слѣдуетъ признать систему, принятую Гельмольтомъ, необыкновенно важной по принципу, такъ какъ она открываетъ до извѣстной степени проспектъ будущихъ общеисторическихъ построеній.

Вліяніе этнологіи на историческую періодизацію.

Необходимо обратить вниманіе еще на одно современное научное явленіе, которое отражаетъ въ себѣ смѣну представленій о продолжительности и характерѣ историческаго развитія. Въ какіе-нибудь полвѣка, а можетъ быть, и меньше того, сложилась новая наука, *этнологія*. Она въ такой мѣрѣ выдается и количествомъ относящихся къ ея области работъ, и важностью разбираемыхъ въ ней проблемъ, что одинъ изъ ея представителей, Гелльвигъ, съ извѣстнымъ правомъ могъ сказать: „мы живемъ въ вѣкѣ этнологіи“. Въ статьѣ этнологическаго журнала „Globus“ (30 марта 1905 г.), откуда взято это выраженіе, говорится, также съ большимъ правомъ, насколько необходимой школой для соціальной мысли должна служить работа надъ этнологическимъ матеріаломъ, знакомство съ этнологическимъ методомъ. Старое правило, что общественный дѣятель, политикъ немыслимъ безъ историческаго образованія, у Гелльвига перефразировано въ формулу: политикъ немыслимъ безъ этнологической подготовки.

Что означаетъ появленіе новой науки? Фактъ этотъ не можетъ быть сведенъ на случайное скопленіе большого матеріала, для котораго понадобились новые шкапы, новый архивъ и новый къ нему титулъ на вывѣскѣ. На первый взглядъ дѣйствительно кажется, что этнологія водворилась среди разросшейся массы мате-

ріала, который заключался раньше, съ одной стороны, въ описательной этнографіи живыхъ народностей, съ другой—въ археологической этнографіи народностей вымершихъ, ставшихъ ископаемыми. А это, вѣдь, были доли двухъ старыхъ наукъ; изъ нихъ одна была приписана къ географіи и называлась народовѣдѣніемъ, другая—къ исторіи и называлась скромно: изученіе доисторической культуры. Но любопытно уже то, что эти двѣ фракціи двухъ разныхъ наукъ соединились вмѣстѣ: важно то, что описательная и изслѣдовательская работа устремилась въ новую комбинированную область. Запросъ на привлеченіе новаго матеріала въ рамки только что слаженной науки возросъ въ непомѣрной степени. И, конечно, въ этихъ перемѣщеніяхъ, въ этомъ новосозданномъ научномъ единствѣ сказывается воздѣйствіе крупнаго общаго интереса.

Общій мотивъ, составляющій смыслъ интереса къ этнологіи, нетрудно замѣтить, если мы сопоставимъ на частныхъ примѣрахъ постановку вопросовъ въ собственной исторіи и въ этнологіи. Между исторіей и этнологіей уже нѣтъ той замѣтной хронологической черты, которая обозначалась словами: „начало исторической жизни“, „доисторическая культура“. Этнологія вступаетъ въ такъ наз. историческія эпохи, отбираетъ себѣ здѣсь матеріалъ, распространяетъ на явленія исторической жизни свои постановки. Между тѣмъ какъ, напр., историкъ ставитъ вопросъ о судѣ по Салической Правдѣ или о формахъ суда въ средневѣковой Англіи, этнологъ захватываетъ тѣ же явленія въ большой кругъ аналогій у другихъ народностей и на основаніи обширныхъ сопоставленій исполняетъ работу о

присягѣ и клятвѣ, въ связи съ народными вѣрованіями. Въ то время какъ историкъ изучаетъ программы Великой крестьянской войны въ Германіи 1525 г., этнологъ привлекаетъ аграрно-коммунистическія утопіи, манифесты, фантазіи и т. п. изъ возстаній различныхъ временъ и составляетъ изслѣдованіе „о раздѣленіи земли“, какъ проблемѣ соціальной философіи простого народа.

Этнологія изучаетъ общіе элементы соціальной жизни, повторяющееся, постоянное. Въ сущности говоря, она выполняетъ этимъ ту задачу, которая была поставлена въ свое время соціологіи. Но между исторіей и этнологіей есть еще другая разница: одна наука занята преимущественно поздними моментами культуры, другая—ранними. Это различіе отражается въ лучшихъ соціологическихъ журналахъ, которые могуть быть названы и этнологическими. Напримѣръ, въ „Zeitschrift für Sozialwissenschaft“, въ „Année Sociologique“, которые полны изслѣдованій въ области ранней культуры. Если раньше этнологіи не существовало, и матеріалъ, характерный для нея, помѣщался гдѣ-то во введеніи къ исторіи, то это происходило потому, что историческій вѣкъ представляли себѣ непропорціонально большимъ въ сравненіи съ раннимъ, доисторическимъ. Появленіе этнологіи прежде всего указываетъ на то, что представленія о продолжительности „вѣковъ“ переставились. Историческіе вѣка, заполнявшіе почти всю картину прошлаго, оказались весьма краткими сравнительно съ тѣмъ, что прежде считалось только введеніемъ къ нимъ. И понятно, что старыя періодизаціи собственно „историческаго времени“, разсчитанныя на другой масштабъ, потеряли прежній интересъ и значеніе.

II.

Традиціонныя представленія о факторахъ, причинахъ и цѣляхъ историческаго движенія.

Вслѣдъ за размѣщеніемъ матеріала въ большіе отрѣзы времени или пространственные круги, вслѣдъ за установленіемъ историческихъ типовъ, опредѣляемыхъ временемъ и мѣстомъ, историкъ ставитъ вопросъ о внутренней связи явленій. Онъ старается выяснить факторы, причины историческихъ перемѣнъ, дѣйствующія силы исторической жизни и формы ихъ осуществленія.

Преобладающія понятія о волевомъ факторѣ въ исторіи.

Какими пріемами руководимся мы въ этихъ вопросахъ, каковы господствующія наши представленія? Вглядываясь назадъ въ философско-историческія построенія старины, мы прежде всего замѣчаемъ одно существенное отличіе старыхъ толкованій отъ тѣхъ, къ которымъ склонна наша жизнь. Чѣмъ дальше отъ нашего времени, тѣмъ больше мѣста въ историческихъ теоріяхъ элементу личности, воли, цѣлесообразности. Чѣмъ ближе къ намъ, тѣмъ эти представленія слабѣе, вплоть до нашихъ усилій истребить всюду метафизическій элементъ начисто. Конечно, могутъ сказать, что идеалистическія теченія въ общественныхъ и въ есте-

ственныхъ наукахъ опять возстановляютъ честь изгнанныхъ, казалось, навсегда духовъ, опять провозглашаютъ роль личности, силу, величіе и независимость воли и опять воскрешаютъ телеологію, ученіе о цѣлесообразномъ творчествѣ жизни.

Нельзя, конечно, отрицать, что протестъ во имя чувствъ человѣка, огорченнаго бездушіемъ окружающаго міра, носитъ очень настойчивый и шумный характеръ. Пусть это только переживанія старыхъ міровоззрѣній; пусть въ убѣжище идеализма спаслись старые символы и боги, немного закрытые модернизованной маскировкой. Но они показали, что еще имѣютъ большую силу надъ умами, и это заставляетъ насъ только съ особеннымъ вниманіемъ пересмотрѣть системы прежнихъ истолкованій. Анализъ долженъ намъ показать, какіе элементы являются въ нихъ существенными, и есть ли дѣйствительно связь между старыми постановками и нашими истолкованіями.

Если христіанская философія исторіи изображаетъ историческій процессъ, какъ выполненіе *плана Провидѣнія*, ведущаго человѣчество къ конечнымъ цѣлямъ, то она воспроизводитъ необыкновенно старинную идею. Въ религіи древняго Вавилона провиденціализмъ носитъ своеобразно-реалистическій характеръ. На небесахъ есть особое божество, Набу, обладающій высшимъ искусствомъ письма. Богъ-писецъ ведетъ книгу жизни, книгу добрыхъ и злыхъ дѣлъ. Эта запись имѣетъ характеръ одновременно и небесной исторіографіи, и небесной бухгалтеріи. Всевѣдущій богъ пишетъ общую лѣтопись міра, которая вмѣстѣ съ тѣмъ предусматриваетъ, предопредѣляетъ дальнѣйшія судьбы міра; съ другой сто-

роны—Богъ, въ качествѣ небеснаго счетчика, держитъ для всякаго изъ людей доску добрыхъ дѣлъ и доску грѣховъ; онъ записываетъ всѣ поступки, отсчитываетъ дни и сокращаетъ или удлиняетъ людямъ жизнь.

Этотъ образъ небесной книги, заключающей въ себѣ полный протоколъ земныхъ дѣлъ и отношеній и въ то же время составляющей твердый, нерушимый планъ будущаго, выступаетъ всякій разъ тамъ, гдѣ болѣе или менѣе отчетливо развита система предопредѣленія. Въ мусульманствѣ мы встрѣчаемся съ очень рѣзкой формой вѣры въ предопредѣленіе. Въ эсхатологіи послѣдователей ислама есть мотивъ появленія небесной книги, которую выносятъ къ послѣднему суду; это—повтореніе знакомой черты вавилонской картины конца міра. Можетъ быть, и Кальвинъ, при его своеобразной юридико-административной складкѣ ума, представлялъ себѣ нѣчто въ родѣ небеснаго протокола, когда развивалъ свою теорію предопредѣленія.

Съ теченіемъ времени мысль о регулирующихъ свыше силахъ смягчается, утрачиваетъ свою угловатость. Но, напр., еще у Лессинга, выдающагося представителя нѣмецкаго просвѣщенія XVIII в., она выражена очень реально. Божество является мудрымъ педагогомъ рода человѣческаго. Богъ открываетъ человѣку истину постепенно и въ соотвѣтствіи съ его культурнымъ уровнемъ и потребностями. Религіи въ ихъ историческомъ развитіи представляютъ классы обученія и въ то же время онѣ—оболочки облагораживающей людей идеи. Первыя религіи—грубы, полны конкретныхъ образовъ: ветхозавѣтный богъ строгъ до жестокости. Но иначе, какъ такими школьными примѣрами нельзя было сдер-

жать необузданныхъ еще людей; иначе нельзя было подѣйствовать на ихъ воображеніе, и потому раннія руководства для развитія сознанія были полезны и необходимы.

Оживленіе провиденціализма въ XIX вѣкѣ.

Въ XIX в. въ ученіяхъ реакціонеровъ оживаетъ и обостряется идея о близкомъ судѣ Божіемъ, о непосредственномъ вмѣшательствѣ Провидѣнія въ земныя дѣла, о прямыхъ карахъ и наградахъ, выпадающихъ на долю людей. Реакціонеры считаютъ такимъ судомъ Божіимъ — только что пронесшуюся надъ Европой революцію.

Въ теченіе XIX в. однимъ изъ яркихъ выраженій понятія о божественной планомѣрности человѣческой исторіи можетъ служить національностическій мессіанизмъ. Его основная идея состоитъ въ томъ, что страдающая личность, подобно Христу, беретъ на себя грѣхи всѣхъ остальныхъ и своими мученіями искупляетъ вину другихъ, спасаетъ ихъ. Высказавшіе мысль эту впервые французскіе реакціонеры разумѣли судьбу опрокинутой монархіи, но та же идея появляется потомъ въ патріотической литературѣ подавленныхъ націй, особенно польской и итальянской. Народъ, находящійся въ рабскомъ подчиненіи, раздробленный, лишенный жизненнаго единства, представляется великимъ страдальцемъ, несущимъ свой крестъ не только за себя, но и за всѣхъ. Онъ получитъ награду за свое долготерпѣніе, но это торжество будетъ не матеріальнымъ, а духовнымъ просвѣтленіемъ. Была попытка связать идею мессіанизма съ судьбою русскаго народа: она сильно выражена въ извѣстной рѣчи Достоевскаго на пушкинскомъ празднествѣ 1880 г. Содержаніе ея извѣстно.

Русскій народъ способенъ перевоплощаться въ чужіе образы; въ этомъ его слабость, но и сила. Онъ переживаетъ страданія другихъ, онъ находитъ въ себѣ отзвуки ко всему, чѣмъ живутъ и жили другіе, и такимъ образомъ онъ одинъ способенъ внести въ міръ объединяющее, братское, примиряющее начало.

Такимъ образомъ у Провидѣнія есть орудіе въ лицѣ опредѣленной группы на землѣ. Самъ народъ-избранникъ можетъ знать о назначеніи своемъ, о великой цѣли, которой онъ служитъ, и въ такомъ знаніи иногда заключается единственная награда за тѣ страданія, съ которыми связана высокая миссія.

Подобныя представленія, доходящія почти до нашего времени и отражающіяся въ литературѣ, представляютъ чрезвычайный интересъ. Вѣдь, они современны замѣчательнымъ успѣхамъ научнаго метода, они держатся въ томъ же самомъ обществѣ, которое обнаружило способность къ тонкому и сложному анализу явленій, точнѣйшимъ измѣреніямъ и подсчетамъ. Они показываютъ необыкновенную силу переживаній очень стариннаго происхожденія.

Происхожденіе провиденціализма.

Нетрудно видѣть, какъ сложились соотвѣтствующія представленія. Человѣкъ приписываетъ міру и божеству свою мораль, свою мѣру предусмотрительности, свое понятіе о справедливости. Онъ считаетъ наиболѣе удачными своими поступками тѣ, которые ему кажутся исполненіемъ разъ задуманной цѣли. Въ мірѣ, гдѣ все такъ таинственно и сильно, очевидно, торжествуетъ цѣлесообразность и планомѣрность, т.-е. комбинаціи, которыя человѣкъ считаетъ наиболѣе удачными подвигами своими, проявленіемъ своихъ наиболѣе высокихъ

качествъ. Далѣе, когда налицо обида, нанесенъ ущербъ, когда человѣкъ испытываетъ страданіе, его можетъ утѣшить, успокоить только компенсація, только возстановленіе утеряннаго, отдача взятаго, торжество, равное испытанному бѣдствію. Такова человѣческая справедливость. Руководящія міромъ силы должны это хорошо понимать, онѣ должны заботиться о томъ именно, что̀ больше всего безпокоитъ человѣка, и у нихъ система воздѣйствія должна лучше удаваться, чѣмъ у слабаго человѣка, она должна быть совершенствомъ; иначе говоря, небесная справедливость, будучи похожей на человѣческую, стоитъ несравненно выше ея.

Ни въ чемъ такъ рѣзко и наивно не проявляется антропоморфизмъ, какъ въ этой телеологіи. Но разъ человѣкъ привыкъ къ методу перенесенія на міръ своихъ догадокъ и мотивовъ своего разсужденія, онъ уже не замѣчаетъ и долго не можетъ замѣтить, что въ толкованіи космическихъ силъ ему приходится встрѣчаться съ отраженіемъ собственнаго „я“, съ картиной собственной психики. Изъ области религіозной телеологія нечувствительно переходитъ въ научную. Махъ замѣчаетъ о раннихъ научныхъ понятіяхъ: „Очень естественно, что въ эпоху слабаго развитія теоретико-познавательной критики человѣкъ приписываетъ природѣ свои психологическіе мотивы и набрасываетъ ихъ проэкцію въ міровомъ строѣ. Сначала Богъ или природа, по его мнѣнію, стремятся во всѣхъ явленіяхъ къ простотѣ и красотѣ, потомъ божество и міръ ищутъ строгой закономѣрности и ясной опредѣленности, наконецъ, стремятся къ бережливости и экономіи, къ тому,

чтобы добиться нужнаго результата съ наименьшей потерей силъ".

Однако, постепенно происходитъ смягченіе первоначально грубыхъ олицетвореній, которыя переносили такъ смѣло человѣка со всѣми его замыслами и разбѣгами на небо и превращали его въ міроправящее существо. Прежде Провидѣніе управляло историческими фактами, воспитывало и карало людей, учиняло или возвѣщало судъ исторіи, приводило людей на край гибели и спасало ихъ. Съ теченіемъ времени субъектъ телеологической эпопеи былъ перемѣщенъ на землю; цѣли высшаго существа превратились въ коллективные планы человѣчества. Внѣчеловѣческая мудрость обратилась въ разумность и цѣлесообразность жизни рода человѣческаго. Смягченныя формы исторической телеологіи.

Въ этомъ смягченіи антропоморфизма и переводѣ старой телеологіи на языкъ болѣе современный видное мѣсто занимаетъ Гегель. Согласно его философіи исторіи среди хаоса событій цѣлесообразно дѣйствуетъ міровой духъ. Это значитъ: совокупная исторія человѣчества разумна, хотя въ отдѣльности люди поступаютъ случайно и нелѣпо, хотя страсти и заблужденія разрываютъ и влекутъ ихъ въ разныя стороны. Въ существованіи великой цѣли, къ которой идетъ человѣчество, нельзя сомнѣваться. Непонятны были бы кровопролитія, жестокости, всѣ страшныя потери человѣчества, если бы они не являлись жертвами, приносимыми ради великаго разумнаго плана исторіи.

Получается, однако, большое затрудненіе. Какимъ образомъ изъ ирраціональныхъ, логически невѣрныхъ, разрозненныхъ поступковъ отдѣльныхъ людей и цѣлыхъ

группъ человѣческихъ сложится стройный гармоническій рисунокъ мірового духа? Какимъ путемъ происходитъ это чудесное строительство общечеловѣческаго генія? Теорія отвѣчаетъ: именно такъ, какъ строитель дома пользуется деревомъ, глиной, желѣзомъ. Онъ пускаетъ въ ходъ ихъ свойства въ духѣ каждаго элемента для общей цѣли, извѣстной лишь ему одному. Онъ заставляетъ при сооруженіи служить себѣ огонь, вѣтеръ, воду, чтобы потомъ обуздать эти же элементы, создать противъ дождя, вѣтра и т. д. защиту. Отдѣльные люди, ихъ страсти и влеченія—необузданны, нелѣпы, жалки. Сами по себѣ они не имѣютъ цѣны, и исторіи до нихъ нѣтъ дѣла. Важно только то, что возведетъ изъ нихъ міровой духъ. Пусть они бьются, стонутъ, корчатся въ страданіяхъ, пусть увлекаются призраками! Это потери не изъ капитала. „Міровой духъ хитеръ“, онъ заставляетъ работать на себя силы отдѣльныхъ людей, а самъ „держится вдалекѣ отъ битвы, спрятавшись“, „онъ платитъ налогъ жизни и смерти не изъ самого себя, а изъ человѣческихъ страстей и существованій“.

Можно ли рѣшительно сказать, что эти гегельянскія формулы слишкомъ архаичны для насъ, слишкомъ отзываются устарѣлымъ романтическимъ театромъ? Гегель лишь склоненъ къ очень яркимъ выраженіямъ, и его характеристику стратегическихъ маневровъ мірового духа можно почти принять за пародію исторической телеологіи. Но вотъ теоріи новѣйшихъ государствовѣдовъ въ Германіи, выраженныя гораздо болѣе тускло и проводимыя съ полной серьезностью. Государство, по ихъ ученію, нѣчто, стоящее выше не только отдѣльныхъ людей, но и цѣлыхъ человѣческихъ обществъ.

Государство ставитъ обществу высшія цѣли, воспитываетъ его, регулируетъ безпорядочное сплетеніе интересовъ и влеченій. Государство создало всѣ учрежденія, всѣ союзы, семью, профессіональныя корпораціи, религіозныя соединенія, словомъ — все, что служило для обращенія человѣческаго стада въ культурную среду. Отражая этотъ взглядъ теоретиковъ государственнаго права, Эдуардъ Мейеръ въ своемъ общемъ очеркѣ роста человѣческой культуры [1]) объявилъ, что государство старше самого человѣка. Съ первыхъ шаговъ своихъ человѣкъ уже чувствовалъ на себѣ благодѣтельную силу велѣній, исходившихъ отъ какого-то цѣлаго, къ которому онъ принадлежалъ, и которое было мудрѣе, чѣмъ онъ самъ.

Напрасно мы стали бы возражать сторонникамъ подобнаго рода взглядовъ, что государство—тѣ же люди въ извѣстномъ сочетаніи и взаимодѣйствіи, что принудительный характеръ государственныхъ правилъ сравнительно со всякими другими есть только результатъ фактическаго соотношенія силъ и т. п. Мистицизмъ нельзя опровергнуть ссылкой на то, что посторонній не видитъ усматриваемыхъ вѣрующими внутреннихъ сущностей. Мы имѣемъ дѣло съ той самой идеей коллективной цѣлесообразности, которую съ такой силой отразилъ Гегель: въ видѣ государства олицетворяется масса народа за множество вѣковъ, рядъ событій и учрежденій, и потомъ это олицетвореніе, въ качествѣ

---

1) *Ed. Meyer*. Geschichte des Alterthums. 2-e Auflage, 1907, Einleitung. Elemente der Anthropologie.

твердой, авторитетной системы, противопоставляется разрозненнымъ человѣческимъ единицамъ.

Телеологія образуетъ только одну изъ формъ олицетворенія историческихъ группъ. Другой, очень распространенной и очень старинной формой является любопытная комбинація идей, которую можно было бы назвать *соединеніемъ психологическаго и историческаго момента*.

Психологическое истолкованіе фактовъ исторіи религіи.

Основной мотивъ ея состоитъ въ томъ, что извѣстныя состоянія, переживаемыя людьми вообще, драматизируются въ символической судьбѣ одного „героя“ и превращается такимъ образомъ въ историческое событіе. Въ качествѣ иллюстраціи можетъ служить религіозный миоъ, встрѣчающійся чуть ли не у всѣхъ народовъ. Озирисъ, Иштаръ, Аттисъ, Адонисъ, Аполлонъ, Орфей, Христосъ — претерпѣли мученія, подвергались ужасу смерти, погружались въ адъ и, очищенные страданіемъ, одаренные утѣшеніемъ, опять возродились къ новой жизни. Дѣло страдальца - искупителя совершилось въ опредѣленный моментъ; оно случилось разъ на пользу человѣчества. Герой взялъ на себя мученія многихъ, выкупилъ у темныхъ силъ жизнь массы людей, возродилъ ихъ для новой жизни, для безсмертія.

Повидимому, этотъ миоъ заключаетъ въ себѣ историзацію остраго психическаго кризиса, который переживался нѣкоторыми особенно нервными людьми, сдѣлавшимися для массъ основателями или провозвѣстниками религіи. Ихъ состоянія душевной муки, смертельнаго страха, потомъ утѣшенія, уравновѣшенія или радостнаго экстаза передались массѣ среднихъ людей и превратились въ нормы, въ типическія смѣны чувствъ и эффек-

товъ. Пророкъ, провозвѣстникъ, самъ конкретно переживавшій извѣстныя состоянія души, становился для массы символомъ. Но обыкновенно онъ самъ или его близкіе послѣдователи, въ свою очередь, находили нужнымъ ссылаться на другой символъ, на великій образецъ, данный божествомъ или сверхъестественной личностью. И тогда оказывалось, что психическая драма, которую видѣли или испытывали люди,—лишь копія великаго событія, стоящаго на разрубѣ временъ. Разъ такимъ образомъ фиксированъ въ исторіи великій душевный кризисъ, къ основному событію, подъ его краски начинаютъ приспособлять картины всего прошлаго и будущаго человѣчества. Въ центрѣ историческаго процесса становится личность мірового страдальца, великаго искупителя-образца. До событія всѣ пребывали во тьмѣ, въ страхѣ, въ томительномъ ожиданіи; послѣ него—въ радости, въ упованіи, въ чувствѣ обновленности. Психическія состоянія обращены такимъ образомъ въ историческія эпохи.

Но исторія въ то же время служитъ канвой для постояннаго періодическаго воспроизведенія психическихъ смѣнъ. Въ большихъ празднествахъ, мистеріяхъ, въ постахъ, канунахъ и затѣмъ въ свѣтлыхъ дняхъ, воскресеньяхъ и т. п. люди въ массѣ опять переживаютъ міровое событіе въ воспоминаніяхъ и въ актахъ культа; слѣдовательно, историческій символъ опять раздробляется на множество индивидуальныхъ психическихъ моментовъ.

На извѣстныхъ ступеняхъ религіознаго развитія или въ извѣстныхъ религіозныхъ кругахъ сознаніе историческаго момента слабѣетъ, и онъ совсѣмъ превращается

въ психологическій. Мы обыкновенно называемъ такое направленіе *мистикой*. Послѣдователи ученія о вѣчномъ Евангеліи въ XII в. или нѣмецкіе мистики XIV вѣка говорили, что Ветхій и Новый Завѣтъ, появленіе искупителя, второе пришествіе и страшный судъ надо понимать духовно. Какъ реальности, какъ группы внѣшнія, всѣ эти событія и учрежденія не существуютъ, или, по крайней мѣрѣ реальное существованіе ихъ для живущаго нынѣ человѣка безразлично. Это—названія или иносказанія для душевной жизни современнаго человѣка: пришествіе Христа или Св. Духа, страшный судъ и т. п. ничто иное, какъ страданія и возрожденія собственнаго духа человѣка, и даже не предстоящія ему въ какомъ-то будущемъ, а нынѣ имъ испытываемыя. Историческія свѣдѣнія, находящіяся въ Писаніи, лишь школа для начинающихъ; на высшихъ ступеняхъ религіознаго сознанія эти дидактическіе премы, эти дѣтскія картинки не нужны: „истинно-духовная личность“ должна будетъ убѣдиться въ ихъ нереальности.

Очень близко въ этомъ отношеніи къ христіанскимъ мистикамъ стоятъ мусульманскіе, напр., такъ наз. измаелиты. Они предполагаютъ тѣ же послѣдовательныя восхожденія для религіознаго сознанія, тѣ же подготовительные классы религіозной школы. И также по мѣрѣ усвоенія высшихъ откровеній—историческій элементъ блѣднѣетъ и превращается въ чистую психику: и махди бывшій, Мохамедъ, и махди будущій, котораго ждетъ масса вѣрующихъ, какъ второго пришествія, въ концѣ-концовъ оказываются фикціями, сводятся для того, кто постигъ тайну, на моменты внутренней жизни.

Съ извѣстнымъ правомъ можно было бы назвать эти

направленія началомъ *религіознаго нигилизма*. Очень понятно, что господствующая церковь приходила отъ нихъ въ большое безпокойство и преслѣдовала ихъ, какъ опасныя ереси. Безъ сомнѣнія, эти такъ назыв. ереси или мистическія секты были также началомъ философскаго раціонализма. Въ данную минуту онѣ намъ интересны въ другомъ отношеніи. Онѣ иллюстрируютъ своеобразное сплетеніе историческаго и психологическаго элемента. Въ мистикѣ мы наблюдаемъ разлученіе этихъ двухъ элементовъ, отстраненіе одного изъ нихъ, какъ менѣе цѣннаго, или истолкованіе исторіи въ духѣ психологизма. Этотъ процессъ мысли помогаетъ намъ до извѣстной степени представить себѣ процессъ обратный, т.-е. историзированіе душевныхъ состояній, которое именно въ мистикѣ обернулось на психологизацію историческихъ моментовъ, личностей и событій.

Психологическое истолкованіе фактовъ соціальной исторіи.

До сихъ поръ всѣ наши примѣры были взяты изъ области собственно религіознаго сознанія, поскольку религія нуждается въ историческомъ фундаментѣ и создаетъ себѣ историческую философію. Но мы можемъ прослѣдить приложеніе тѣхъ же методовъ мысли къ истолкованію другого матеріала.

Особенно ярко историко-психологическіе пріемы отражаются въ историческомъ творчествѣ ранняго арабскаго мусульманства. Какъ извѣстно, въ личной судьбѣ основателя мусульманской общины, Мохамеда, рѣшительную роль играло его бѣгство (гижра) изъ старой, отвергнувшей его родины, Мекки, въ новую общину, Медину, гдѣ зародилась форма, предназначенная восторжествовать надъ міромъ. Гижра Мохамеда по отношенію къ судьбѣ всего арабскаго народа является

символомъ. Исторія мусульманъ говоритъ, что у всего вѣрующаго народа была своя гижра, свое бѣгство съ родины. Такова была арабская колонизація, направленная въ другія страны, завоевательное движеніе номадовъ, ихъ героическій переходъ къ новой жизни. Въ историческомъ изображеніи великій моментъ переселенія, который вмѣстѣ съ тѣмъ является моментомъ религіознаго подъема, обозначается тѣмъ же именемъ, что и бѣгство Мохамеда. Вмѣстѣ съ тѣмъ историческое событіе, фактъ политическій и экономическій, превращенъ въ морально-психологическій моментъ; фактическая единица, комплексъ случайностей обращенъ въ вѣчный типъ. Тотъ же принципъ пуоведенъ черезъ всю арабскую историческую традицію. Четвертый халифъ, Отманъ, былъ убитъ въ борьбѣ партій, и съ этого убійства началась междоусобная война, которая повела къ раздѣленію свѣтскаго, полуязыческаго господства Омайадовъ и правовѣрнаго, строго-законническаго церковнаго общества ŝіа, или ŝіитства. Тотъ халифъ Отманъ, съ котораго пошла бѣда и расколъ, называется очень характерно—„открытая дверь“. Само междоусобіе также имѣетъ морально-психическое обозначеніе—оно зовется: „искушеніе“.

Получается впечатлѣніе, что въ сознаніи людей событія постепенно превращались въ типы, что они образовали въ памяти какъ бы главы моралистическаго романа.

На терминахъ арабской исторіографіи можно особенно наглядно показать сліяніе историческаго и психологическаго истолкованія. Но съ тѣмъ же превращеніемъ историческихъ моментовъ въ психическіе и обратно мы

встрѣчаемся постоянно и въ нашей европейской исторической мысли, и притомъ въ очень близкія къ намъ времена. До сихъ поръ принято рисовать Средніе вѣка, какъ эпоху, когда человѣкъ и человѣческое общество находились въ состояніи особенной подавленности, переживали пессимистическое настроеніе. Возрожденіе, напротивъ, обязательно изображается въ качествѣ эпохи бурнаго подъема жизнерадостныхъ силъ; и опять здѣсь характеристика распространяется на все общество, это опять общій психологическій моментъ. Въ гегельянской философіи исторіи психологическій принципъ проведенъ съ необыкновенной настойчивостью. Все историческое прошлое образуетъ послѣдовательную смѣну психическихъ состояній; во всякій моментъ своего развитія человѣческій духъ отражаетъ, какъ бы въ одной зеркальной плоскости, всю перспективу предшествующихъ состояній. Гегельянская философія такъ далеко идетъ въ своемъ увлеченіи перестановками и превращеніями, что въ концѣ-концовъ ея почитатель долженъ затрудниться, считать ли ему всю исторію игрой идей и смѣной состояній у сознающаго и вспоминающаго человѣка, или, наоборотъ, всю психическую и спекулятивную жизнь человѣка признавать объективнымъ процессомъ, раздвинувшимся во времени и разыгрывающимся въ видѣ реальной драмы?

Пріемы психологизаціи исторіи.

Если присмотрѣться ближе, психологизація исторіи основана на весьма произвольныхъ операціяхъ съ историческимъ матеріаломъ. При этомъ главнымъ образомъ можно замѣтить наклонность составителей исторической картины сокращать и сгущать далекіе удаленные отъ насъ періоды въ компактныя психическія массы; въ

результатѣ жизнь нѣсколькихъ поколѣній, иногда даже многихъ поколѣній, стягивается какъ бы въ одну человѣческую жизнь. Въ такомъ духѣ, напр., стараются обыкновенно изобразить состояніе общества въ Италіи въ срединѣ XIX вѣка, настроеніе націи наканунѣ объединенія страны. Чувства, идеи общества объясняютъ вѣковымъ накопленіемъ несчастій въ раздробленной странѣ, подвергавшейся непрерывнымъ нашествіямъ иноземцевъ, забывая, что между нашествіями проходили вѣка; очень горячо, очень трагично представляютъ при этомъ, какъ отлагались разоренія, національныя обиды, неудачи объединительнаго движенія и т. д. въ народной душѣ, опять-таки забывая, что образъ этой души— наша фикція, получившаяся отъ суммированія состояній, которыя переживались въ разное время совершенно различными людьми.

Другимъ, до извѣстной степени классическимъ, примѣромъ подобнаго объясненія можетъ служить обычная характеристика превращенія античнаго языческаго общества въ новое, христіанское. Намъ говорятъ, что греко-римское общество, изжившее свои задачи, свои идеалы, стало метаться въ поискахъ религіи, которая могла бы отвѣтить на пробудившіеся мучительные запросы души. Послѣ ряда попытокъ, перепробовавши различныя системы, общество нашло, наконецъ, отвѣтъ въ христіанствѣ. Это построеніе возможно только при произвольномъ сокращеніи нѣсколькихъ столѣтій на срокъ какихъ-нибудь 30 лѣтъ, которыя особенно интенсивно можетъ пережить только одно поколѣніе. Въ самомъ дѣлѣ, достаточно вспомнить, что тѣ, кто метался въ поискахъ при Цезарѣ, отдѣлены отъ приблизившихся

къ истинѣ при Александрѣ Северѣ и, наконецъ, отъ удовлетворенныхъ при Діоклетіанѣ и Константинѣ 9-ю—12-ю поколѣніями. Достаточно вспомнить все это, чтобы разстроилась историческая драма, требующая почти по аристотелевой теоріи поэзіи соблюденія трехъ единствъ. И, однако, несмотря на такую наглядную несообразность, драматическая композиція, въ основѣ которой лежитъ психологизація исторіи, постоянно возвращается и занимаетъ фантазію многихъ, изучающихъ историческій матеріалъ.

Представленія о центральной личности историческаго движенія.

Чрезвычайно распространенъ еще одинъ видъ психологическаго истолкованія исторіи, который состоитъ въ томъ, что каждой эпохѣ присваиваютъ особаго *носителя ея идей*, каждому состоянію общества пріискиваютъ представителя. Такова центральная личность, какъ говорятъ, воплощаетъ свое время; она собираетъ въ себѣ его запросы, его чаянія, исканія, нерѣдко его страданія. Она открываетъ собой новый вѣкъ, произноситъ новое магическое слово, освобождающее или разрѣшающее отъ мучительныхъ сомнѣній. Или иначе: центральный человѣкъ собираетъ новыя, еще не формулированныя, неясно бродящія въ умахъ идеи въ стройную систему, въ гармонію и указываетъ массѣ готовый укладъ жизни и мысли, на которомъ люди могутъ надолго успокоиться.

Такъ, или приблизительно такъ, опредѣляли роль и значеніе Александра Македонскаго, Цезаря, Карла Великаго, Лютера. Главнымъ образомъ этотъ пріемъ драматико-психологической композиціи примѣнялся къ личностямъ такъ наз. основателей религіи. Возникновеніе религіи въ такой мѣрѣ представлялось въ чертахъ ор-

ганическаго кризиса, однимъ порывомъ охватывающаго массы, обединяющаго ихъ, что отсюда естественно приходили къ представленію о центральномъ чувствилищѣ, о главномъ нервномъ узлѣ, который воспринимаетъ всѣ внѣшніе мотивы, переживаетъ, перерабатываетъ ихъ и суммируетъ всѣ реакціи, всѣ рефлективныя движенія, отвѣчающія этимъ мотивамъ. При такой концепціи религіозныхъ движеній необходимо принять и центральную личность основателя религіи. Повидимому, композиція фигуры основателя религіи является раньше всякаго историческаго изученія, раньше всякаго историческаго доказательства. Всѣ аргументы, позднѣе приводимые въ пользу необыкновеннаго значенія выдающейся личности основателя, ничто иное, какъ варіаціи одного и того же основного положенія, одной и той же драматико-психологической идеи.

Великаго человѣка признаютъ чѣмъ-то необходимо нужнымъ для опредѣленной эпохи. Безъ него человѣчество не могло бы дальше двинуться. Онъ спасаетъ свой вѣкъ, поколѣнія современныя ему и будущія. Время отъ времени и теперь можно услыхать: намъ нуженъ крупный человѣкъ, великая личность, которая вывела бы насъ изъ тяжелаго отчаяннаго состоянія и показала бы вѣрный путь или совершила бы спасительную великую реформу.

Все это разнообразныя формы психологизма въ исторіи. Намъ необходимо было остановиться на нихъ для того, чтобы отмѣтить одну упорную наклонность человѣческой мысли при истолкованіи массовыхъ явленій, развертывающихся въ послѣдовательности времени. Человѣкъ ищетъ души, внутренней, сознательно напра-

вляющей силы не только въ окружающихъ его предметахъ, организмахъ или группахъ, объединяющихъ въ себѣ признаки сосуществованія, но онъ ищетъ той же души, тѣхъ же сознательно стремящихся внутреннихъ силъ въ рядахъ послѣдовательныхъ явленій, притомъ такихъ явленій, которыя раздробляются между многими дѣятельными единицами. Душа отыскивается не только въ вещахъ, но и во временахъ, въ послѣдовательныхъ смѣнахъ.

Упорство старыхъ представленій о волевомъ факторѣ.

Разъ пришлось констатировать такую сильную наклонность къ онимизму, намъ становится понятно, каковы должны быть представленія большинства людей о причинахъ историческихъ явленій, о дѣйствующихъ силахъ, факторахъ исторіи и т. п. Нѣтъ сомнѣнія, что большинство вноситъ въ представленіе объ исторической причинѣ оттѣнокъ творчества, разумѣетъ подъ нею нѣкоторое создаваніе, въ результатѣ котораго получается производное, называемое слѣдствіемъ. Конечно, оттѣнокъ этотъ въ новыхъ истолкованіяхъ исторіи становится все слабѣе, но большинство не поспѣваетъ за передовымъ движеніемъ въ методологіи и слагаетъ свои представленія по старому типу.

Присматриваясь къ обычнымъ толкованіямъ причинной связи событій, мы можемъ легко убѣдиться въ томъ, что подъ причиной часто разумѣютъ сознательно направляющую творческую силу. Таково, напр., объясненіе французской революціи изъ подготовительной силы отрицательныхъ и положительныхъ идей такъ наз. просвѣтительной философіи. Его схема очень проста. Идеи расчистили почву, онѣ создали революціонное настроеніе, онѣ указали программу для политическихъ

и соціальныхъ новообразованій. По отношенію къ системамъ мысли, къ пропагандѣ идей факты самой революціи, т.-е. волненія, энтузіазмъ, возникновеніе новыхъ учрежденій—составляютъ производныя, образуютъ слѣдствія. Таково же объясненіе причинъ переворота, открывающаго собой эпоху такъ наз. Новаго времени. Прогрессъ общественнаго движенія, начиная съ XVI в., объяснялся, какъ слѣдствіе ряда умственно-техническихъ чудесъ, ряда изобрѣтеній. Изобрѣтенія и ставились въ руководствахъ и учебникахъ на первую страницу исторіи Новаго времени, хотя для этого совершенно искусственно приходилось стягивать воедино сравнительно недавнее книгопечатаніе съ давнишнимъ примѣненіемъ магнитной стрѣлки и лишеннымъ всякой даты появленіемъ пороха. Въ болѣе близкое къ намъ время рѣже и менѣе охотно говорятъ объ идеяхъ, какъ причинѣ или факторѣ послѣдующихъ событій. Идеи или понимаются сами, какъ нѣкоторое производное предшествующихъ условій, состояній, переворотовъ, или онѣ разсматриваются, какъ нѣчто одновременное вещамъ, реальнымъ перемѣнамъ, какъ ихъ отраженіе, или ихъ считаютъ самостоятельнымъ выраженіемъ того же единственнаго процесса жизни, который параллельно выражается въ реальныхъ измѣненіяхъ.

Такъ или иначе, но „идеи“ въ гораздо меньшей степени фигурируютъ въ качествѣ дѣйствующихъ силъ или историческихъ причинъ. Мы привыкаемъ все болѣе и болѣе къ тому, что историкъ при разстановкѣ явленій, предшествующихъ какому-нибудь крупному историческому событію или перемѣнѣ, вводитъ рубрики болѣе безличныя, чѣмъ „идеи“; онъ говоритъ о „куль-

турныхъ условіяхъ“ наряду съ условіями политическими, соціальными, экономическими.

Характерно звучитъ еще одна оговорка, съ которой мы нерѣдко встрѣчаемся у историковъ. Намъ говорятъ, что въ толкованіи историческихъ явленій не слѣдуетъ упираться въ исканіе, какой-либо одной „главной, основной“ причины или вообще какихъ-либо отчетливо отграниченныхъ причинъ. Дѣло идетъ о выясненіи сложныхъ переплетающихся группъ; очертанія этихъ группъ неопредѣленны, онѣ сливаются между собою и дробятся, онѣ находятся въ постоянномъ движеніи; историкъ долженъ помнить прежде всего о „множественности причинъ“ и не отдавать предпочтенія какой-либо одной, такъ какъ это значило бы, что онъ упрощаетъ и само событіе, подлежащее объясненію.

Всѣ эти оговорки, осторожныя ограниченія, признанія сложности историческихъ условій показываютъ несомнѣнный прогрессъ общаго метода историческаго толкованія. Они позволяютъ думать, что происходитъ постепенное освобожденіе отъ анимистическихъ и дуалистическихъ понятій, отъ допущенія внутреннихъ сущностей, сидящихъ въ матеріи „позади явленій“ и направляющихъ перемѣны.

Отраженіе психологизма въ понятіи объ историческихъ причинахъ.

Но мы далеко еще не разстались со старыми представленіями. По временамъ при встрѣчѣ съ примѣненіемъ нѣкоторыхъ формулъ поднимается чувство неувѣренности. Такъ, напр., когда мы слышимъ о необходимости различать причины первичныя и производныя, и когда въ соотвѣтствіи съ этимъ различеніемъ экономическое строеніе общества принимается за фундаментъ, а политическая его форма за надстройку. Безъ сомнѣ-

нія, иниціаторы этихъ формулъ имѣли въ виду только отмѣтить послѣдовательность смѣняющихся группъ условій, ихъ хронологію, а вовсе не порожденіе одной сущности, поздней „политической“, другою, ранней „экономической“. Они очень хорошо понимали, что экономическое и политическое строеніе не существуютъ, какъ особыя состоянія, что это лишь наши абстракціи, отвлеченія извѣстныхъ признаковъ общаго процесса жизни, необходимое для того, чтобы при толкованіи сосредоточить вниманіе на характерѣ процесса. Но едва ли можно сказать, что у всѣхъ послѣдователей историко-матеріалистическихъ формулъ имѣется та же осторожность въ ихъ примѣненіи, и, повидимому, въ представленіи многихъ все еще бродитъ мысль объ экономическомъ факторѣ, какъ организующей, толкающей силѣ.

Упорная наклонность олицетворять „причину“, привносить понятіе дѣйствующей силы, очень естественна. Ницше и Махъ убѣдительно показали, что понятіе причины является скомпанованнымъ по понятію воли. Въ самомъ дѣлѣ, какъ проявленія индивидуальной личной жизни мы привыкли разлагать, съ одной стороны, на мысли, замыслы, планы, мотивы и затѣмъ на дѣйствія, выполненія, приложенія силъ и т. п., такъ точно мы готовы различать въ большихъ группахъ общественныхъ явленій, съ одной стороны, разбѣгъ, размахъ, замыселъ, систематически собранныя усилія, а съ другой осуществленіе, обнаруженіе, раскрытіе скрывавшихся, невидныхъ до тѣхъ поръ силъ. По этому типу строится обычное распредѣленіе элементовъ крупнаго историческаго факта, напр. революціи, на причины и слѣдствія. Съ группой причинъ связывается оттѣнокъ скрытости

необнаруженности, согласно тому, какъ мы представляемъ себѣ зрѣющій въ человѣкѣ замыселъ, не выраженный еще на дѣлѣ планъ. Подъ группу слѣдствій, напротивъ, подводятся тѣ факты, которые раскрылись и лежатъ передъ всѣми на виду. Слѣдствіе составляетъ то, что можно наблюдать непосредственно, причина подлежитъ угадыванію; ее можно вычитать изъ послѣдующихъ элементовъ. И мы нерѣдко видимъ, что историкъ добросовѣстно вычерчиваетъ въ видѣ причины извѣстнаго явленія,—проекцію того же явленія, откинутую назадъ. Въ своемъ объясненіи „изъ чего произошло явленіе“ историкъ перефразируетъ факты въ видѣ ихъ ожиданія, въ видѣ предположенія и желанія предшественниковъ, чтобы они случились.

Эта постоянная наклонность вноситъ аналогію личнаго опыта въ толкованіе общественно-историческихъ отношеній и заставляетъ насъ начать анализъ съ того, что человѣкъ обыкновенно считаетъ самымъ характернымъ и рѣшительнымъ проявленіемъ своей высшей культуры, съ момента цѣлесообразности.

III.

Анализъ понятія цѣлесообразности историческаго движенія.

Новѣйшее увлеченіе телеологіей.

Въ послѣднее время телеологія, ученіе о цѣлесообразномъ характерѣ общественнаго движенія въ большомъ почетѣ. Въ приложеніи къ историческимъ толкованіямъ мы встрѣчаемся по большей части съ формулами, которыя даны извѣстной книгой философа-юриста Штамлера: „Хозяйство и право съ матеріалистической точки зрѣнія“ (1896 г.). Штамлеръ выступилъ съ полемикой противъ исторической теоріи марксизма. Онъ признаетъ главной ошибкой сторонниковъ историческаго матеріализма то, что они объявили процессъ общественныхъ новообразованій слѣпымъ, зависящимъ отъ механическаго соотношенія силъ. Необходимо различать процессы естественные, физическіе и біологическіе, и процессы общественные: тогда какъ первые слѣдуютъ механическимъ законамъ, признакомъ послѣднихъ является стремленіе къ цѣли, τέλος, достиженіе сознательно выбранной конечной точки или осуществленіе заранѣе готовой въ мысли системы.

Со времени выхода книги Штамлера увлеченіе идеей цѣлесообразности пошло еще дальше. Многіе біологи

спѣшатъ засвидѣтельствовать, что и въ ихъ области не такъ плохо обстоитъ, и у нихъ нѣтъ господства бездушнаго механизма; и въ органической жизни есть цѣлестремительная энергія. По временамъ человѣку какъ будто становится страшно отъ результатовъ своего собственнаго анализа, онъ плачетъ по своимъ старымъ богамъ и опять силится увѣрить себя въ ихъ существованіи. Но закрадывается невольно вопросъ,—не создастъ ли онъ себѣ, чтобы наполнить будто бы страшную пустоту, нѣкоторое обманчивое привидѣніе?

Мысль о торжествѣ въ жизни цѣлесообразности есть, конечно результатъ наивнаго самонаблюденія человѣка. Какъ много дѣйствій, произвольно совершаемыхъ человѣкомъ! Я захотѣлъ — и всталъ; захотѣлъ — и протянулъ руку; вспомнилъ мелодію—и сыгралъ ее. Однако, продолжая самонаблюденіе, можно убѣдиться, что огромное большинство нашихъ движеній и поступковъ совершается безъ участія сопровождающихъ ясно сознанныхъ мотивовъ или даже безъ участія какой бы то ни было сознательной мысли. Незачѣмъ и упоминать о всей великой совокупности физіологическихъ процессовъ, которыми мы не только не управляемъ, но которыхъ мы по большей части и прослѣдить не можемъ. А между тѣмъ, къ этимъ процессамъ, дыханію, обращенію крови, пищеваренію и т. д., примыкаетъ незамѣтно для насъ цѣлый рядъ актовъ и положеній,—напр., большая или меньшая подвижность, большая или меньшая разговорчивость, соблюденіе темпа и ритма въ рѣчи, формы настроенія и т. д., которые прямо навязаны намъ, никоимъ образомъ не выбраны нами. Правда, при поверхностномъ взглядѣ кажется, что мы сами выбрали то или другое

движеніе, то или другое положеніе, что мы себя развеселяемъ или успокаиваемъ, или сдерживаемъ и т. д., но въ дѣйствительности мы только узнаемъ и констатируемъ, что успокоились, сдержались и т. п.

Для проявленія воли человѣка (не разбирая здѣсь этого понятія, принимаемъ его въ традиціонномъ смыслѣ) остается количественно ничтожная область. Но зато,— скажутъ защитники телеологіи,—какая важная и возвышенная! Тамъ, гдѣ человѣкъ строитъ формы общежитія или гдѣ онъ опредѣляетъ смыслъ собственнаго существованія! Остановимся сначала на послѣднемъ. Казалось бы, ужъ, это, по крайней мѣрѣ, внѣ сомнѣнія: когда я хочу думать о чемъ-нибудь, моя мысль, мой психическій аппаратъ работаетъ планомѣрно! Когда я хочу рѣшить для себя какой-нибудь теоретическій или практическій вопросъ, я управляю своею мыслью, я иду къ опредѣленной цѣли!

Но и въ этомъ случаѣ самонаблюденіе, кажется, дастъ иной отвѣтъ. Въ моменты наибольшаго напряженія нашей мысли, когда мы наиболѣе „стараемся“ держаться опредѣленнаго пути и метода мысли, въ эти самые моменты процессъ очень далекъ отъ методичности, отъ правильности. Мысль наша идетъ скачками, она постоянно перебивается аналогіями или сходитъ на русло аналогій; она можетъ долго стоять неподвижно; иногда ее сталкиваетъ внезапно съ мѣста случайное воспоминаніе; такой психическій случай можетъ отвлечь очень далеко, затушить первоначальный вопросъ, перебить намѣченное исканіе, но можетъ дать и новый плодотворный оборотъ. Такимъ образомъ, архисвободный, повидимому, процессъ, знающій лишь собственный за-

конъ, собственныя цѣли и собственную руководящую силу, оказывается гораздо хуже управляемымъ, чѣмъ завѣдомо механическіе процессы.

Но можно и иначе взглянуть на дѣло. Можно замѣтить въ процессѣ мысли не анархію, не господство случайныхъ толчковъ, а напротивъ, утомительное повтореніе и однообразіе. Нерѣдко мы сознаемъ, что мысль наша безнадежно пролетаетъ въ какомъ-то вынужденномъ направленіи; она бьется, запертая и неосвѣжаемая, въ готовыхъ замкнутыхъ формулахъ; она въ тысячный разъ воспроизводитъ затвердѣлую доктрину. Это—верхъ механичности.

Безсистемность обычнаго хода человѣческой мысли.

Было бы задачей очень благодарной заняться своей собственной умственной автобіографіей, прослѣдить и провѣрить на себѣ, какъ сложились и какъ слагаются у каждаго изъ насъ общія представленія, общія идейныя комбинаціи. То, что происходитъ въ этой области, окажется очень далекимъ отъ чего-либо похожаго на стройную работу при дневномъ свѣтѣ и подъ постояннымъ контролемъ верховной логики. Относительно большей части тѣхъ схемъ, въ которыя собираются наши впечатлѣнія, придется признать, что онѣ складываются и твердѣютъ безъ видимыхъ, безъ произвольно нами направляемыхъ усилій, иногда, или, можетъ быть, даже большею частью, если можно такъ выразиться, „когда насъ нѣтъ дома“, когда мы заняты чѣмъ-либо другимъ. Можно сдѣлать еще такое наблюденіе. Вы хотите найти объединяющій смыслъ извѣстной массѣ фактовъ, найти для нихъ схему. Но она не дается вамъ. Наилучшимъ выходомъ оказывается „отложить до завтра“, отложить неопредѣленно на нѣсколько дней. И затѣмъ въ неожи-

данный, непредусмотрѣнный для васъ срокъ искомая желательная группировка „сама приходитъ“. Вотъ другое наблюденіе: вы передаете свои впечатлѣнія и, благодаря собственной передачѣ, собственному разсказу, вдругъ замѣчаете новую характерную черту въ томъ, что вы видѣли и что описываете; вслѣдствіе этого своего открытія вы получаете новое освѣщеніе цѣлаго.

Повидимому, моментъ, когда дѣлается нами открытіе, когда мы узнаемъ о результатѣ какой-то скрытой работы своего ума, наступаетъ весьма поздно; оно стоитъ въ концѣ длиннаго ряда; отчетливость послѣдней формаціи въ сравненіи съ безпорядочной хаотичностью, въ которой мы покинули факты, когда раньше сознательно обозрѣвали ихъ, какъ будто заставляетъ думать, что въ темный промежутокъ, обошедшійся безъ нашего руководительства, намѣчавшаяся комбинація нѣсколько разъ повторялась, нѣсколько разъ пробѣгала въ одномъ и томъ же направленіи, пока не приняла рѣзкихъ и увѣренныхъ очертаній, пока не заявила о своемъ существованіи. Въ этотъ моментъ мы ее въ себѣ и „открыли“.

Обращая вниманіе на эту особенность нашего мыслительнаго процесса, Ницше находилъ болѣе правильнымъ формулировать ходъ его, вмѣсто словъ: „я думаю“, словами: „оно думаетъ“, вмѣсто ich denke—es denkt. Въ этой парадоксальной формѣ Ницше хотѣлъ выразить именно фактъ неуправляемости нашей мысли: „сознаніе“ и „я“ вовсе не правители, не творцы, и даже не вожди нашей мысли. Они являются лишь въ концѣ, чтобы констатировать полученное. У Ницше есть еще другая формула, на первый взглядъ также крайне парадоксальная: „я“, это — достигнутый результатъ; по-

французски она звучитъ вродѣ извѣстнаго l'état c'est moi: l'effet c'est moi. Иначе говоря, сознаніе своего „я“ есть моментъ, когда соединяются разрозненные, неясные до того движенія и элементы въ извѣстное цѣлое. Мы говоримъ: „я додумался“, „я догадался“ тавтологически. Это „я“ только и появилось въ моментъ осуществленія догадки; его раньше не было.

Происхожденіе понятія о достигнутой цѣли.

Анализъ процесса, повидимомому, наиболѣе зависящаго отъ произвола, отъ управленія человѣка, можетъ быть распространенъ на цѣлое множество нашихъ дѣйствій, которыя мы считаемъ цѣлесообразными и которыя въ дѣйствительности составляютъ рядъ рефлексовъ, лишь въ самомъ концѣ обобщающихся въ нашемъ сознаніи. Въ тотъ моментъ, когда обнаруживаются ихъ результаты, они принимаютъ и цѣлостный видъ, они кажутся совершенными „мною“, „для меня“, „во мнѣ“.

Несомнѣнно, что этотъ послѣдній моментъ, отмѣченный появленіемъ „я“, очень сложенъ. Заканчивается нѣкоторый рефлективный процессъ, происходитъ обнаруженіе его результатовъ, происходитъ регистрація случившагося, и въ то же время совершается обобщеніе того, что пройдено. Вотъ эта обобщающая роль позднѣйшей регистраціи и создаетъ впечатлѣніе цѣлесообразности: „я“ понявшее воображаетъ себя „я“ достигшимъ. Мы какъ будто забываемъ, что нѣсколько часовъ взбирались на высокую гору шагъ за шагомъ, и остро чувствуемъ свое появленіе на высшей точкѣ; къ этому заключительному моменту мы сводимъ всѣ остальныя усилія наши.

Въ цѣломъ рядѣ случаевъ мы имѣемъ дѣло со своеобразнымъ обманомъ зрѣнія: человѣкъ послѣдовательно

переставляетъ порядокъ психическихъ моментовъ и приходитъ къ преувеличенію собственныхъ силъ. Вскрытіе этой перестановки помогаетъ намъ опредѣлить реальное зерно, заключающееся въ представленіи о цѣлесообразности нашихъ дѣйствій. Оно сводится на *регистрирующую* роль сознанія, на послѣдовательныя обобщенія, изъ которыхъ собственно и слагается наше сознаніе. То, что мы называемъ цѣлями, образуетъ *остановки сознанія* или *моменты его выступленія*.

Ограниченность цѣлесообразныхъ дѣйствій въ общественной жизни.

Но можно считать нашъ анализъ неполнымъ. Мы какъ будто ограничились только выясненіемъ тѣхъ случаевъ, когда извѣстное дѣйствіе совершается впервые или стоитъ единично. Но въ нашей жизни можно наблюдать множество повтореній, сознательныхъ воспроизведеній знакомыхъ намъ, уже пройденныхъ дѣйствій, которыя,— какъ мы увѣрены и въ чемъ часто не ошибаемся,— приводятъ къ опредѣленному результату. Вотъ именно подъ такимъ угломъ зрѣнія намъ и могутъ представляться явленія общественной жизни. Повидимому, въ этой области, за исключеніемъ пароксизмовъ революціоннаго или религіозно-экстатическаго характера, дѣйствія служатъ воспроизведеніемъ знакомыхъ пріемовъ. Въ существующихъ учрежденіяхъ, которымъ предоставлены такія-то функціи, правильно повторяются такія-то предусмотрѣнныя соотношенія. При возникновеніи какихъ-нибудь новообразованій, напр., при выработкѣ конституціи, при осуществленіи плана аграрныхъ надѣленій, руководятся извѣстными примѣрами, образцами, т.-е. заранѣе намѣчаютъ широкую, сложную цѣль, которую потомъ проводятъ въ деталяхъ.

Такимъ образомъ можетъ казаться, что общественная

жизнь, поскольку она слагается изъ повтореній и воспроизведеній, подчинена принципу цѣлесообразности. Телеологическая школа можетъ, слѣдовательно, объявить, что законъ общественной жизни состоитъ въ осуществленіи соціальными группами своихъ желаній, своихъ плановъ и идеаловъ?

Опять намъ здѣсь не надо поддаваться иллюзіи, опять надо крайне ограничить область, на которую распространяется руководимость, или воля. Вѣдь, и въ общественной жизни мы встрѣчаемся со своего рода острыми проявленіями сознанія, съ моментами выступленія нѣкотораго обобщающаго „я“, способными создать полный обманъ зрѣнія. Такой характеръ носятъ политическія и общественныя программы, экономическія, государственныя, религіозныя ученія и теоріи. Впослѣдствіи, при установленіи исторической перспективы, эти отчетливыя формулировки служатъ историку до извѣстной степени свѣтящимися точками, и въ направленіи къ нимъ обыкновенно онъ приспособляетъ характеристики соціальныхъ группъ и совершаемыхъ ими движеній. Въ своемъ изображеніи историкъ, игнорируя индивидуальное, обходя несогласныя частности, собираетъ лишь схожее, однородное въ общія полосы; такимъ образомъ получается впечатлѣніе, что движенія были устремлены къ яснымъ цѣлямъ. Помѣщая впереди документъ, манифестацію въ видѣ теоріи, программы, утопіи, историкъ довершаетъ иллюзію.

Но совершенно другой вопросъ, какая реальная цѣна такого размѣщенія. Сторонники телеологической идеи дѣлаютъ ту ошибку, что поддаются иллюзіи историческаго изображенія и извлекаютъ изъ него соціальную

философію. Они понимаютъ литературныя и юридическія формулировки, какъ образы, предварительно до всякихъ выступленій озарявшіе умы массы людей и заключавшіе въ себѣ прямые и основные стимулы всѣхъ дѣйствій. Нечего и говорить, что огромное большинство программныхъ и теоретическихъ формулировокъ уже по времени своего появленія запаздываетъ сравнительно съ реальными событіями; огромное количество ихъ носитъ на себѣ печать *рефлексіи*, передумыванія надъ совершившимся, попытки внести порядокъ въ груду отложившихся впечатлѣній. Остановимся на нѣсколькихъ примѣрахъ.

Позднѣйшая рефлексія даетъ иллюзію цѣлесообразныхъ дѣйствій.

Въ Греціи временемъ наиболѣе интенсивнаго развитія политической жизни и, особенно, выработки сложныхъ демократическихъ учрежденій является V вѣкъ до Р. Х. Но въ эту пору государственно-правовыя теоріи только въ зачаткѣ. Онѣ, напротивъ, начинаютъ процвѣтать въ слѣдующемъ, IV вѣкѣ, онѣ слагаются въ большую систему у Аристотеля, а этотъ расцвѣтъ умствованій приходится на то время, когда республиканская жизнь въ полномъ упадкѣ, когда учрежденія обветшали и потеряли реальную цѣну.

Аристотель очень тонко различаетъ формы конституціонной демократіи, съ одной стороны, и неконституціоннаго непосредственнаго господства массы (охлократіи)— съ другой; онъ даетъ точныя принципіальныя опредѣленія отдѣльныхъ учрежденій, тщательно выясняетъ отличіе диктатора, уполномоченнаго по народному избранію (айсимнета), отъ диктатора, удерживающаго власть произвольно (тирана) и т. д. Ясно, что эти формулировки могли возникнуть лишь на разстояніи отъ самой

борьбы политическихъ интересовъ; онѣ представляютъ позднюю рефлексію, которая сдѣлалась возможной только послѣ того, какъ накопился большой матеріалъ для сравненія, только благодаря тому, что дѣйствительность дала рядъ опытовъ, показала устойчивость или слабость, гибкость или неподатливость такихъ-то и такихъ-то формъ. Но мы сдѣлаемъ большую ошибку, если примемъ эти позднія рефлексіи лабораторныхъ теоретиковъ за мысли и мотивы участниковъ болѣе ранней реальной борьбы.

Мы привыкли вообще считать демократію основанной на идеѣ народнаго суверенитета. Конечно, та абстракція, которая заключается въ нашей формулировкѣ, въ свое время была сдѣлана представителями греческой демократіи. Но насколько же позже случилось это сравнительно съ началомъ правильнаго примѣненія большихъ народныхъ сходокъ къ рѣшенію важнѣйшихъ вопросовъ! Въ свою очередь, первыя систематическія созывавшіяся популярными вождями сходки были обновленіями еще болѣе старинныхъ племенныхъ сходокъ, начало которыхъ теряется въ глубинѣ времени.

Другой примѣръ. Іудейская юридическая и легендарная традиція, отложившаяся въ огромныхъ произведеніяхъ Мишны и Талмуда, вся вращается около вопросовъ культа, ритуала, соблюденія религіознаго закона и приспособленія къ нему закона человѣческаго. Этотъ необычайно обстоятельный комментарій, составлявшій долгіе вѣка и отчасти теперь составляющій духовную энциклопедію большого своеобразнаго народа, сложился послѣ того, какъ исчезъ комментируемый имъ текстъ, т.-е. послѣ того, какъ кончились объясняемыя имъ

реальныя дѣянія и соотношенія дѣйствительности. Послѣ великихъ возстаній былъ разгромленъ религіозный центръ, Іерусалимъ, разрушенъ храмъ, уничтоженъ культъ съ его огромнымъ стеченіемъ приношеній изъ разныхъ странъ, исчезло исполнявшее ритуалъ многочисленное духовенство. Земля фактически была совершенно отнята у населявшей ее народности: часть народа была вырѣзана во время возстаній, оставшіеся выселены. И вотъ именно теперь законъ совершенно исчезнувшихъ отношеній получилъ самое точное, обстоятельное, полное и всестороннее истолкованіе. У народа, разсѣяннаго въ качествѣ торговцевъ и ремесленниковъ, давно нѣтъ ни клочка земли, а между тѣмъ, второй трактъ перваго отдѣла Мишны (2 Pea въ первомъ Seder), этого своего рода іудейскаго Corpus iuris, разбираетъ вопросъ о полевомъ отрѣзкѣ, который при собираніи жатвы долженъ быть предоставленъ бѣднымъ, и вообще о правѣ бѣдныхъ на долю въ доходѣ съ земли. Одинъ изъ слѣдующихъ трактовъ (8 Maaser scheni) разбираетъ вопросъ о второй десятинѣ съ полей, которая должна быть выдѣлена за отдачей первой десятины, отправлена въ Іерусалимъ и тамъ должна составить часть большой жертвы.

Моментъ позднѣйшей регистраціи нерѣдко скрытъ.

Въ приведенныхъ примѣрахъ моментъ *позднѣйшей рефлексіи* слишкомъ ясно отмѣченъ. Но онъ весьма часто скрывается отъ нашего вниманія, и необходимъ особый анализъ для того, чтобы обнаружить позднѣйшее обобщеніе, роль котораго именно состоитъ въ томъ, что оно впервые объединило рядъ движеній и усилій формулировкой будто бы освѣщавшей имъ путь цѣли.

Въ качествѣ примѣра можетъ служить традиціонное изображеніе миссіонерства ранней христіанской церкви,

основанное на свидѣтельствѣ ап. Павла въ посланіи къ римлянамъ (15, 19 слѣд.). Миссія идетъ необычайно быстро: выйдя изъ Палестины, утвердившись въ Антіохіи, пробѣжавъ всѣ области М. Азіи, забравъ города Греціи и Македоніи, она черезъ какія-нибудь 10—12 лѣтъ послѣ начала уже перекидывается въ латинскій Западъ. Ап. Павелъ пишетъ изъ Коринѳа въ Римъ, что онъ до сихъ поръ не имѣлъ возможности пріѣхать въ столицу, такъ какъ переѣзжалъ изъ города въ городъ на Востокѣ, стараясь проникать въ мѣста, гдѣ еще неизвѣстно имя Христово. Теперь, когда, начиная отъ Іерусалима вплоть до Иллирика, все наполнилось Евангеліемъ Христовымъ, ему больше нѣтъ простора въ этихъ странахъ; и онъ собирается въ Римъ по дорогѣ въ Испанію.

Глава современной критической школы въ Германіи, Гарнакъ, въ качествѣ протестанта считающій необходимымъ сохранить въ неприкосновенности нѣкоторыя церковныя позиціи, принимаетъ это свидѣтельство посланія къ римлянамъ цѣликомъ, относитъ его къ концу 50-хъ годовъ I столѣтія и строитъ на немъ грандіозную картину: съ первыхъ шаговъ у перваго миссіонера задача—пронизать своей пропагандой весь тогдашній міръ по его горизонтальной оси. Вотъ почему упомянута Испанія, а не Африка или Галлія: цѣль состоитъ въ томъ, чтобы сразу итти до западной конечности, не отвлекаясь въ стороны, потому что отвѣтвленія пропаганды составляютъ детали, которыя послѣ исполнятъ второстепенные дѣятели. Въ подтвержденіи Гарнакъ приводитъ письмо Климента римскаго, писавшаго въ концѣ I вѣка (I, 5), въ словахъ котораго какъ будто

звучитъ голосъ апостола: „Семь разъ заключенный въ оковы, изгнанный, побитый каменьями, ставшій вѣстникомъ въ странѣ восхода и странѣ заката, учитель справедливости во всемъ свѣтѣ вплоть до пограничной черты запада". Въ этой сжатой характеристикѣ Гарнакъ находитъ повтореніе мысли, выраженной въ посланіи, т.-е., по его мнѣнію, въ самомъ началѣ христіанской пропаганды сразу была поставлена цѣль завоеванія міра.

Не будемъ касаться вопроса, поставленнаго новѣйшей богословской критикой, о томъ, можно ли отождествлять автора посланій,—если они еще всѣ принадлежатъ одному автору, — съ главнымъ дѣйствующимъ лицомъ Дѣяній Апостольскихъ, о литературной дѣятельности котораго въ этой книгѣ нѣтъ никакихъ указаній. Есть мнѣніе, что посланія, приписанныя апостолу Павлу, были неизвѣстны въ христіанской церкви до самаго конца II вѣка. Какъ бы то ни было, вышеприведенныя слова, въ которыхъ Гарнакъ увидалъ грандіозный миссіонерскій планъ завоеванія всего культурнаго міра по линіи его длиннѣйшаго протяженія, немыслимо считать написанными иначе, какъ post factum, послѣ того какъ пропаганда дѣйствительно прошла во всѣ страны имперіи. А это не могло быть дѣломъ 10—15 лѣтъ дѣятельности первыхъ миссіонеровъ.

Въ словахъ посланія есть черта, есть оттѣнокъ, который явно обнаруживаетъ очень поздній рефлексіи: въ самомъ дѣлѣ, набросанъ чертежъ Римской имперіи во всю длину. Мысль этого наброска ясна: люди новой религіи какъ бы говорятъ: наша христіанская община, наше царство не отъ міра сего будетъ такъ же велико,

какъ ваше свѣтское государство, оно заполнитъ тѣ же рамки и будетъ конкурентомъ имперіи. Но едва ли мы можемъ теперь допустить, чтобы такъ разсуждали первые миссіонеры, являвшіеся въ темную для нихъ, неизвѣданную среду, проникавшіе вначалѣ лишь въ небольшіе замкнутые кружки, не имѣвшіе еще въ своемъ распоряженіи литературы и т. д. О конкуренціи съ имперіей стали бы мечтать лишь руководители позднѣйшихъ многочисленныхъ и многоразвѣтвленныхъ общинъ, образовавшихъ систему церкви, располагавшихъ капиталами, находившихся въ перепискѣ, пользовавшихся обширными средствами устной и письменной пропаганды, словомъ—люди, которые въ дѣйствительности составляли уже конкуренцію имперіи. Эти люди могли въ своемъ разсказѣ, безъ сознанной тенденціи, антиципировать достигнутые результаты въ видѣ отдаленнаго намѣренія одного изъ своихъ предшественниковъ.

Съ такой *антиципаціей* мы встрѣчаемся постоянно и всюду. Она возникаетъ изъ процесса обобщенія пройденнаго, весьма напоминающаго тотъ процессъ регистраціи личныхъ переживаній, который пришлось отмѣтить въ сознаніи отдѣльнаго человѣка. Какъ скоро сдѣлано обобщеніе и получилась систематизація результатовъ, у людей возникаетъ иллюзія, будто они переживали предварительно въ умѣ всю систему представленій въ томъ же самомъ порядкѣ, въ какомъ они ихъ собрали подъ конецъ. Если пережитое охватываетъ нѣсколько поколѣній, то образъ сущаго, достигнутаго состоянія предполагаютъ у людей, раньше живших: этотъ образъ не могъ быть ни чѣмъ инымъ, какъ умственнымъ видѣніемъ будущаго, одушевлявшимъ предше-

ственниковъ нашихъ на дѣятельность въ опредѣленномъ направленіи. И позднѣйшія поколѣнія готовы признать, что ихъ предки сознательно выводили фундаментъ для зданія, которое не суждено было увидать самимъ инициаторамъ.

Ограниченность цѣлесообразныхъ дѣйствій въ политикѣ.

Политическую жизнь считаютъ обыкновенно тою областью, гдѣ цѣлесообразныя дѣйствія пользуются полнымъ господствомъ. Партіи заранѣе намѣчаютъ группу цѣлей и проектовъ; смыслъ партіи, вѣдь, повидимому, и заключается въ томъ, что она представляетъ опредѣленный порядокъ или систему. При болѣе внимательномъ наблюденіи мы замѣчаемъ, однако, что отдаленныя цѣли играютъ весьма слабую роль въ формаціи и тактикѣ партій; партіи возникаютъ и держатся, если можно такъ выразиться, короткими приступами или разбѣгами, близкими задачами, и секретъ ихъ устойчивости заключается въ частомъ и неуклонномъ возобновленіи этихъ задачъ, вытекающихъ изъ прочнаго распредѣленія интересовъ. Партіи, защищающія существующій порядокъ вещей, легко обходятся безъ всякихъ отчетливыхъ программъ, безъ ясной обобщающей картины будущаго. Для нихъ будущее—простое повтореніе настоящаго; онѣ цѣпляются за имѣющіяся отношенія, защищаютъ тѣ или другія формы по инерціи, безъ сознанія важности ихъ мѣста въ общей системѣ. Тѣ же политики считаютъ себя, однако, въ правѣ требовать отъ противниковъ существующаго порядка большей отчетливости въ опредѣленіи отдаленныхъ цѣлей. Но какъ разъ отъ самыхъ проницательныхъ и самыхъ откровенныхъ представителей противоположнаго лагеря по временамъ можно услыхать такой отвѣтъ:

„дайте намъ сначала устранить осуждаемый старый строй общества; то, что его замѣнитъ, въ данную минуту опредѣлить нельзя; послѣ это будетъ виднѣе".

Правда, иногда появляются картины лучшаго будущаго, утопіи. Но большинство принимаетъ ихъ—и совершенно справедливо—лишь за иллюстраціи къ извѣстнымъ теоріямъ, за помощь пропагандѣ, выраженную въ особомъ литературномъ жанрѣ. Никогда утопіи не служатъ призывнымъ свѣточемъ въ борьбѣ. Однако, случаются очень возбужденные моменты въ народной жизни, когда кажется, что умами овладѣла какая-то волшебная формула, слово или сочетаніе немногихъ словъ.

Но магическіе символы подобнаго рода не могутъ быть признаны въ настоящемъ смыслѣ цѣлями; увлеченіе тѣмъ или другимъ сочетаніемъ словъ нельзя назвать цѣлесообразнымъ дѣйствіемъ. Въ массовыхъ движеніяхъ скорѣе соединяются глухія чувства недовольства, потребность выйти какъ бы то ни было изъ существующаго положенія вещей, смутное влеченіе примкнуть къ группамъ людей одинаковой участи и неопредѣленная надежда на большую внушительность объединенныхъ силъ. Въ умахъ огромнаго большинства людей эта сумма неясныхъ запросовъ, чаяній, раздраженій соединяется съ какой-либо краткой формулой: обѣтованная земля, республика, черный передѣлъ и т. д. Массы привѣтствуютъ съ восторгомъ одно упоминаніе дорогихъ символовъ: въ нихъ явно заключена какая-то притягательность. Но сопоставивши сложныя и часто запутанныя дѣйствія, совершаемыя массами, съ этими волшебными словами, мы чувствуемъ какой-то огром-

ный пробѣлъ, крупное несоотвѣтствіе. Слово отмѣтило только фактъ соединенія людей, но не объясняетъ мотивовъ соединенія; огромная область несознанной или полусознанной жизни осталась для насъ скрытой.

Нѣкоторой иллюстраціей къ сказанному можетъ служить исторія республиканской идеи въ Европѣ новѣйшаго времени. При изученіи политическаго движенія 1848 г. въ Германіи мы замѣчаемъ, что значительная часть бюргерства до революціи и вначалѣ ея, повидимому, сочувствовала республиканскому строю и вѣрила въ идею республики. Съ наступленіемъ реакціи тѣ же общественные круги отказываются рѣшительно отъ сновидѣнія республики и мирятся съ полуограниченнымъ монархическимъ строемъ. Если принимать, что въ обществѣ дѣйствуютъ цѣлестремительныя силы, то надо допустить, что въ Германіи уже въ 1849 г. произошла великая смѣна всѣхъ основныхъ понятій соціальной жизни; переставились главные существенные элементы въ картинѣ будущаго, и за ними потянулась перемѣна всего поведенія людей. Но ясно, что ничего подобнаго не было. Вѣдь въ Германіи не успѣли сдѣлать опытъ примѣненія республиканскаго строя. Если бы смѣнялись цѣли, мы должны были бы встрѣтиться съ измѣненіемъ всей логической линіи. На самомъ дѣлѣ, не потому перестали вѣрить въ республику, что жизнь разбила всѣ приводившіеся въ пользу этого строя аргументы, не потому, что люди убѣдились въ недостижимости цѣли. И мы никакъ не можемъ принять, что въ Германіи 40-хъ годовъ республика представлялась систематической цѣлью, къ которой направлялись усилія бюргерства и которая стягивала общественные слои въ

извѣстную организацію. Это слово составляло лишь наиболѣе подходящій знакъ для краткаго выраженія многихъ неопредѣленныхъ желаній.

Безъ сомнѣнія, нельзя отрицать, что въ цѣломъ рядѣ случаевъ люди дѣйствительно предвосхищаютъ въ мысли системы своихъ будущихъ дѣйствій. Но необходимо при этомъ сдѣлать два важныя ограниченія.

Цѣлесообразныя повторенія нерѣдко оказываются механическими подражаніями.

Прежде всего количество системъ, формулированныхъ до исполненія, несравненно меньше, чѣмъ намъ передаетъ историческая традиція. Эта традиція и есть главная созидательница тѣхъ позднѣйшихъ обобщеній, тѣхъ регистрацій пройденнаго и достигнутаго, которыя потомъ кажутся намъ предварительными мотивами массовыхъ дѣйствій. Огромное множество такъ наз. соціально-историческихъ цѣлесообразностей должны при ближайшемъ разсмотрѣніи оказаться фикціей. Историческая передача послѣдовательно размѣщаетъ явленія по формулѣ: желаніе—исполненіе, воля—дѣйствіе, расчетъ — его оправданіе. Такимъ образомъ она даетъ телеологическую иллюзію. Опасность такой иллюзіи особенно велика тамъ, гдѣ мы имѣемъ дѣло съ изображеніемъ крупнаго общаго движенія, напр., колонизаціи Средиземнаго моря въ древности, возникновенія христіанства, Крестовыхъ походовъ, объединенія Азіи монголами, религіозной реформаціи въ западной Европѣ и т. п.

При ближайшемъ разсмотрѣніи элементовъ движенія мы замѣчаемъ, въ какой мѣрѣ кажущееся цѣлое дробится на множество мелкихъ, не связанныхъ единичныхъ и групповыхъ поступковъ. Представленія отдѣльныхъ группъ или лицъ о концѣ, результатѣ того, что

ихъ подняло, чрезвычайно неопредѣленны. Сколько-нибудь связная картина будущаго носится лишь въ умѣ самыхъ выдающихся людей, въ свою очередь вовсе не являющихся реальными вождями движенія. Массы идутъ подъ давленіемъ какихъ-то глухихъ органическихъ толчковъ. На сходствѣ, на однородности такихъ толчковъ основано множество *подражательныхъ* дѣйствій, которыя мы потомъ ошибочно принимаемъ за выполненіе властной воли вождя, сумѣвшаго формулировать ясно сознанный массами общій мотивъ. Въ исторической передачѣ потомъ все это множество разрозненныхъ дѣйствій, механически исполненныхъ повтореній, всѣ эти многократныя мелканія однообразныхъ символовъ соединяются въ одинъ раккурсъ; вся сложная, раздвинутая во времени перспектива стягивается въ одну плоскость. Вслѣдъ за пріемомъ сокращенія времени идетъ сокращеніе пространства: отъ всѣхъ точекъ искусственно полученной плоскости протягиваются нити; эти линіи, наконецъ, традиція соединяетъ въ одинъ узелъ, въ одну блестящую точку, знакомъ которой служитъ самый яркій символъ изображаемаго движенія. Исключительно благодаря этимъ произвольнымъ дѣйствіямъ чисто-художественнаго мотива сокращенія, которыя исполняетъ человѣческая память, получается многогранная пирамида телеологіи.

Во-вторыхъ, необходимо сдѣлать еще одно ограниченіе. Подъ понятіе цѣлесообразныхъ дѣйствій легче всего подойдутъ мелкія, сравнительно короткія по времени движенія, то, что мы считаемъ *созданіемъ средствъ* въ борьбѣ или что принято называть промежуточными, подготовительными стадіями. Типичной иллюстраціей

къ дѣйствіямъ такого рода можетъ служить дисциплинировка партій. Предполагаемое впереди и обязательное подчиненіе отдѣльныхъ лицъ группѣ и меньшинства большинству, выработка общихъ резолюцій, пропаганда, усиленное повтореніе опредѣленныхъ положеній и т. д., все это, конечно, составляетъ хорошо обдуманныя ранѣе задачи, неоспоримые принципы, точно расчитанные шаги. Именно отъ наблюденій политической жизни новѣйшей Европы главы телеологической школы, между ними люди юридической мысли, и отвлекли понятіе о господствѣ цѣлесообразности въ соціальной жизни.

Но помимо того, что партійная дисциплина составляетъ ничтожную часть всей огромной области соціальныхъ отношеній и дѣйствій, въ самой этой группѣ разбѣгъ, устремленіе къ цѣли сравнительно очень невелики. Когда партія находится въ періодѣ организаціи, ея устроителямъ немыслимо руководиться соображеніями относительно будущей роли ея, предусматривать ея поступки на тотъ конецъ, когда изъ оппозиціонной или изъ преслѣдуемой ей придется внезапно обратиться въ обладательницу фактической власти. Нерѣдко руководителямъ политическаго движенія дѣлается упрекъ за то, что они не обдумали программы дѣйствій на случай выгоднаго стеченія условій, которое дастъ имъ въ руки господство. Упрекъ несправедливый, потому что онъ основанъ на антиципаціи результатовъ, на томъ предположеніи, что ясное намъ теперь, по завершеніи, было также ясно передъ осуществленіемъ. Даже тамъ, гдѣ партійныя формы давно налажены, гдѣ партіи по нѣскольку разъ на небольшомъ сравни-

тельно протяженіи смѣняютъ другъ друга, какъ въ Англіи, и тамъ возможны и естественны вполнѣ не ожиданные повороты партійныхъ замысловъ и расчетовъ. Такою неожиданностью было предложеніе въ 1885 г. гомруля, самоуправленія Ирландіи, со стороны 75-лѣтняго радикала Гладстона, послѣ того какъ его партія и въ качествѣ оппозиціи, и въ качествѣ правительства энергически сопротивлялась политическому отдѣленію Ирландіи.

Неопредѣленность первыхъ шаговъ политической жизни.

Если въ подобныхъ случаяхъ развитой политической жизни мы встрѣчаемся хотя и съ короткими разбѣгами, но все-таки съ осуществленіемъ опредѣленныхъ цѣлей, то какъ же мѣняется картина при изученіи первыхъ шаговъ общества въ области политической жизни! Вотъ, напр., группы передового масонства въ Германіи эпохи первой революціи, орденъ иллюминатовъ, союзъ Добродѣтели и т. п. Въ туманныхъ очертаніяхъ, пожалуй, можно узнать основы позднѣйшей партійной жизни: вербованіе возможно болѣе обширнаго круга сторонниковъ, образованіе руководящаго центральнаго комитета, проведеніе членовъ союза въ кадры правительства. Но всѣ подобныя опредѣленія слишкомъ точны, они привнесены изъ нашего позднѣйшаго политическаго опыта и практики. А главное: всѣ эти зачатки будущей политической жизни обросли густой сѣтью посторонних заботъ, которыя намъ теперь представляются собраніемъ досадныхъ ненужностей и помѣхъ.

Церемоніи принятія въ союзъ новыхъ членовъ, ихъ переименованіе въ античныхъ героевъ, безконечныя клятвы въ родѣ обѣщанія „быть борцомъ за мудрость

и добродѣтель, разумомъ равняться королямъ, быть другомъ государя и нищаго, если они добродѣтельны", или „никогда не жертвовать благомъ цѣлаго и счастьемъ міра для моихъ частныхъ выгодъ" и т. п.— все это сравнительно невинныя занятія. Но вотъ, напр., общество иллюминатовъ вводитъ группу секретовъ; дѣйствія верховнаго ареопага и составъ его извѣстенъ только очень небольшому числу лицъ; младшіе члены знаютъ лишь ближайшаго старшаго, которому они подчинены и обязаны постоянной и правдивой исповѣдью; между прочимъ регулируется крайне внимательно кругъ чтенія книгъ, порядокъ усвоенія идей и т. д. Орденъ поощряетъ всякаго рода анонимныя жалобы верховному совѣту, донесенія о замѣченныхъ недостаткахъ, онъ позволяетъ благочестивый обманъ. Совершенно сознательно руководители ордена считали нужнымъ воспользоваться человѣческими слабостями, увлеченіями, разбудить въ людяхъ тщеславіе, дать выходъ самолюбію и самоувѣренности посредствомъ хитро разсчитанныхъ условій обстановки собраній, таинственныхъ порученій, встрѣчъ и совпаденій, способныхъ поразить воображеніе и т. п.

Но развѣ это цѣлестремительныя дѣйствія въ духѣ телеологической школы? Какая связь между позднѣйшими выступленіями политической партіи и этимъ сплетеніемъ сантиментализма и іезуитизма? Развѣ не ясно, что мы имѣемъ передъ собою группу подражательныхъ пріемовъ, повтореніе всей системы знаменитаго католическаго ордена Лойолы? Конечно, при этомъ дѣйствуетъ сознательный расчетъ, но онъ направленъ на очень близкую цѣль, онъ бьется въ тискахъ самыхъ

тѣсныхъ наблюденій; онъ имѣетъ въ виду собрать нѣкоторую группу людей. Для чего? Здѣсь именно формулы самопожертвованія для цѣлаго, клятвы въ вѣрности долгу семьянина и гражданина показываютъ, что отдаленныя цѣли совершенно неясны. Есть пустыя рамки, которыя при другихъ благопріятныхъ условіяхъ должны заполниться реальнымъ содержаніемъ. Но человѣкъ не смущается этимъ сплошнымъ пробѣломъ въ картинѣ будущаго; онъ слишкомъ занятъ настоящимъ и ближайшимъ, и его дѣйствующая энергія даетъ ему иллюзію неограниченнаго творчества впереди.

Телеологія въ исторіи должна замѣнитьсяпонятіемъ приспособленія.

Мы должны придти не только къ тому заключенію, что категорія цѣлесообразности мало пригодна въ истолкованіи общественно-историческихъ явленій. Болѣе того: мы должны признать формулы телеологіи своего рода ошибочнымъ преувеличеніемъ силъ человѣка. Но можно поставить тѣмъ не менѣе вопросъ: не заключается ли въ понятіи цѣлесообразности соціальныхъ дѣйствій нѣкоторое реальное зерно, отвѣчающее наблюденіямъ надъ жизнью? Пусть регистрація въ мысли пройденнаго и прожитого, пусть позднѣйшія обобщенія даютъ иллюзію отдаленно задуманнаго плана. На какихъ же реальныхъ основаніяхъ создается этотъ самообманъ? Что такое происходитъ въ дѣйствительности, чтобы дать поводъ человѣку выводить потомъ въ сознаніи своемъ цѣлую логическую линію и вѣрить, что она слагается изъ успѣшно приложенныхъ систематическихъ усилій?

Въ біологіи соотвѣтствующая группа дѣйствій называется приспособленіемъ организма къ средѣ. Мы можемъ говорить также *о приспособленіи общества* къ

своеобразной средѣ, данной внѣшней природой и другими человѣческими обществами.

Въ приспособленіи есть болѣе или менѣе интенсивные моменты, есть острые и тягучіе процессы: они кажутся человѣку достиженіемъ постоянно мѣняющихся цѣлей. Можно было бы нѣсколько примириться съ телеологіей, признавъ ее неловкимъ выраженіемъ для обозначенія факта приспособленія.

Однимъ изъ особенно яркихъ примѣровъ соціальнаго приспособленія могутъ служить переселенія большихъ народныхъ группъ, въ видѣ завоеваній или мирной колонизаціи. Традиція передаетъ намъ потомъ какой-нибудь особенно запомнившійся торжественный или экстаординарный моментъ или эпизодъ.

Великій исходъ „одушевленныхъ исламомъ“ арабовъ начинается столкновеніемъ первыхъ мусульманскихъ дружинъ на границѣ Сиріи съ византійцами. Возникновеніе Новаго Свѣта, обновлениой и освобожденной Европы въ Америкѣ, открывается путешествіемъ черезъ океанъ небольшой группы англійскихъ сектантовъ „отцовъ-пилигримовъ“ въ 1621 году. Но какъ много исчезло изъ памяти другихъ аналогичныхъ эпизодовъ, и какой хаосъ случайностей они представляютъ! Какъ много проходитъ времени, пока недостатокъ питанія, взаимныя притѣсненія и т. п. доводятъ людей до опредѣленныхъ дѣйствій, до мысли сдвинуться съ мѣста. Куда направляться и съ какими цѣлями? Очень медленно также, изъ своеобразныхъ астрологическихъ повѣрій, зоологическихъ и медицинскихъ предразсудковъ слагается какая-то программа; она звучитъ совершенно нераціонально и дико: „будемъ искать Іоанна пресви-

тера, ушедшаго съ общиной вѣрныхъ, или града Божія на землѣ". Человѣкъ идетъ долго ощупью, пробуетъ и прикидываетъ, соображаетъ пути, по которымъ направлялись къ нему продукты или пріѣзжали какіе-нибудь опасные или нужные люди, вставляетъ фантастическія мысли о солнечномъ пути или о мѣстонахожденіи на землѣ истинной вѣры и составляетъ маршрутъ. Массы идутъ, гибнутъ, еще надвигаются, еще погибаютъ, мѣняютъ направленіе и, наконецъ, открываютъ линію наименьшаго сопротивленія, проходятъ въ колонизацію, акклиматизируются въ занятой странѣ и т. д.

При этомъ всякій разъ происходитъ громадная потеря человѣческой энергіи, въ результатѣ которой, наконецъ, и получается приспособленіе небольшого процента всѣхъ устремившихся. Въ соціальной жизни наблюдается то же, что и въ окружающей человѣка природѣ, гдѣ происходитъ трата массы производительныхъ силъ, сѣмянъ, зародышей, тепловой, электрической и т. д. энергіи на рискъ, для обезпеченія одного новаго существа изъ тысячи. Какъ въ жизни природы не только не видно прицѣла, систематической подготовки, сбереженія, экономіи силъ, но, напротивъ, развертывается какое-то невѣроятное мотовство, роскошество, нервическая поспѣшность, разбрасываніе, преувеличеніе, такъ же и въ человѣческихъ отношеніяхъ. Сознаніе какой-нибудь поздней группы, сохранившейся отъ первоначальнаго массоваго движенія, забываетъ и игнорируетъ безконечное множество явленій разрушительныхъ, сквозь которыя пробилась полоса общественнаго развитія. Сознаніе позднѣйшихъ поколѣній превращаетъ фактъ медленнаго приспособленія, сложившагося изъ

случайностей, ошибокъ, задержекъ и возвращеній, упорно повторяемыхъ однообразныхъ опытовъ и озареній, въ стройную линію цѣлестремительныхъ дѣйствій.

Необходимость смѣны исторической терминологіи.

Телеологія, конечно, можетъ ссылаться на закоренѣлую привычку человѣка объяснять явленія общественной жизни при помощи чтенія цѣлей въ результатахъ. Дѣйствительно, обычныя схемы толкованія историческихъ событій построены по типу смѣны плана и исполненія, толчка и раціональной на него реакціи, притягательной цѣли и устремленія къ ней. Но то, что издали кажется стройнымъ и разумно связаннымъ, при ближайшемъ разсмотрѣніи распадается на рядъ случайныхъ поворотовъ и неожиданныхъ столкновеній.

Очень раціональной кажется на первый взглядъ связь явленій, составляющихъ промышленную революцію въ Англіи XVIII в. Сначала идетъ торговое завоеваніе, захватъ рынковъ и колоній, подготовка коммерческаго посредничества между Европой и другими частями свѣта. Появляется новый матеріалъ для обработки, хлопокъ, возникаютъ и множатся индустріальныя предпріятія, а одновременное обезземеленіе крестьянъ создаетъ новые, огромные кадры рабочихъ. Къ услугамъ усиленнаго передвиженія товаровъ улучшаются пути сообщенія, появляется сѣть каналовъ, строятся шоссе. Мысль предпринимателей и техниковъ устремляется на изобрѣтеніе формъ ускореннаго производства на рынокъ, одна за другой появляются машины. Для приведенія ихъ въ дѣйствіе требуются новые могучіе двигатели. Рѣки, вдоль теченія которыхъ выросли первыя фабрики, скоро перестаютъ удовлетворять запросъ на моторную силу; появляется паровой двигатель, соотвѣт-

ственно развивается добываніе топлива, каменнаго угля, лежавшаго подъ спудомъ, пока не сведены были лѣса. Отсюда сосредоточеніе фабричныхъ предпріятій въ опредѣленныхъ мѣстностяхъ и т. д.

Какъ мало, однако, мѣста въ этой сложной эволюціи правильнымъ догадкамъ и умозаключеніямъ, планомѣрнымъ переходамъ отъ остановки къ остановкѣ! Какъ странно, напр., среди усиленныхъ исканій новыхъ двигательныхъ силъ долгое игнорированіе электрической энергіи! А какимъ случаемъ должно представляться начало! Европейское общество начинаетъ увлекаться привозными изъ Индіи и Китая хлопчатобумажными издѣліями, бѣльемъ, платьями, обивкой мебели. Въ Англіи бросаются на поддѣлку моднаго товара; фальсификація индѣйства и китайщины быстро развивается въ самостоятельную мануфактуру, и тѣмъ легче, тѣмъ свободнѣе, что она не была вдвинута въ цеховыя правила и стѣсненія. Затѣмъ, сколько невыгодныхъ остановокъ, неудачъ, проваловъ въ ходѣ изобрѣтеній! Одно изъ важныхъ техническихъ усовершенствованій, механическій челнокъ, ускорилъ самую трудную и продолжительную стадію процесса приготовленія ткани. Это ускореніе ткачества нарушило установившееся равновѣсіе между работой прядильщиковъ и ткачей. Прежде прядильщики справлялись гораздо быстрѣе, а ткачи соотвѣтственно получали бо́льшую плату. Теперь возникъ кризисъ ткачей; явилась задержка за приготовленіемъ пряжи. Изобрѣтеніе бросилось на усиленіе прядильнаго производства и, послѣ многихъ попытокъ и движеній ощупью, появляется механическая прядильная машина (spinning jenny). Она снова нарушаетъ устано-

вившіяся отношенія, потому что на этотъ разъ пряжа начинаетъ обгонять тканье. Такъ продолжается до изобрѣтенія механическаго ткацкаго станка (Картрайта).

Развѣ мы не встрѣчаемся въ этой, полной изгибовъ, исторіи производства съ самыми причудливыми поворотами человѣческаго приспособленія? Развѣ нѣтъ здѣсь налицо всѣхъ характерныхъ для этого рода дѣятельности отклоненій, задержекъ и мучительно находимыхъ поправокъ, чередованія остраго вниманія и механической слѣпоты, безконечнаго множества потерь, траты энергіи и въ концѣ-концовъ слѣдованія по линіи наименьшаго сопротивленія?

IV.

Анализъ понятія причинной связи историческихъ явленій.

Понятіе причинной связи въ основѣ близко къ телеологіи.

Обыкновенно принято противополагать другъ другу два способа построенія и истолкованія историческихъ явленій: по типу цѣлесообразности, или иначе — слѣдованія въ исторіи замысловъ и выполненій, и по типу причинной связи, т.-е. слѣдованія необходимыхъ условій и неизбѣжно изъ нихъ вытекающихъ слѣдствій. Но въ своихъ первыхъ шагахъ тотъ и другой способъ объясненія довольно близки другъ къ другу; оба они исходятъ отъ приложенія понятія личной человѣческой воли къ массовымъ явленіямъ. Такъ же, какъ въ телеологическомъ объясненіи исторіи, и въ *каузальномъ*, т.-е. при установленіи причинной связи явленій, мы прежде всего опять-таки встрѣчаемся съ варіаціями понятія о волѣ. Понятіе объ исторической причинѣ въ своей основѣ есть понятіе о скрытой волѣ, скрытомъ замыслѣ, который потомъ осуществляется въ дѣлахъ, въ слѣдствіяхъ.

Стоитъ вспомнить, какъ толковались причины крестовыхъ походовъ или появленія татаръ на Руси. Движеніе крестоносцевъ на Востокъ объясняли волей ве-

ликихъ организаторовъ католической церкви, папъ, которые направили къ одной великой цѣли ими же электризованныя массы. Завоеваніе почти половины Стараго свѣта номадами средней Азіи объяснялось геніемъ страшнаго завоевателя, сумѣвшаго объединить разрозненныя массы воителей силою своего тираническаго господства и двинуть ихъ во всѣ стороны.

Постепенно объясненія такого рода утрачиваютъ свое вліяніе, перестаютъ удовлетворять. Мысль наша не можетъ помириться съ представленіемъ о полной пассивности массъ, увлекаемыхъ волей одного лица. Объясненія крупнаго событія, великаго движенія начинаютъ искать въ настроеніяхъ, въ поворотѣ чувствъ множества людей, которымъ великія личности служили только выразителями, знаменосцами. Иначе говоря, понятіе о движущей волѣ, какъ причинѣ, обезличивается. И мы встрѣчаемся тогда съ другой терминологіей объясненій: рѣчь идетъ о подъемѣ народныхъ чувствъ, о невѣдомо сильномъ порывѣ къ передвиженію или захвату новыхъ земель и т. п. Такія явленія, какъ религіозныя войны XVI в., объясняются фанатическимъ духомъ испанскаго народа; возрожденіе—свободолюбивымъ духомъ итальянцевъ или проникновеніемъ въ среду итальянскаго общества античныхъ традицій. „Духъ“, „сила традицій“, „подъемъ“, „броженіе умовъ“, все это — различныя формулы для обозначенія какой-то коллективной воли, какого-то движущаго начала, разлитаго во множествѣ человѣческихъ существъ. Это объясненіе не такъ грубо, не такъ наивно, какъ предшествующее, но оно сводится къ констатированію или расчлененію тѣхъ же составныхъ элементовъ; скрытая сила, энергія, съ одной

стороны, и матеріальный эффектъ, размахъ и ударъ, подготовка и выполненіе—съ другой.

Съ теченіемъ времени и этотъ видъ объясненій перестаетъ удовлетворять. Огюстъ Контъ очень хорошо показалъ сходство объясненій, исходящихъ отъ понятія коллективной воли, съ объясненіями, примыкающими къ идеѣ личной воли. Обозначивъ группу первыхъ міровоззрѣніемъ богословскимъ, группу вторыхъ—метафизическимъ, Контъ считалъ, что разница между ними состоитъ только въ замѣнѣ личнаго Бога, Провидѣнія и т. д. безличными и менѣе опредѣленными: „сила“, „сущность“, „духъ“ и т. д. Въ метафизическій періодъ мысли вопросъ стоитъ въ сущности такъ же, какъ онъ стоялъ раньше. Человѣкъ въ своемъ изысканіи причины гоняется по прежнему за призракомъ; у него осталась старая привычка смотрѣть на міръ явленій, какъ на механическій театръ, въ которомъ кто-то „позади“ двигаетъ пружины или поворачиваетъ заводной ключъ; и онъ все хочетъ заглянуть „туда“, „въ глубину“, за кулисы и отыскать механика или приводную силу, пущенную имъ въ ходъ. Предпріятіе напрасное! А потому въ новый періодъ научной мысли, положительной, т.-е. осторожной, когда она не склонна гоняться за тѣнями, не надо ставить и вопроса о „причинахъ“. Не надо спрашивать: „почему?“ Достаточно спрашивать: „какъ произошло“, какъ совершилось или началось извѣстное явленіе.

Новѣйшая критическая философія также весьма недовѣрчиво относится къ категоріи причинности, къ постановкѣ вопроса: „почему?“. Авенаріусъ склоненъ видѣть въ различеніи причинъ и слѣдствій, въ разло-

женіи явленія на силу и результатъ—нѣкоторую фиктивную операцію, которую онъ называетъ интроекціей. Махъ считаетъ, при констатированіи связи между двумя группами или элементами, болѣе осторожнымъ говорить не о причинной зависимости, а о зависимости функціональной. Слѣдуетъ замѣтить, что оба философа эти исходятъ отъ пріемовъ и терминовъ, установившихся въ физико-математическихъ наукахъ. Но и въ области общественныхъ наукъ нерѣдко теперь можно встрѣтить замѣну термина „причина“, въ которомъ какъ будто чувствуется что-то тяжеловѣсное или притязательное, терминомъ „условія“, который кажется менѣе опредѣленнымъ и менѣе связывающимъ мысль.

Очевидно все болѣе развивается потребность смягчить *категорію причинности*, истребить или ослабить въ ней оттѣнокъ творчества, духовности, производящей силы. Но и за удаленіемъ духовъ и сущностей изъ нашихъ толкованій все-таки остается извѣстная группировка элементовъ, которую мы покрываемъ именемъ причины, условій, зависимости и т. д.

Мы часто слышимъ, что установленіе причинной связи явленій составляетъ главную задачу историка; выяснять причинную послѣдовательность значитъ открывать главную научно-историческую истину. Такъ выражаются нерѣдко люди, далекіе отъ какихъ бы то ни было метафизическихъ признаній и поползновеній; напротивъ, настаивая на томъ, что историкъ долженъ ограничивать сяконстатированіемъ причинной связи, именно этимъ хотятъ оградить себя отъ внесенія въ исторію метафизическаго элемента.

Какъ объяснить эти колебанія нашей мысли?

Повидимому, мы имѣемъ дѣло съ удовлетвореніемъ какого-то необходимаго и постояннаго запроса нашего, причемъ есть всегда возможность извѣстнаго преувеличенія, переоцѣнки результатовъ. Въ нашемъ анализѣ нужно постараться выяснить ту элементарную потребность человѣческой мысли, которая ведетъ къ отыскиванію причинной связи явленій; далѣе—выяснить, въ чемъ состоитъ нормальный пріемъ, и гдѣ начинаются отклоненія.

Тавтологія, какъ приступъ къ истолкованію причинной связи.

Нерѣдко можно замѣтить, что въ качествѣ причины какого-нибудь явленія мы приводимъ тотъ же самый фактъ подъ другимъ обозначеніемъ, иначе говоря: сдѣланное раньше наблюденіе удваивается. Напр., историкъ говоритъ: разореніе имперіи привело къ ея паденію. А, между тѣмъ, разореніе и было собственно паденіемъ или было важной стороной паденія. Или еще другая знакомая историческая формула: „Христіанство взяло верхъ надъ всѣми направленіями языческой, греческой и іудейской мысли и стало всемірной религіей, религіей народной вслѣдствіе своей особенной преимущественной доступности“. Отмѣченная въ этомъ объясненіи причина, доступность христіанскаго ученія для массъ, есть ни что иное, какъ словесное повтореніе факта сильной массовой распространенности. Очень часто говорятъ: на такомъ-то общественномъ движеніи отразилось вліяніе религіозныхъ идей; напр., „крестьянское возстаніе 1525 г. въ Германіи было вызвано или направлялось въ своихъ требованіяхъ религіозной проповѣдью реформаціи“. Въ дѣйствительности мы знаемъ не болѣе того, что у многихъ людей въ ходѣ такого-то движенія замѣчались такія-то религіозныя идеи. Такимъ образомъ въ извѣстномъ комплексѣ сначала констати-

руется нѣкоторый элементъ или признакъ, оттѣнокъ; затѣмъ, отводя этотъ элементъ въ сторону, историкъ какъ бы проектируетъ его назадъ, объявляетъ его факторомъ, подготовительной ступенью или причиной къ тому цѣлому, которое подлежало истолкованію.

Нерѣдко объясненія въ такихъ случаяхъ очень близко подходятъ къ *тавтологіи*. Вотъ, напр., очень горячій споръ о причинахъ культурнаго движенія такъ назыв. эпохи Возрожденія. Одни утверждали, что главной причиной умственнаго и художественнаго расцвѣта Италіи было возстановленіе античныхъ памятниковъ искусства и литературы, другіе—что существо дѣла заключалось въ пробужденіи личности, въ торжествѣ индивидуализма. Въ болѣе новыхъ сочиненіяхъ объ итальянскомъ Возрожденіи можно прочитать, что первый взглядъ устарѣлъ, отжилъ; онъ отличался узостью и близорукостью; глубже и правильнѣе—второй. Но гдѣ оправданіе этого восторжествовавшаго взгляда? Формула, объявляющая причиной Возрожденія индивидуализмъ, возросшіе запросы личности, повторяетъ только опредѣленіе существа Возрожденія; характерныя черты новой культуры она, въ свою очередь, признаетъ въ манифестаціяхъ индивидуализма, въ заявленіи права личности. Поэтому схема: причина Возрожденія въ индивидуализмѣ—ничѣмъ не отличается отъ другой: существо Возрожденія въ индивидуализмѣ. Толкованіе причины составляетъ лишь растянутый перифразъ опредѣленія самого явленія.

Въ составленіи тавтологій едва ли кто превзошелъ Монтескье, этого классическаго мастера кольцами закругленныхъ фразъ. Вотъ его перекрестное опредѣленіе

демократіи и тѣхъ мотивовъ, на которыхъ она держится. „Въ демократіи любовь къ республикѣ есть любовь къ демократіи; любовь къ демократіи есть любовь къ равенству. Любовь къ демократіи есть также любовь къ простотѣ и умѣренности. Разъ всякій долженъ обладать одинаковымъ счастьемъ и одинаковыми выгодами, всякому въ этой средѣ должны выпасть на долю одни и тѣ же удовольствія, у всякаго будутъ слагаться одни и тѣ же ожиданія; а это возможно лишь при господствѣ всеобщей простоты и умѣренности".

Мысль безнадежно вращается въ какомъ-то кругу опредѣленій. Монтескье такой виртуозъ этихъ круговращеній, что по временамъ можетъ казаться, не становимся ли мы жертвой нѣкоторой трудно уловимой шутки. Вотъ, напр., еще характерное разсужденіе. „Отчего монахи любятъ свой орденъ? Какъ разъ по тѣмъ основаніямъ, почему онъ имъ невыносимъ. Ихъ уставъ лишаетъ ихъ всего, на что опираются обыкновенныя страсти; остается, значитъ, одна страсть — къ тому уставу, который ихъ угнетаетъ. Чѣмъ онъ суровѣе, т.-е. чѣмъ больше онъ заколачиваетъ ихъ склонности, тѣмъ больше онъ открываетъ силы тѣмъ немногимъ влеченіямъ, которыя онъ допустилъ".

Эти обороты толкованія составляютъ почти каррикатуру слабо спрятанной тавтологіи. Крайности тавтологическаго объясненія должны намъ пригодиться для того, чтобы выдѣлить характерныя черты весьма простой операціи, при помощи которой происходитъ первоначальное познаніе всякой сложной группы явленій. Операцію эту можно назвать *расчлененіемъ* признаковъ или элементовъ въ группѣ; оно сопровождается *называніемъ*, обозначе-

ніемъ элементовъ или составныхъ частей, выдѣленныхъ при расчлененіи посредствомъ новыхъ именъ.

Мы подходимъ къ какому-нибудь новому явленію, напр., факту возрожденія современнаго Китая. Положимъ, мы лишь неопредѣленно слышали о немъ и, самое большее, представляемъ себѣ нѣчто, похожее на знакомыя европейскія революціонныя или освободительныя движенія. При ближайшемъ изученіи мы начинаемъ расчленять и выдѣляемъ сначала столкновеніе національныхъ группъ: выдѣляемъ, дальше, тѣсноту населенія въ южномъ Китаѣ и неизбѣжность рабочей эмиграціи; выдѣляемъ, затѣмъ, сектантско-экстатическій характеръ союзовъ, возникающихъ въ средѣ китайскаго простонародья; отмѣчаемъ разрывъ съ патріархальнымъ міровоззрѣніемъ и исканіе новаго раціоналистическаго просвѣщенія, при чемъ просвѣтительству приходится учиться у враговъ, т.-е. эксплоатирующихъ китайское невѣжество европейцевъ. Мы получили оттѣнки, группы близкихъ между собою частностей, которыя и пришлось обозначить каждую особымъ заголовкомъ, особымъ названіемъ. Компактная раньше единица разбита на нѣсколько единицъ, и мы ставимъ между ними знаки: раньше, позже, вмѣстѣ, параллельно, изнутри, извнѣ и т. д., или иначе: воздѣйствіе, вліяніе, отраженіе, толчокъ и т. д. Расчлененіе группы явленій.

Въ операціи, о которой идетъ рѣчь, называніе составляетъ необходимое дополненіе расчлененія; пока составная часть, пока выдѣленный элементъ не названъ, онъ не сознается отчетливо. Иногда кажется, что вся операція сводится къ пріисканію новаго слова, новаго названія. Зато потомъ новое имя, народившееся названіе пріобрѣтаетъ какое-то особенное самостоятельное

значеніе: въ аналогичныхъ новыхъ случаяхъ оно служитъ исходнымъ началомъ для анализа.

Напр., въ наукѣ государственнаго права существуетъ терминъ „теократія“. Подъ нимъ разумѣютъ управленіе духовныхъ лицъ, священниковъ, стоящихъ во главѣ государства. Терминомъ теократія, боговдохновенное правленіе, стараются передать понятіе политической жизни особаго характера, направляемой религіозными принципами.

Въ сущности, такъ называемыя историческія теократіи,— папская церковная вотчина св. Петра, іудейское царство въ эпоху Маккавеевъ, арабскій халифатъ перваго періода—были такими же государствами, какъ всѣ другія государства: имѣли войско, финансы, подати, чиновниковъ, примѣняли принудительную власть, судили, наказывали и высылали и т. д. Но разъ утвердилось въ историческомъ анализѣ названіе, возникъ и цѣлый рядъ вопросовъ въ наукѣ государственнаго права: почему и при какихъ условіяхъ составляются теократіи? Что можно назвать чистой теократіей? Можно ли отнести къ теократіи также Женеву эпохи Кальвина, принимая во вниманіе, что въ политикѣ этой общины были сильно выражены вѣроисповѣдные мотивы, и священники играли политическую роль? Можно ли считать теократической власть Людовика XIV, разъ онъ выводилъ свой авторитетъ отъ Бога и верховно рѣшалъ церковные вопросы?

По временамъ видно очень наглядно, что новое названіе составляетъ нѣчто большее, чѣмъ простое слово. Въ настоящее время идетъ весьма оживленный споръ о томъ, можно ли допустить въ русской исторіи наличность феодальныхъ отношеній, подобныхъ тѣмъ, которыя наблю-

даются въ исторіи западной Европы. Иниціаторы новаго направленія убѣдительно показали, что всѣ типичныя формы западнаго феодализма, коммендація и патронатъ, иммунитетъ, бенефиціи и лены и т. д. имѣлись и развивались въ старорусскомъ обществѣ и государствѣ. Противъ существа дѣла мало находятъ возраженій и мало спорятъ. И все-таки часть историковъ въ сомнѣніи качаютъ головой, не рѣшаются принять общій выводъ: имъ странно обозначать помѣстье—бенефиціей, а закладничество—патронатомъ. И они какъ будто спрашиваютъ себя: нельзя ли найти въ этихъ формахъ специфически русскій остатокъ? Но въ концѣ-концовъ этотъ остатокъ сводится лишь на русскія названія, а затрудненіе относится къ принятію чужого термина, подъ которымъ чудится нѣкоторый неопредѣленный новый придатокъ.

Нѣчто похожее на страхъ передъ новыми словами видимъ мы въ очень распространенномъ протестѣ противъ такъ называемой *модернизаціи древней исторіи.* Въ свое время Моммзену много досталось за то, что онъ нашелъ клерикализмъ и поповство въ старинномъ Римѣ, за то, что онъ называлъ юнкерствомъ римскую консервативную аристократію. Подобныя новшества вмѣнялись ему въ большой грѣхъ. И теперь еще многіе критики не могутъ простить, если назовешь римскихъ консуловъ городскими капитанами, крупныхъ землевладѣльцевъ—лендлордами, toga praetexta—сенаторскимъ мундиромъ, сходки солдатъ—военнымъ парламентаризмомъ. Недовольные такой модернизаціей находятъ, что новыя названія искажаютъ истинный характеръ старины, стираютъ ея своеобразіе. Въ свою очередь, насъ,

рѣшающихся вводить новые термины, могутъ спросить: какое значеніе имѣютъ эти раздражающія противниковъ слова? Отвѣтъ будетъ очень опредѣленный: мы находимъ именно близость, сходство между условіями старинными и современными, мы хотимъ обозначить посредствомъ „модернизаціи“ нѣкоторый элементъ постоянства жизненныхъ условій, повторяемости историческихъ элементовъ. Вводя термины современной жизни, мы хотимъ прибавить новую реальную черту.

Называніе элементовъ, полученныхъ отъ расчлененія.

Споръ о томъ, можно или нельзя вводить эти термины, есть, конечно, споръ о словахъ. Но подъ словами, подъ названіями обѣ стороны разумѣютъ нѣкоторый новый оттѣнокъ, который одни одобряютъ, другіе осуждаютъ. Констатированіе этого оттѣнка есть результатъ нѣкоторой операціи анализа, расчлененія извѣстнаго цѣлаго. Знакомъ такого расчлененія является терминъ или группа терминовъ. Приведенные примѣры позволяютъ намъ еще точнѣе опредѣлить характеръ совершающейся умственной операціи. За расчлененіемъ идетъ то, что можно назвать *узнаваніемъ*. Выдѣливши извѣстный элементъ изъ группы, констатировавши его особенные признаки и черты, мы стараемся помѣстить его въ знакомую намъ группу; и мы только тогда успокаиваемся, когда находимъ ему такое мѣсто, когда намъ удается признать его. А это и происходитъ при посредствѣ называнія его именемъ, которое, какъ всякое имя, есть въ одно и то же время собственное и нарицательное, личное и видовое. Имя обозначаетъ индивидуальность и отводитъ къ группѣ, служитъ средствомъ приписать явленіе къ опредѣленной области.

Своеобразная роль называнія, для опредѣленія мѣста

того или другого элемента, послѣ того какъ онъ выдѣленъ и узнанъ, составляетъ одинъ изъ самыхъ старинныхъ пріемовъ человѣческой мысли. На немъ держится вся древняя тотемистика, которая, въ свою очередь, занимаетъ самое видное мѣсто въ духовной жизни людей низкой культуры. Когда принимаютъ новаго члена въ извѣстную группу родичей, товарищей по профессіи или коллегъ по духу, то придаютъ огромное значеніе вопросу, какъ назвать новое лицо. Воспринимаемый вновь, родился ли онъ въ самой группѣ, кланѣ, союзѣ или принимается со стороны вновь, можетъ имѣть какое угодно имя, но въ знакъ его новой роли, предстоящей ему новой жизни, его надо вновь мистически окрестить. Надо найти имя, въ которомъ были бы схвачены характерныя черты индивидуальности; имя, которое заключало бы въ себѣ особенно дѣйствительный символъ и вмѣстѣ съ тѣмъ могло наилучшее приспособить даннаго индивида къ опредѣленной существующей группѣ. Приходится перебрать множество оттѣнковъ и комбинацій, прежде чѣмъ остановиться на подходящемъ имени изъ наличныхъ; нерѣдко иниціаторы новаго имени, окрестители, вынуждены измыслить совершенно небывалое имя. Такъ или иначе, крещеніе именемъ—дѣло трудное, которымъ занимается иногда въ теченіе многихъ дней цѣлый кланъ или комиссія особенно свѣдущихъ людей. Затѣмъ, разъ имя дано, съ нимъ вмѣстѣ къ человѣку переходятъ извѣстныя силы и качества. Въ имени заключена гарантія опредѣленныхъ свойствъ; имя создаетъ его обладателю невидимыя связи съ другими лицами, съ группой, обладающей тѣмъ же именемъ или именами родственными. Имя ставитъ человѣка подъ по-

кровительство высшаго существа. Въ виду магическихъ свойствъ имени, нерѣдко считается полезнымъ не открывать его, не выдавать постороннимъ: иначе можно потерять волшебное свойство, и потерять, какъ всякую другую собственность: врагъ можетъ, узнавши тайное имя лица, захватить и само лицо или нанести ему великій вредъ.

Съ теченіемъ времени мистическія идеи, связанныя съ наименованіемъ, съ обрядами дарованія имени, слабѣютъ; но всякое новое обозначеніе, всякое новое называніе является не только завершеніемъ извѣстнаго процесса мысли; оно также образуетъ новую завязку, превращается въ самостоятельный фактъ и выдвигаетъ на очередь новыя задачи. Иногда человѣкъ, не давая себѣ яснаго отчета въ происхожденіи названій, въ ихъ первоначальномъ назначеніи, добросовѣстно мучится надъ загадками, которыя задаетъ ему унаслѣдованное сочетаніе словъ.

Господство старыхъ названій.

Нѣчто подобное до сихъ поръ происходитъ съ терминами: „Возрожденіе“ и „Гуманизмъ“. Они появились въ исторической литературѣ первой половины XIX вѣка, когда, подъ впечатлѣніемъ реакціи и новаго возрожденія либерализма, историки искали въ прошломъ предвѣстниковъ революціи, когда имъ нужно было укрѣпить свою вѣру въ правильность предсказанія новаго торжества свободы ссылкой на аналогію въ болѣе раннее время. Такой аналогіей, казалось, могло служить общественное движеніе XV—XVI вв. Въ двухъ словахъ, которыми окрестили эпоху, открывшую новое время, нетрудно узнать характеристику двухъ явленій, очень знакомыхъ поколѣніямъ, пережившимъ революцію: возро-

жденіе общественной свободы и пробужденіе человѣчности, т.-е. расцвѣтъ независимыхъ силъ личности. Либеральные историки лишь удвоили при помощи историческихъ красокъ недавно пережитой переворотъ.

Слѣдующія поколѣнія восприняли оба символа, какъ обозначеніе прочно установленныхъ фактовъ. Они видѣли культурныя явленія XV—XVI вв. черезъ ту призму, въ той группировкѣ, какую имъ передали предшественники: да, правда, въ первый разъ скованное общество „возродилось“ въ XV в., и тогда же впервые человѣкъ созналъ въ себѣ личность. Возникъ цѣлый рядъ вопросовъ новыхъ, которые уже подчинялись этой группировкѣ, вращались въ ея замкнутомъ кругу. Совпадаетъ ли Возрожденіе съ Гуманизмомъ или общественныя явленія, покрываемыя этими названіями, составляютъ двѣ ступени, двѣ фазы движенія, при чемъ одно служитъ причиной, другое результатомъ? откуда считать начало Возрожденія? кого признать первымъ гуманистомъ? и т. д.

Чувствуя на себѣ давленіе схемы, изслѣдователь старается уже соотвѣтственно группировать факты. Напр., разъ признано, что первымъ гуманистомъ былъ Петрарка, надо во что бы то ни стало отдѣлить его рѣзкой чертой отъ предшественниковъ, иначе не видно будетъ совершающагося въ культурѣ перелома. И вотъ вполнѣ нейтральныя или очень обыкновенныя утвержденія и поступки „перваго гуманиста“ получаютъ натянутое и преувеличенное толкованіе. Иногда, казалось бы, Петрарка почти буквально повторяетъ выраженіе людей предшествующихъ поколѣній; комментаторъ однако непремѣнно найдетъ, что у Петрарки въ тѣ же слова вложенъ совершенно другой смыслъ.

На этой почвѣ возможны странныя недоразумѣнія. Въ общія характеристики Возрожденія любятъ вставлять анекдотъ о Петраркѣ, разсказанный имъ самимъ. Въ возрастѣ 30 лѣтъ Петрарка вмѣстѣ съ братомъ совершилъ восхожденіе на гору Ванту въ южной Франціи. Долго онъ любовался красивымъ и обширнымъ видомъ полей и холмовъ, за которыми обозначалось море, напомнившее ему далекую родину, Италію. Машинально схватился онъ за книгу, взятую съ собой; это была Исповѣдь Августина, и вотъ что въ ней прочелъ Петрарка, открывши страницу наудачу: „Люди глядятъ съ восторгомъ и изумленіемъ на вершины горъ, огромныя волнующіяся моря, широкія рѣки, безконечный океанъ, смотрятъ на теченіе звѣздъ; но они забываютъ самихъ себя“. Петрарка закрылъ книгу, огорченный тѣмъ, что отдался увлеченію земнымъ и забылъ о томъ, что̀ единственно достойно вниманія—о духѣ человѣческомъ. Къ этому эпизоду обыкновенно прибавляютъ: вотъ рожденіе новой культуры, первый яркій проблескъ индивидуализма; личность сознала свою силу и достоинство, тогда какъ раньше она тонула, поглощенная церковной общиной; вотъ начало секуляризаціи поэзіи и т. д.

Натяжка здѣсь рѣзко бросается въ глаза. Очень легко воспользоваться тѣмъ же эпизодомъ для вывода совершенно противоположнаго. Вѣдь Петрарка испугался своихъ слишкомъ свѣтскихъ мыслей и получилъ тяжелый урокъ отъ стараго представителя мистики и аскетизма. Онъ разсказалъ намъ не о пробужденіи въ себѣ дерзкаго порыва, а о томъ, какъ онъ послѣдовалъ старой указкѣ и истребилъ въ себѣ гордыню.

Намъ важно было выяснить роль названій, именъ, символовъ, терминовъ въ качествѣ знаковъ умственной операціи расчлененія цѣлаго на частности, признаки, оттѣнки и т. д. Мы выяснили, съ одной стороны, элементарный процессъ, лежащій въ основѣ истолкованія исторіи въ видѣ цѣпи причинъ и слѣдствій. Съ другой стороны, мы могли видѣть, насколько человѣку могутъ импонировать тѣ самыя орудія техники мысли, которыя онъ придумываетъ для оріентировки, для истолкованія явленій, въ какой мѣрѣ средства различенія, символы предварительной работы могутъ превращаться въ самостоятельные авторитеты.

Діалектика, какъ примѣненіе метода расчлененія.

Теперь намъ нетрудно будетъ выяснить характеръ научнаго метода, который имѣлъ въ XIX вѣкѣ необычайный, ослѣпительный успѣхъ, именно *діалектики*. Мы увидимъ, что діалектическій методъ основанъ на знакомой намъ операціи расчлененія цѣлаго.

По ученію величайшаго мастера діалектики, Гегеля, весь ходъ реальной исторіи и весь ходъ развитія человѣческой мысли подчинены закону трехъ ступеней логическаго заключенія. Характеръ этихъ трехъ ступеней опредѣляется двояко. Съ одной стороны, мысль идетъ отъ положенія (тезиса) къ противоположенію, или отрицанію (антитезѣ); изъ столкновенія противоположностей получается примиреніе ихъ (синтезъ), въ видѣ нѣкоторой высшей истины, соединяющей истинные элементы, выраженные въ двухъ предыдущихъ крайностяхъ. Но тотъ же логическій законъ трехъ шаговъ получаетъ еще другую формулировку. Приступая къ изученію или истолкованію чего-либо, изслѣдующій умъ человѣка ставитъ общую неопредѣленную задачу, чертитъ какъ бы

предварительный планъ, черновой набросокъ, общій проектъ. При болѣе внимательномъ детальномъ изученіи мысль раздробляется, расщепляется въ чрезвычайномъ множествѣ частностей и случайностей; на первое мѣсто выступаютъ индивидуальныя различія отдѣльныхъ предметовъ, явленій и моментовъ, совершенно заслоняющія собою первоначально замѣченное цѣлое или общее начало. Однако изъ этой хаотической груды, изъ отрицанія общаго принципа вырабатывается новое объединяющее начало; сама отрицательная, критическая работа произвела новый отборъ; кристаллизація отобранныхъ элементовъ образуетъ новое, высшее ихъ обобщеніе.

Превращеніе положительнаго въ отрицательное и обратно—перекидываніе мысли въ ея собственную противоположность Гегель считаетъ прямымъ волшебствомъ человѣческаго интеллекта. Вотъ только что отрицаніе разсыпало, разорвало общую истину въ тысячѣ частностей и уничтожило, какъ бы убило ее, но духъ „глядитъ прямо и безтрепетно въ глаза отрицанію; въ безконечномъ множествѣ мелочей онъ снова схватываетъ истину, онъ завоевываетъ ее въ качествѣ объединяющаго вещи принципа и этимъ достигаетъ торжества надъ смертью, надъ отрицаніемъ“. Законъ мысли, по Гегелю, есть въ то же время и законъ реальной исторіи. Историческое развитіе есть смѣна противоположностей, порождаемыхъ другъ другомъ, при чемъ новое вырабатывается въ нѣдрахъ стараго изъ самихъ его элементовъ. Деспотизмъ вызываетъ противъ себя въ качествѣ протеста анархію, за слѣпымъ, безразличнымъ гнетомъ идетъ съ неизбѣжностью безпорядочная революція. Воз-

можность такого разрушенія составляетъ какъ бы скрытую оборотную сторону господствовавшаго раньше строя, и въ извѣстный моментъ она выступаетъ наружу. Въ свою очередь революція таитъ въ себѣ необходимость новаго властнаго начала; общество ищетъ выхода изъ разброда, въ которомъ находится; само возстаніе организуется и выставляетъ вождей. Въ новомъ строѣ элементы свободы и порядка, т.-е. подчиненія власти, примиряются; въ XIX в. такимъ примиреніемъ можетъ считаться конституціонное государство, соединившее наслѣдственную власть королей, т.-е. старый теократико-феодальный принципъ, и народное верховенство, даръ революціи. Такимъ образомъ всякій логическій процессъ есть историческій путь разсужденія, и всякая группа историческихъ явленій есть развернутая логическая схема. Логическія фазы въ то же время являются реальными звеньями цѣпи причинъ и слѣдствій.

Происхожденіе діалектическаго метода Гегеля.

Вглядываясь въ элементы движущейся логики Гегеля, мы находимъ въ нихъ признаки знакомой намъ операціи расчлененія. Вѣдь, въ самомъ дѣлѣ, то, что онъ раздвигаетъ въ перспективу, въ послѣдовательность временъ и фазъ, можно констатировать на одной плоскости, одновременно въ одномъ предметѣ или явленіи. Какой-либо сложный предметъ или сложное явленіе можно разсматривать сразу, какъ синтезъ, въ которомъ соединяются противоположныя начала, противорѣчивыя крайности. По Гегелю цѣлое во всей полнотѣ получается какъ будто лишь въ концѣ процесса. Но помѣщеніе цѣлаго въ концѣ составляетъ собственно лишь художественный пріемъ изображенія. Въ дѣйствительности анализъ именно долженъ былъ исходить отъ цѣ-

лаго. Сосредоточивъ свое вниманіе на цѣломъ, анализаторъ начинаетъ разлагать цѣлое на составные элементы. Главная особенность діалектическаго анализа состоитъ въ томъ, чтобы разлагать по антитезамъ, по противоположностямъ. Анализаторъ и отыскиваетъ ихъ прежде всего и во что бы то ни стало. Такъ, напр., онъ имѣетъ передъ собой явленіе государства. Онъ отыскиваетъ два элемента, находящіеся въ антагонизмѣ: на одной сторонѣ оказываются власть, сосредоточенное давленіе, принудительность, на другой—личности, разбродъ желаній, инстинктъ свободы и нестѣсненности. Оба эти элемента налицо въ наблюдаемомъ цѣломъ, въ государствѣ; они, такъ сказать, вычитаны въ немъ. Тезисъ и антитезисъ получились въ видѣ добавочнаго детальнаго чертежа на синтезѣ. Но по окончаніи операціи наблюдатель, производившій анализъ, переставляетъ полученные элементы въ обратномъ порядкѣ. То, что онъ позднѣе замѣтилъ, онъ признаетъ за слой глубже, ниже расположенный: очевидно, говоритъ онъ себѣ, открытое изслѣдованіемъ возникло въ дѣйствительности раньше, чѣмъ то цѣлое, которое я видѣлъ на поверхности. Отсюда заключеніе: историческій порядокъ, порядокъ развитія какъ разъ обратенъ порядку анализа, порядку логическаго разсмотрѣнія.

Труднѣе объяснить, какъ возникло столь характерное для Гегеля понятіе о превращеніи противоположностей одна въ другую. Начало мысли о волшебномъ перекидываніи одной крайности въ другую, можетъ быть, заключается въ томъ, что наши понятія по большей части соотносительны, что они опредѣляются изъ противоположностей. Свѣтъ, какъ понятіе, существуетъ

лишь, поскольку мы признаемъ тьму; нѣтъ признанія добра безъ признанія зла; безконечность мыслится только потому, что все наблюдаемое конечно и т. д. Слѣдовательно, при опредѣленіи всякаго понятія мы уже думаемъ о его противоположности, о ближайшемъ къ нему сосѣдствѣ его антагониста.

Но, по всей вѣроятности, свойственное гегелевской діалектикѣ понятіе о чудесномъ превращеніи противоположностей основывается еще на другомъ сопоставленіи. Гегель не могъ отдѣлаться отъ извѣстныхъ схемъ, которыя крѣпко засѣли въ сознаніи его современниковъ въ качествѣ соціальныхъ уроковъ революціи и реакціи. Приблизительно можно такъ описать эти соціальныя idées fixes начала XIX в. Всякому терпѣнію культурнаго общества есть конецъ, всякій деспотизмъ, какъ бы онъ ни былъ, повидимому, сильно утвержденъ, можетъ рушиться, и полное приниженіе народа можетъ превратиться въ страшный революціонный взрывъ. Или: въ періоды кризисовъ возможны внезапныя и полныя перемѣны; горячій трибунъ свободы, поднявшись на вершину успѣха, можетъ превратиться въ безпощаднаго диктатора; проповѣдникъ неограниченной личной свободы—въ мистика-реакціонера, бѣгущаго подъ покровъ спасительнаго авторитета; человѣкъ глубокой вѣры, настойчивый искатель религіозныхъ аргументовъ—въ послѣдовательнаго раціоналиста и атеиста. Вообще возможно представить себѣ среди общественнаго переворота особый типъ людей, которые становятся рѣзкими врагами своихъ прежнихъ сообщниковъ или преслѣдователями прежнихъ предметовъ поклоненія.

Подобныя превращенія любила отмѣчать реакція; она

привыкла также играть превращеніями, сочинять ихъ. Жозефъ-де-Местръ настаивалъ на томъ, что злѣйшіе враги религіи и церкви въ эпоху революціи, якобинцы, безсознательно сослужили дѣлу религіи наибольшую службу: въ ихъ атеистическомъ фанатизмѣ билась сильная религіозная струя.

Односторонній характеръ діалектическихъ построеній.

Какъ бы ни были блестящи и остроумны иныя формулы подобнаго рода, ихъ значеніе для познанія очень условно. Вѣдь всегда возможна такая постановка элементовъ въ разбираемомъ явленіи, что какой-нибудь переворотъ въ жизни личности или общества будетъ намъ казаться не смѣной противоположныхъ крайностей, а, напротивъ, продолженіемъ и повтореніемъ нѣкоторыхъ постоянныхъ свойствъ, наблюдавшихся раньше въ жизни той же личной или общественной среды. Такъ, напр., вождь революціи или освободительнаго движенія, превратившійся въ диктатора, въ новаго деспота, безъ сомнѣнія, имѣлъ раньше властныя наклонности и, вѣроятно, имѣлъ случай проявить ихъ; разница между прежнимъ и новымъ положеніемъ получилась отъ перемѣны, главнымъ образомъ, района и среды его дѣйствій, а не отъ кризиса его характера.

Настроеніе, темпераментъ изслѣдователя, степень его близости къ переживаемымъ событіямъ,—все это способно мѣнять постановку; и гдѣ одинъ видитъ превращеніе, тамъ другой отмѣчаетъ неизмѣнность.

Въ этомъ смыслѣ, напр., первую французскую революцію совершенно различно трактуютъ, съ одной стороны,—Тьеръ, Луи Бланъ, Мишле, съ другой—Токвиль и Сорель. Первые видятъ въ революціи катаклизмъ, разорвавшій прошлое съ настоящимъ. Токвиль и Со-

рель, наоборотъ, не смущаясь новой терминологіей революціи, видятъ въ ея политико-административныхъ созданіяхъ продолженіе стариннаго французскаго процесса—централизаціи страны. Сорель—сквозь идеалистическія формулы Національнаго Собранія и Конвента—усматриваетъ во внѣшней политикѣ революціи старыя программы территоріальныхъ захватовъ; пропаганда демократіи служитъ средствомъ реальной политики присоединеній и контрибуцій и является ея оправданіемъ, наподобіе того, какъ раньше старались оправдаться религіозной идеей или ученіемъ о естественныхъ географическихъ границахъ.

Въ одномъ и томъ же явленіи можно видѣть превращеніе противоположностей, но можно его и не видѣть. Все дѣло въ томъ, какія логическія категоріи будутъ надписаны къ элементамъ, полученнымъ отъ разложенія въ анализѣ, какъ эти элементы будутъ распланированы. Разъ полученная картина затѣмъ кристаллизуется, затвердѣваетъ. Передъ нами выступаютъ готовые комплексы, повернутые фронтомъ въ одну или другую сторону, и тогда можетъ быть демонстрировано волшебство театра логическихъ превращеній.

Мы разсматривали діалектику, какъ одинъ изъ видовъ истолкованія историческаго процесса и построенія его въ видѣ цѣпи причинъ и слѣдствій. При такомъ истолкованіи причины и слѣдствія оказываются *фазами движенія*, неизбѣжно, фатально слѣдующими другъ за другомъ и развивающимися одна изъ другой. Онѣ представляютъ взаимно-противоположныя начала, а смѣна ихъ—переходъ черезъ крайнее напряженіе каждаго изъ началъ, при чемъ въ результатѣ переходовъ образуется

компромиссъ. Мы видѣли, что въ основѣ этого истолкованія лежитъ логическій анализъ расчлененія, при чемъ реальная историческая послѣдовательность мыслится какъ путь, прямо обратный ходу этого анализа. Реальныя впечатлѣнія могутъ участвовать въ разрисовкѣ моментовъ, какъ показываютъ примѣры воздѣйствія рѣзкихъ психологическихъ случайностей революціоннаго періода. Но эти реальныя впечатлѣнія служатъ лишь иллюстраціями, они привлекаются въ готовыя рубрики. Толкователь, сторонній діалектикѣ, можетъ использовать ихъ въ совершенно иномъ смыслѣ.

Діалектическій методъ въ наукѣ XIX вѣка.

Спрашивается, въ какой мѣрѣ діалектическій пріемъ двигаетъ насъ впередъ въ пониманіи историческаго процесса, какова его *эвристическая сила*, какія новыя заключенія можемъ мы дѣлать, пользуясь этимъ пріемомъ? Послѣдователи Гегеля придавали значеніе діалектикѣ именно въ послѣднемъ смыслѣ, они видѣли въ ней универсальный ключъ къ раскрытію тайнъ исторіи и къ дальнѣйшимъ предсказаніямъ. Что же было дѣйствительно достигнуто въ исторической наукѣ приложеніемъ діалектики, и чего мы еще могли бы ожидать отъ нея? Вліяніе гегельянскаго метода выступаетъ въ европейской наукѣ особенно сильно два раза. Впервые—въ поколѣніи, непосредственно слѣдовавшемъ за появленіемъ философіи Гегеля, въ 30—50 гг. XIX в., и здѣсь преимущественно отражается на работахъ въ области *ранняго христіанства*; во второй разъ—въ поколѣніяхъ послѣднихъ двухъ десятилѣтій XIX в., и на этотъ разъ преимущественно въ средѣ *философско-экономическаго* направленія, связаннаго съ именемъ Маркса.

Изъ періода перваго торжества діалектическаго ме-

тода особенно извѣстна книга Штрауса: „Жизнь Іисуса“ (1838 г.). Но это сочиненіе лишь особенно ярко отражаетъ систему идей, которыя обстоятельно разрабатывались цѣлымъ рядомъ либеральныхъ богослововъ, главнымъ образомъ Тюбингенской школы, съ Бауромъ во главѣ. Къ числу историческихъ работъ, стоящихъ подъ тѣмъ же знакомъ гегельянской діалектики, принадлежитъ книга Буркгардта: „Культура возрожденія въ Италіи“; здѣсь главный интересъ заключается въ изображеніи разрыва со старымъ положительнымъ богословскимъ міровоззрѣніемъ и въ характеристикѣ перваго выступленія смѣлой критики разума. Затѣмъ гегельянство очень замѣтно отразилось на истолкованіи римскаго права, которое долгое время служило европейскому обществу своего рода библіей и богословскимъ канономъ. Изученія матеріальной исторіи, хозяйственныхъ и соціальныхъ отношеній гегельянство перваго періода почти не коснулось. Что же дала діалектика для изслѣдованія идейныхъ направленій?

Для историковъ середины XIX в. и христіанство, и гуманизмъ, и римское право были разумно-сложенныя системы; больше того—высшіе продукты разума. Въ этомъ отношеніи Гегель далъ историкамъ еще другую знаменитую формулу: „что дѣйствительно, то разумно“. Въ приложеніи къ историческимъ движеніямъ это значило: міровоззрѣнія, достигающія торжества, разумны. Рѣзко расходилось такое отношеніе къ религіи со взглядами XVIII в., когда просвѣтители находили въ ней аберрацію человѣческой мысли, архивъ отсталости и предразсудковъ, соединеніе дикихъ страстей и сумасбродства. Теперь, напротивъ, въ религіяхъ, по край-

ней мѣрѣ высшихъ, готовы были видѣть стройную гармонію общихъ философскихъ принциповъ, въ фазахъ религіознаго развитія—правильный ходъ логическаго заключенія. Въ частности, христіанство казалось составленнымъ изъ самыхъ возвышенныхъ и тонкихъ продуктовъ мысли двухъ наиболѣе культурныхъ народовъ, которые когда-либо жили на землѣ: грековъ и іудеевъ. Римское право представлялось тоже своего рода практической философіей жизни на основѣ опыта мудрѣйшаго въ управленіи народа.

Діалектика въ примѣненіи къ исторіи ранняго христіанства.

Но если такъ, если религіозныя и правовыя системы—прямые предшественники новой философіи, то для ихъ истолкованія, казалось, нѣтъ ничего болѣе подходящаго, чѣмъ діалектическій методъ. Старыя системы человѣческой мысли должны были строиться по типу новѣйшихъ: въ нихъ происходила встрѣча односторонихъ, до крайности несхожихъ принциповъ; борьба ихъ между собою приводила ко взаимному переплетенію и примиренію въ одной системѣ. Надо слѣд. отыскать тѣ же діалектическіе элементы въ исторіи христіанства и римскаго права. Надо итти тѣмъ же путемъ діалектическаго анализа. И вотъ историкъ, при толкованіи факта происхожденія христіанства, отводитъ греческой культурѣ одинъ заостренный принципъ, іудейству—другой. Римская имперія доставила имъ случай встрѣчи въ самый удачный, самый нужный моментъ, когда каждый изъ нихъ достигъ наибольшаго напряженія: христіанство—великій синтезъ въ рамкахъ всемірнаго государства. Въ изложеніи исторіи христіанской догматики у Баура ученіе апостоловъ и отцовъ церкви движется впередъ какъ бы зигзагами отъ одной крайности къ

другой, отъ богочеловѣчества къ человѣкобожеству, отъ свободы воли къ фатализму и т. д., при чемъ отдѣльные вопросы выступаютъ въ правильной послѣдовательности, какъ бы дожидаясь своей очереди; отвергнутая въ борьбѣ крайность отбрасывается въ сторону въ качествѣ ереси, а ея разумное зерно сливается съ среднимъ теченіемъ, которое, подобно равнодѣйствующей, соединяетъ напирающія съ разныхъ сторонъ силы.

Раціоналистическій взглядъ на религію, признаніе ея разумной системой отразилось и на отношеніи къ источникамъ. Историкъ подходитъ къ нимъ съ особымъ вниманіемъ и своеобразнымъ запросомъ: онъ рѣзко чувствуетъ всякую неслаженность, нелогичность, противорѣчивость, и въ отдѣльныхъ случаяхъ подобнаго рода у него вырастаетъ сомнѣніе въ подлинности передавшаго идею документа. Поднимаются вопросы о посторонникъ вставкахъ, о возможности фальсификаціи или о позднѣйшей переработкѣ и т. п. Разъ въ историческихъ свидѣтельствахъ должны открываться слѣды разумной системы, историкъ-раціоналистъ естественно становится острымъ и придирчивымъ критицистомъ.

Историкъ извлекаетъ еще одно указаніе изъ того общаго положенія, что возникновеніе и развитіе религіи совершалось по логическому плану. Если разумны и разумно послѣдовательны фазы развитія догмы, то разумны должны быть и реальныя историческія даты, сказанія объ основателяхъ религіи, о ихъ земномъ странствованіи,—все то, что само религіозное ученіе установило въ качествѣ нерушимыхъ свидѣтельствъ своей истинности. Событія, окружающія возникновеніе религіи, не могли быть случайными историческими стеченіями

обстоятельствъ. Совершилось то, что должно было случиться въ данномъ мѣстѣ, въ данное время. Если гдѣ-либо не хватало нужнаго момента въ происшествіяхъ, его долженъ былъ добавить разсказъ. Разъ было нужно, чтобы Христосъ родился въ Виѳлеемѣ, на родинѣ Давида—потому что Мессія долженъ быть изъ рода Давидова,—разсказъ создавалъ соотвѣтствующій фактъ, придумывалъ для него обстановку, мотивировалъ его и т. д. Такимъ образомъ литературное творчество становилось для традиціи важнѣе, чѣмъ реальныя событія; оно заступало ихъ мѣсто. Но разъ изслѣдователь зашелъ такъ далеко, онъ не могъ себѣ не поставить вопроса: не образуетъ ли большая часть тѣхъ фактовъ, которые переданы въ религіозной традиціи, фиктивной исторіи, не сводится ли реальная обстановка дѣятельности основателя религіи на миѳъ?

На этотъ вопросъ отвѣтилъ впервые утвердительно Давидъ Штраусъ. Въ первой своей большой работѣ о жизни Христа онъ сдѣлалъ выводы со всею безпощадностью упрямой головы, увлеченной сильной идеей. Въ широкихъ слояхъ публики извѣстна, однако, вторая книга Штрауса, вышедшая черезъ 25 лѣтъ (въ началѣ 60-хъ годовъ) и обработанная для народа (она и переведена у насъ). Это сочиненіе сильно отличается отъ перваго; здѣсь Штраусъ, вслѣдъ за критикой, отбрасывающей элементы чудеснаго, противорѣчиваго, пытается собрать въ одну картину возможныя подлинныя черты жизни дѣятеля, котораго традиція возвела въ божество. Въ первой своей, чисто-ученой книгѣ онъ не заботился вовсе о выдѣленіи исторической реальности. Быть можетъ, опредѣленнаго лица, субъекта соотвѣт-

ствующихъ разсказовъ вовсе не было. Можетъ быть, существовало лицо, былъ дѣятель, который, однако, не имѣлъ ничего общаго съ тѣмъ, что о немъ разсказываютъ, о которомъ ничего не извѣстно, ничего не дошло. Все это нисколько не занимаетъ Штрауса. Его интересуетъ не Христосъ, а творчество о Христѣ. Онъ поглощенъ вопросомъ объ образованіи христіанскаго миѳа, о формаціи группы идей, которыя въ повѣствовательной формѣ изложены въ каноническихъ книгахъ Новаго Завѣта. Работу Штрауса можно было бы такъ кратко перефразировать: въ такой-то моментъ, въ такихъ-то формахъ должно было возникнуть представленіе о Спасителѣ міра; оно явилось и заполняетъ для насъ мѣсто въ исторіи; намъ безразлично, какая реальность кроется подъ миѳологической системой и даже есть ли вообще такая реальность; историческую роль сыграла не реальность, а система.

Изъ сказаннаго можно видѣть, какое эвристическое значеніе имѣла діалектика въ опредѣленной научной области. Она превратилась въ *острый пріемъ критики источниковъ*; она стала служить вскрытію въ нихъ наслоеній, выясненію вставокъ, фальсификацій, переработокъ, раскрытію вообще легендарности. Съ другой стороны, діалектика выразилась въ теоріи формаціи и развитіи миѳовъ. Діалектика заставила сосредоточить вниманіе на фактѣ образованія исторической легенды и на ея роли въ дальнѣйшей жизни. Но здѣсь она легко могла вступить на ложный путь. Діалектическій пріемъ исходилъ отъ признанія логики въ религіозномъ творчествѣ; анализъ отдѣльныхъ системъ превращался въ рѣшеніе логическихъ задачъ.

Въ этомъ отношеніи новый матеріалъ этнологіи и фольклора совершенно опрокинулъ пріемы діалектики. Изученіе вѣрованій, сказокъ, гаданій малокультурныхъ народовъ показало всю необыкновенную причудливость методовъ ранней человѣческой мысли, всю капризность фантазіи; оно показало также, что въ группѣ одновременныхъ вѣрованій никогда нѣтъ однородности, согласія; существуютъ наслоенія разныхъ эпохъ, уживаются кричащія противорѣчія.

Діалектика въ видѣ экономическаго истолкованія исторіи.

Иного характера было пользованіе діалектикой во второй періодъ вліянія гегельянства, въ средѣ марксизма. Прежде всего отличіе состоитъ въ томъ, что вниманіе уже не было направлено на истолкованіе идейныхъ сцѣпленій. Матеріалистическая философія исторіи не считаетъ идейную жизнь развивающейся самостоятельно и планомѣрно. Идеи—продуктъ и отраженіе опредѣленной среды и группы интересовъ; ихъ смѣна можетъ заключать въ себѣ извѣстную логику лишь посредственно, поскольку логика открывается въ реальныхъ соотношеніяхъ. Поэтому сторонники матеріализма и старались найти діалектическій принципъ именно въ самихъ реальныхъ явленіяхъ: въ самомъ процессѣ производства, въ его организаціи, въ моментахъ накопленія капитала, гибели мелкой собственности, образованія союзовъ рабочихъ и т. д.—вотъ гдѣ надо искать тезисъ, антитезу и синтезъ.

Это отличіе новаго примѣненія діалектики отъ прежняго, примыкающаго къ самому Гегелю, формулировалъ еще Марксъ. Можно указать еще другое отличіе, которое скорѣе молчаливо признавалось, чѣмъ формулировалось. У Гегеля и старыхъ гегельянцевъ діалекти-

ческій кругъ изъ трехъ стадій составляетъ законъ повторяющихся явленій; много разъ можно въ исторіи наблюдать образованіе синтеза изъ двухъ идейныхъ противоположностей. Въ глазахъ новыхъ сторонниковъ діалектики группа соціально-экономическихъ отношеній Новѣйшаго времени, въ которой они хотятъ видѣть ступень діалектическаго процесса, составляетъ нѣчто единственное въ своемъ родѣ. Прошлое знаетъ лишь приступы къ движеніямъ и образованіямъ подобнаго рода. Никогда однако ни въ Греціи, ни въ Римѣ, ни въ Халифатѣ, ни въ Китаѣ сила промышленнаго капитала не поднималась до такой степени, какъ въ новѣйшей Европѣ и Америкѣ; никогда и нигдѣ рабочія массы не сплачивались въ такія крупныя организаціи. Противоположности впервые доростаютъ до такихъ рѣзкихъ размѣровъ, и, слѣдовательно, синтезъ, будущее строеніе человѣческаго общества должно принять небывалыя до сихъ поръ формы. Отсюда именно и получается еще одно, и самое существенное, отличіе сравнительно съ прежнимъ примѣненіемъ діалектики. Въ первый періодъ гегельянства діалектику примѣняли къ процессамъ законченнымъ, ее демонстрировали на античной культурѣ, на христіанствѣ и т. д. Современность по взгляду самого Гегеля есть вступленіе въ заключительную фазу послѣдней тріады. Существенныя черты послѣдняго синтеза тоже обнаружились, не говоря о завершеніи цѣлаго ряда предшествующихъ синтезовъ. Иначе для сторонниковъ діалектики второго періода. Соціально-экономическій процессъ, къ которому прилагаются діалектическія фазы, еще не закончился. Онъ находится лишь во второй фазѣ, отрицательной; син-

тезъ предстоитъ въ трудно опредѣлимый моментъ будущаго.

Такимъ образомъ, если въ старомъ гегельянствѣ діалектика являлась главнымъ образомъ контрольнымъ принципомъ, средствомъ провѣрки наблюденій и установленія закона сущихъ и бывшихъ отношеній, то въ новый періодъ своего появленія діалектика служитъ *принципомъ и средствомъ угадыванія и предсказанія будущаго*. Діалектика опять—эвристическій методъ, но въ совершенно другомъ смыслѣ. Она должна подыскать не связь и сцѣпленіе наблюденныхъ, отмѣченныхъ явленій, ея дѣло не въ томъ, чтобы дать основу разумнаго построенія пройденнаго; она служитъ къ тому, чтобы отыскать конецъ процесса, находящагося въ полномъ движеніи.

Діалектикѣ еще не такъ давно придавалось огромное значеніе въ качествѣ первокласснаго научнаго метода. Но является сильное сомнѣніе въ томъ, помогла ли діалектика дѣйствительно движенію науки. Не была ли она только очень подходящей формулой для выраженія нѣкоторой сильной опредѣленной вѣры? Въ самомъ дѣлѣ, о примѣненіи принципа превращенія противоположностей въ экономической жизни стали особенно настойчиво говорить въ періодъ наиболѣе яркихъ успѣховъ капитала, когда крупная индустрія, увлекаемая спросомъ на всемірномъ рынкѣ, наглядно сметала мелкое ремесленное производство и когда землю отнимали у мелкаго собственника, крестьянина, до извѣстной степени съ двухъ сторонъ: на одномъ концѣ—вооруженный капиталомъ крупный собственникъ, на другомъ—городской предприниматель, предлагавшій зара-

ботную плату вмѣсто совершенно проблематичнаго дохода съ земли. Въ самый короткій срокъ, почти на глазахъ у одного поколѣнія, создавался пролетарій, человѣкъ безъ дома, земли, мастерской, орудій, исключительно поставленный въ зависимость отъ промышленныхъ стихій, отъ какого-то неопредѣленнаго спроса товара, отъ конкуренціи своихъ собратьевъ и т. д. Первое впечатлѣніе было потрясающее. Притомъ раньше всего и скорѣе всего этотъ разрушительный процессъ совершался въ той странѣ, которая обладала политической свободой. Слѣдовательно, свободные политическіе порядки лишь облегчали разрушеніе жизни массъ, политическая революція лишь принесла новое ухудшеніе? Развѣ изъ-за этого рабочія массы приняли въ ней участіе? Что же будетъ дальше? Казалось, будетъ еще хуже: еще новыя массы будутъ сдвинуты съ земли, оторваны отъ самостоятельнаго дѣла и брошены на рынокъ труда. Сила капитала очевидна. Но нельзя ли въ самомъ злѣ найти средства противодѣйствія, сопротивленія?

И страдающая, задавленная мысль о человѣческой справедливости вырабатываетъ отчаянное утѣшеніе. Наблюдатель спрашиваетъ себя: не вызваны ли эти обезумѣвшія отъ нищеты, оторванныя отъ земли массы именно силой своихъ несчастій къ несравненно большей энергіи? Къ тому же они теперь ходомъ самого производства сдвинуты вмѣстѣ, въ крупныя соединенія, тогда какъ раньше копались и работали врозь; они могутъ импонировать своимъ количествомъ, своимъ согласіемъ. А если такъ, не лежитъ ли въ самомъ несчастіи завязка улучшеній? И тогда не желать ли, чтобы

разрушеніе шло поскорѣе до конца, чтобы несчастія доросли до невыносимости? Вѣдь, все равно, возврата нѣтъ, остается только все дальше идти по той линіи, на которую толкнуло стеченіе роковыхъ условій.

Вотъ глубоко-понятная, возвышенная и болѣзненная психологія, создавшая знаменитую Verelendungstheorie, теорію фатально необходимаго обнищанія, экономическаго умиранія, черезъ которое должны пройти рабочіе, чтобы достигнуть лучшаго будущаго. И вотъ благодарная почва для діалектической формулы превращенія! Чѣмъ хуже данное положеніе, чѣмъ глубже отрицаніе того, что нужно человѣку, тѣмъ ближе онъ къ повороту, къ захвату давящаго его капитала, который долженъ составить его благополучіе. И еще въ другомъ смыслѣ отрицательный періодъ есть подготовка будущаго синтеза богатства и труда: крупное предпринимательство, сметая мелкія хозяйства, безсильныя, раздробленныя предпріятія, концентрируетъ капиталъ, усиливаетъ его во много разъ и готовитъ такимъ образомъ необходимую основу для громаднаго коллективнаго хозяйства, которое будетъ кормить поднявшійся къ жизни организованный рабочій классъ.

Теорія обнищанія, вѣроятно, дѣйствовала на воображеніе очень многихъ людей, но никогда не служила правиломъ дѣятельности. Рабочія массы не дожидались окончательнаго ухушенія своей участи; они не ставили вопроса: „все, или ничего“; они организовывались въ профессіональные союзы, добивавшіеся мѣстныхъ и частныхъ улучшеній; они вступали на почву политической борьбы, вводили своихъ представителей въ парламентъ, принимались за такъ наз. практическую политику, хло-

потали объ охранѣ фабричнаго труда, участвовали въ законодательствѣ страхованія и т. д. На практикѣ отрицательный фазисъ не становился болѣе острымъ и крайнимъ.

Ослабленіе діалектическаго метода.

Постепенно стали накопляться впечатлѣнія, которыя мѣняли общую картину ожидаемаго будущаго. Неминуемо предстоящій общій соціально-экономическій кризисъ все отдалялся. Капиталъ сдвинулъ съ земли очень многихъ, но не всѣхъ; онъ продолжалъ обезземеливать, пролетаризировать, но не съ такою стремительностью, какую предсказывали. Ясно было, что нельзя откладывать борьбу до того момента, пока не наступитъ полное обезземеленіе, пока не разорвется вовсе связь съ землею крестьянства. Съ другой стороны, наблюденія показали, что въ извѣстныхъ случаяхъ организаціи рабочихъ сами могли выступать въ нѣкоторомъ вооруженіи капитала, какъ, напр., англійскіе трэды, союзы высшихъ рабочихъ. Опять и здѣсь процессъ не доходилъ до своего діалектическаго конца. И если судить по результатамъ, то тамъ, гдѣ рабочіе были богаче, они имѣли лишній шансъ перевѣса въ столкновеніяхъ. Если перевести эти явленія на языкъ логическихъ понятій, которымъ пользуется діалектика, то выходитъ, что не изъ отрицанія готовится новый положительный строй и не высшее зло должно превратиться въ свою противоположность; скорѣе растетъ, поднимается само положительное, можетъ быть, медленно, неувѣренно, изъ слабыхъ началъ слагается строй лучшаго будущаго. Если примѣнить другое сравненіе, жизнь получается изъ зародыша жизни, а не изъ смерти.

Иначе говоря, діалектическая формула въ качествѣ закона соціально-экономическаго развитія современно-

сти и близкаго будущаго не удовлетворяетъ болѣе. И она потеряла свое прежнее обаяніе для круговъ той большой политической партіи, которая поставила діалектическій методъ въ числѣ своихъ догматовъ. Но отказъ отъ діалектики не означаетъ вовсе какого-либо крушенія или урона въ теоріи или практикѣ соціалъ-демократіи. Что касается практики, то она до извѣстной степени всегда шла наперекоръ діалектикѣ; само обращеніе рабочихъ къ политическимъ формамъ борьбы, защита ими своихъ профессіональныхъ интересовъ, вообще энергичная дѣятельность пропаганды и объединенія, вмѣсто исключительно выжидательнаго образа дѣйствій, вовсе не отвѣчала теоретическому догмату неизбѣжнаго, фатальнаго и въ концѣ-концовъ все-таки цѣлительнаго обнищанія. Съ другой стороны, и теорія, повидимому, не пострадаетъ отъ устраненія діалектики. Въ полной силѣ остается положеніе о зависимости всѣхъ условій жизни отъ экономической основы, признаніе факта безпрерывнаго нарастанія капитала, его усиленія изъ собственной мощи, признаніе факта хаотичности современнаго производства и неизбѣжности кризисовъ, признаніе растущей необходимости организаціи промышленной жизни. Въ силѣ остается истолкованіе исторіи, какъ борьбы классовъ. Измѣнилась, если можно такъ выразиться, соціалъ-демократическая эсхатологія, ожиданіе скораго конца современнаго строя въ связи съ пессимистической оцѣнкой современности. И это ожиданіе, и эта оцѣнка именно покрывались діалектической формулой.

Діалектика и въ первый, и во второй періодъ своего торжества служила острымъ выраженіемъ нѣкото-

рыхъ рѣзкихъ запросовъ общественной мысли, и поэтому, въ теченіе извѣстнаго времени, способна была направлять наблюденія и изслѣдованія. Она сходила со сцены, теряла значеніе метода изслѣдованія, когда накоплялись факты, въ суммѣ дававшіе другую картину общественныхъ отношеній.

Расчлененіе явленій на причины и дѣйствія.

Намъ необходимо было подробно остановиться на выясненіи роли діалектическаго метода, такъ какъ онъ представляетъ одинъ изъ самыхъ яркихъ пріемовъ общей операціи расчлененія понятій и явленій. При анализѣ категоріи причинности очень важно было разобраться въ примѣненіи этого пріема. Въ болѣе раннихъ толкованіяхъ причинной связи историческихъ явленій исходили отъ понятія намѣренности, цѣли, руководящей людьми. Разбирая какую-нибудь группу событій, историкъ отдѣлялъ одни элементы вглубь, въ качествѣ мотивовъ, желаній, приготовленій, другіе выдвигалъ на поверхность, въ качествѣ обнаруженій, результатовъ; воля и исполненіе, вотъ что онъ разумѣлъ, кратко говоря, подъ причиной и слѣдствіемъ. Діалектическое расчлененіе представляетъ важный шагъ впередъ въ смыслѣ большей тонкости анализа. Оно замѣняетъ старыя анимистическія понятія „цѣль“, „осуществленіе желаній“ и т. п. болѣе безличнымъ принципомъ *смѣны послѣдовательныхъ ступеней движенія*. Діалектическій пріемъ при наблюденіи какого-либо цѣлаго выдѣляетъ извѣстные признаки и разставляетъ ихъ въ перспективѣ; они кажутся тогда разновременными моментами, фазами движенія; они кажутся ранними и поздними состояніями, или, что то же, причинами и слѣдствіями.

Уже на примѣрѣ діалектики видѣли мы, что историкъ

старается избѣгнуть терминовъ: „причины“ и „слѣдствія“, и замѣнить ихъ болѣе безличными: „фазы“, „ступени“, „моменты“. Въ послѣднее время историки все чаще вмѣсто „причинъ“ вводятъ „условія“. Отдѣляя отъ самихъ „историческихъ событій“ или „главныхъ явленій“ ихъ „условія“, они производятъ ту же знакомую намъ работу расчлененія цѣлаго на составныя части.

Примѣромъ можетъ служить въ книгѣ Гарнака „Миссія и распространеніе христіанской церкви“ отдѣлъ, озаглавленный: „Внѣшнія условія для всемірнаго распространенія христіанской религіи“. Здѣсь Гарнакъ конденсируетъ въ заголовкахъ и формулахъ слѣдующіе моменты: 1) проникновеніе греческой культуры и установленіе относительнаго единства языка и понятій; 2) политическое единство, выразившееся въ римской монархіи; земная монархія послужила образцомъ небесной, т.-е. католической, церкви; 3) необычайно возросшій и облегченный всемірный торговый обмѣнъ и развитіе путей сообщенія; 4) сознаніе единства рода человѣческаго; 5) разложеніе и демократизацію стараго общества; 6) римскую религіозную политику, благодаря терпимости которой облегчался синкретизмъ, взаимное соприкосновеніе вѣрованій; 7) развитіе союзнаго начала въ корпораціяхъ, коммунахъ и провинціальныхъ организаціяхъ; 8) проникновеніе въ имперію сирійской и персидской религіи; 9) паденіе точныхъ наукъ вслѣдствіе демократизаціи общества, благодаря популяризаціонной работѣ, а также вслѣдствіе причинъ непонятныхъ, и возрастаніе одновременно съ упадкомъ науки религіозной философіи, ищущей откровеній и жаждущей чудесъ.

Въ этомъ перечисленіи, несомнѣнно, есть элементы, по времени предшествующіе христіанству, напр., распространеніе въ средиземно-морскихъ странихъ греческаго языка, фактъ установленія римскаго владычества и т. п. Но при ближайшемъ вниманіи вы замѣчаете, что историкъ ввелъ въ качествѣ предварительныхъ условій нѣкоторыя явленія, принадлежащія самому основному комплексу, возникновеніе котораго онъ хочетъ объяснить. Что такое, напр., развитіе кружковой жизни, развитіе союзнаго начала, какъ не перифразъ факта разрастанія христіанскихъ общинъ? Что такое демократизація общества, какъ не ссылка на фактъ соединенія въ христіанскихъ кружкахъ людей всякаго званія? Вѣдь ни въ чемъ другомъ демократизаціи не видно: общество Римской имперіи, напротивъ, готовитъ въ своей средѣ крѣпостной колонатъ; оно на верхахъ собралось въ послушной іерархіи около главнаго принцепса и окружило его божественнымъ авторитетомъ, и слѣдовательно о его демократизаціи въ цѣломъ не можетъ быть и рѣчи. Или, наконецъ, что такое „упадокъ науки и успѣхи религіозной философіи, требующей чудесъ и откровеній“? Вѣдь это и есть само христіанство, такъ же какъ упомянутый среди предшествующихъ условій синкретизмъ, смѣшеніе религіозныхъ вѣрованій разныхъ странъ и народныхъ группъ.

Легко узнать анализирующую, разъясняющую мысль, которая отвлекаетъ отъ большого комплекса признаки. Наблюдатель-историкъ имѣетъ передъ собою какъ бы группу возвышенностей, неправильныхъ, спутанныхъ, переплетенныхъ, и дѣлаетъ съ нихъ нѣсколько снимковъ, становясь попеременно на разныя точки зрѣнія.

Отсюда получаются различныя опредѣленія цѣлаго: демократизація общества, торжество кружкового, союзнаго начала, равномѣрность просвѣщенія, смѣшеніе вѣрованій и т. п. Но историкъ придаетъ, повидимому, другую цѣну своей работѣ; онъ принимаетъ свои снимки за отдѣльныя явленія и раздвигаетъ ихъ въ перспективу. Впереди у него какъ бы оставленъ нетронутымъ основной процессъ; изученныя явленія превращены въ условія, „помогавшія“ главному движенію.

Повторивъ анализъ за историкомъ, мы можемъ констатировать его теоретическую ошибку. Дѣло въ томъ, что за отнятіемъ такъ называемыхъ условій, или обстоятельствъ, облегчавшихъ ходъ вещей, у цѣлаго, у процесса основного не останется никакихъ признаковъ: онъ долженъ будетъ утратить всякую реальность. Получится почти то же самое, что въ исканіи знаменитаго Ding an sich (вещи въ себѣ) нѣмецкой философіи. Мы выясняемъ признаки, свойства, явленія, измѣненія чего-то, предполагая, что существо заключается въ этомъ что-то, въ „вещи въ себѣ“, независимо отъ наблюдаемыхъ частичныхъ преходящихъ явленій. Но если мы начнемъ серьезно откидывать одинъ за другимъ всѣ признаки, всѣ проявленія, то не останется и самой вещи; она окажется только воспоминаніемъ о томъ, что было предметомъ анализа, простымъ алгебраическимъ знакомъ. Мы вспомнимъ тогда, что реальностью и были только признаки свойства, явленія; бытіе какой-то неопредѣленной основы этихъ явленій, „бытіе въ себѣ“ окажется не болѣе какъ словеснымъ фокусомъ.

V.

Анализъ понятія основныхъ и производныхъ явленій.

Споръ матеріалистовъ и идеалистовъ о взаимоотношеніи историческихъ категорій.

Операціи расчлененія и называнія, производимыя надъ комплексомъ историческихъ явленій, заканчиваются большимъ общимъ построеніемъ, своеобразной композиціей цѣлаго, въ которой размѣщаются по опредѣленному порядку выдѣленные анализомъ элементы. Историкъ называетъ эти элементы причинами, условіями, моментами, факторами. Онъ группируетъ ихъ по извѣстнымъ типамъ въ твердыя *категоріи*. Чаще всего мы встрѣчаемся въ послѣднее время съ группировкой факторовъ по четыремъ категоріямъ: явленій *экономическихъ*, *соціальныхъ*, *политическихъ* и *культурныхъ*.

Но когда заходитъ рѣчь о взаимномъ соотношеніи факторовъ или даже объ очереди, въ которой они должны быть размѣщены, между историками обнаруживается жестокое разногласіе. Какъ извѣстно, на этой почвѣ происходятъ самыя рѣзкія схватки между направленіями матеріалистическимъ и идеалистическимъ.

Какого бы ни держаться мнѣнія относительно внутренней цѣнности матеріалистическаго истолкованія исторіи, но оно имѣетъ одно несомнѣнное преимущество предъ

своимъ противникомъ: оно даетъ всякій разъ одинаковое и послѣдовательное размѣщеніе историческихъ категорій, тогда какъ противоположный взглядъ колеблется въ этомъ отношеніи.

Здѣсь достаточно лишь кратко напомнить формулы матеріалистическаго истолкованія исторіи. Экономическій строй (иногда точнѣе — „условія производства“) разсматривается, какъ самая прочная группировка жизненныхъ отношеній и въ то же время, какъ первичная, основная, глубже другихъ лежащая форма всѣхъ образованій. Изъ экономическихъ условій прямо выводится группировка соціальная, или раздѣленіе классовъ въ связи съ ихъ отношеніемъ къ распредѣленію капитала и труда: классы—ни что иное, какъ группы, соединяющія въ своей средѣ одинаковые интересы. Въ государствѣ, составляющемъ вынужденный союзъ классовъ, отношенія устанавливаются соотвѣтственно силѣ классовъ, политическій порядокъ выстраивается въ качествѣ равнодѣйствующей этихъ силъ. Политическій строй есть нѣчто производное сравнительно съ экономической основой, „надстройка“. Наконецъ, культурныя отношенія, кругъ понятій общества, его вѣрованія, его научныя потребности, его художественные вкусы разсматриваются, какъ отраженіе сложившихся классовыхъ условій и отношеній. У каждой группы должна возникнуть своя идеологія: въ каждой данной матеріальной средѣ получаются въ результатѣ впечатлѣній и переживаній извѣстныя оцѣнки, надежды и расчеты, соединяющіеся въ теоріи и абстракціи.

Въ противоположность монистическому объясненію матеріалистовъ, сводящему къ одной линіи движенія всѣ

упомянутыя группы, выводящему ихъ другъ изъ друга, противники большею частью прибѣгаютъ къ дуализму: они разсматриваютъ идеи, культуру, какъ самостоятельный рядъ, не обусловленный вовсе матеріальными отношеніями, и развѣ только признаютъ въ идеяхъ способность отзываться, давать отголосокъ на явленія матеріальнаго порядка. Но между противниками матеріализма встрѣчаются, повидимому, своего рода монисты, такъ сказать, обратные, которые готовы выводить всю матеріальную жизнь общества изъ организующей роли идей.

Противники матеріализма выдвигаютъ еще одну возможность въ размѣщеніи историческихъ категорій. Они говорятъ, что каждая изъ упомянутыхъ выше группъ можетъ имѣть самостоятельную жизнь; между ними существуютъ лишь постоянныя соприкосновенія, взаимныя воздѣйствія; преобладающая роль можетъ переходить и въ извѣстные моменты принадлежать то одному, то другому ряду условій; всякій разъ преобладающему ряду подчиняются всѣ остальные. Такъ, напр., въ эпоху Римской имперіи экономическое и политическое развитіе остановилось для того, чтобы дать мѣсто развитію религіозной идеи; религіозная жизнь первенствуетъ надъ всѣми другими отношеніями и подчиняетъ себѣ условія соціальныя, экономическія и политическія. Другой примѣръ. Въ эпоху революцій, напримѣръ англійской, Великой французской на главномъ мѣстѣ политическій интересъ, политическое переустройство: эта цѣль—самодовлѣющая, поэтому другіе интересы или временно смолкаютъ, или приспособляются къ главной, наиболѣе интенсивно преслѣдуемой задачѣ.

Въ спорѣ между идеалистами и матеріалистами прокрадываются мотивы, посторонніе существу дѣла. Можетъ быть, послѣдняя полузатаенная основа многихъ возраженій идеалистовъ сводится на нѣкоторое настроеніе или чувство, и именно—чувство обиды за человѣка, будто бы слишкомъ низко оцѣненнаго въ матеріалистической теоріи. Въ возраженіяхъ сказывается вообще недовольство, вызванное слишкомъ откровеннымъ реалистическимъ тономъ, какимъ матеріалисты рѣшаются говорить объ этикѣ и религіи. Возражателямъ все кажется, что вскрытіе соціальныхъ мотивовъ, напр. въ религіозномъ движеніи, умаляетъ цѣну этого абсолютнаго блага человѣчества.

Разумѣется, мотивы сантиментальнаго свойства совершенно не интересны для насъ въ данную минуту. Намъ важно провѣрить тотъ и другой способъ истолкованія съ точки зрѣнія теоріи познанія. И тутъ надо сказать, что обѣ стороны,—и матеріалистическая философія исторіи, и ея противники—заключаютъ въ себѣ одинъ и тотъ же недостатокъ, обнаруживаютъ одну и ту же ошибку. Прежде чѣмъ разбирать эту ошибку, необходимо, однако, указать на существенное преимущество, которое матеріалистическая философія имѣетъ передъ своими противниками. Дѣло въ томъ, что въ монистическихъ толкованіяхъ матеріализма проводится понятіе единства жизненнаго процесса. Сколько бы мы ни признавали цѣльность, единство жизни, мы можемъ ее наблюдать и описывать лишь въ отдѣльныхъ проявленіяхъ или, иначе говоря, можно воспользоваться различными видами разрѣзовъ или вскрытій. Матеріалистъ ищетъ основаній идеологіи въ экономикѣ потому, что считаетъ

обѣ группы лишь разными манифестаціями одного и того же жизненнаго ряда, видитъ въ нихъ переводъ на разные языки описанія одного и того же процесса. Матеріализмъ стоитъ такимъ образомъ очень близко къ тому, чтобы выбросить интроекцію, т.-е. обходиться безъ понятія о посредствующей силѣ тамъ, гдѣ мы въ правѣ только констатировать послѣдовательность или одновременность явленій. Но матеріалисты все-таки не проводятъ разъ усвоеннаго метода до конца. Они забываютъ, что выводимыя на сцену такъ наз. историческія условія образуютъ лишь разные облики описываемаго или наблюдаемаго жизненнаго процесса, что экономика, политика, культура и т. д. составляютъ результаты или снимки съ произведенныхъ нами разрѣзовъ; матеріалистическое толкованіе обращаетъ ихъ въ сущности, въ твердыя единицы жизни, приставляя къ нимъ термины и атрибуты: prius—posterius, раньше—позже, основное—производное, фундаментъ—надстройка и т. д.

Идеализмъ, въ послѣднее время пытающійся вытѣснить матеріалистическую философію въ соціальныхъ наукахъ, нисколько не составляетъ шага впередъ въ смыслѣ критики понятій. Напротивъ, идеализмъ скорѣе ухудшаетъ дѣло, закрѣпляетъ ошибку своего предшественника: принимая безъ спора предложенныя матеріалистической философіей категоріи, идеалистическое толкованіе сохраняетъ ихъ въ качествѣ сущностей и прибавляетъ къ нимъ лишь другіе атрибуты, видоизмѣняетъ ихъ оцѣнку, переставляетъ обозначенія „первоначальный“, „производный“ и т. д.

Характеръ историческихъ категорій.

Необходимо присмотрѣться ближе къ характеру обычныхъ историческихъ категорій. Прежде всего мы замѣ-

тимъ ихъ нетвердость и колеблемость. При всякой попыткѣ опредѣлить точно границы ихъ и найти линіи, гдѣ онѣ взаимно соприкасаются, мы неизбѣжно должны потерпѣть неудачу. Можно ли, напр., найти ту черту, которая отдѣляетъ группировку экономическую отъ соціальной и показать, какъ и гдѣ одна переходитъ въ другую? Развѣ распредѣленіе богатствъ, раздѣленіе производственныхъ, профессіональныхъ функцій, т.-е. то, что мы называемъ экономическимъ строемъ, не растворяется, не смѣшивается въ другой группировкѣ, которую мы называемъ соціальнымъ строеніемъ? Развѣ не на тѣхъ же самыхъ признакахъ основано дѣленіе на классы, при чемъ мы только пользуемся другими наименованіями и прибавляемъ нѣкоторыя дополнительныя наблюденія?

Въ какой мѣрѣ здѣсь граница неясна, можно судить по тому, что мы очень часто употребляемъ смѣшанный терминъ: мы говоримъ слитно: „соціально-экономическія условія“ и, однако, разумѣемъ нѣчто цѣльное. И у насъ въ распоряженіи цѣлый рядъ такихъ смѣшанныхъ терминовъ: экономическая политика, религіозная политика, соціально-религіозное движеніе, соціально-политическія идеи и т. п.

Что они показываютъ? Если мы съ такою легкостью составляемъ новыя группы при описаніи дѣйствительности, то, очевидно, мы не имѣемъ передъ собою заранѣе даннаго отчетливаго раздѣленія явленій по категоріямъ экономики, политики, соціальной структуры и т. д. Мы сами дѣлаемъ разрѣзъ дѣйствительности, руководясь извѣстными, напередъ намѣченными признаками, установивъ себѣ критерій и единицу мѣры для

подбора явленій. Отъ насъ зависитъ сузить или расширить количество признаковъ, которые мы будемъ принимать во вниманіе при описаніи. Отъ насъ зависитъ составить изъ нихъ ту или другую комбинацію.

Разрѣзъ всякій разъ пройдетъ иначе, но онъ все равно можетъ быть проведенъ черезъ всю дѣйствительность. Оттого наши категоріи, т.-е. формулировки разрѣзовъ въ одно и то же время и неопредѣленны, не имѣютъ ясныхъ очертаній, и широки, всеобъемлющи. Извѣстная формула матеріалистическаго истолкованія исторіи, настаивающая на томъ, что экономическія условія образуютъ основу всей соціальной и культурной жизни, въ своемъ родѣ безукоризненно вѣрна, но она вѣрна лишь какъ описаніе дѣйствительности по разъ намѣченному плану. Въ самомъ дѣлѣ, что только не подходитъ подъ опредѣленіе экономическихъ условій?

Сюда относится удовлетвореніе всѣхъ потребностей физической жизни людей, поддержаніе человѣческаго существованія, приспособленіе человѣка къ природѣ, а слѣдовательно и всѣ частности этого приспособленія: отборъ тѣхъ предметовъ органической и неорганической природы, которые нужны человѣку, техника производства, организація мускульной силы, примѣненіе машинъ, руководительство науки и изобрѣтенія, всѣ взаимныя сношенія людей, необходимыя для производства богатствъ, т.-е. для конечнаго удовлетворенія потребностей, всѣ сношенія, которыя связаны съ распредѣленіемъ богатствъ, вся работа научнаго изслѣдованія, заключающая постоянный и все болѣе углубляющійся пересмотръ средствъ и силъ природы, окружающей человѣка, и природы самого человѣка, вся работа искусства, пред-

ставляющая высшій цвѣтъ индустріальной энергіи человѣка. Нѣтъ ни одного угла человѣческой жизни, включая сюда и ту аудиторію, гдѣ мы сидимъ, и происходящую въ ней работу, нѣтъ ни одной функціи человѣческой дѣятельности, которая бы не входила въ *кругъ экономическихъ или матеріальныхъ отношеній* и которую нельзя было бы разсматривать съ экономической точки зрѣнія.

Но совершенно то же самое можно сказать о другой категоріи, которую матеріализмъ поставилъ на противоположный край описанія жизни,—на сторону, противолежащую экономикѣ: съ такимъ же правомъ, какъ мы говоримъ, что экономика проникаетъ всю жизнь, можно сказать, что идеологія, т.-е. религія, право, наука, искусство, составляетъ всю жизнь. Въ самомъ дѣлѣ, всѣ отношенія можно разсматривать, какъ *идейныя переживанія*. Всякое явленіе хозяйства или политики не только можетъ быть формулировано послѣ въ сознаніи, но и само по себѣ оно существуетъ лишь, поскольку усваивается или переживается сознаніемъ людей. И жажда богатства, и борьба изъ-за него, и горе нищеты, и энергія работы получаютъ ясныя очертанія, только будучи восприняты человѣческимъ сознаніемъ. Жизнь есть переживаніе реальныхъ отношеній въ идеяхъ.

Выводъ отсюда ясенъ. Напрасно мы будемъ стараться отыскивать точныя границы отношеній экономическихъ, политическихъ, религіозныхъ и т. д. Возможны лишь различные разрѣзы и соотвѣтственныя описанія жизненнаго процесса, описаніе съ выдѣленіемъ экономическихъ признаковъ, описаніе смѣны вѣрованій и представленій и т. д. Но мы должны остеречься, чтобы

не принять очередь нашихъ описаній за очередь явленій дѣйствительности. Какое-нибудь крупное измѣненіе исторической жизни, напр., колонизацію, революцію, индустріальный переворотъ, немыслимо схватить въ одномъ очеркѣ; мы вынуждены дать нѣсколько очерковъ и для этого воспользоваться разными терминологическими группами, перевести явленія, такъ сказать, на различные языки. Но въ этой смѣнѣ нѣсколькихъ описаній нѣтъ отказа отъ пониманія даннаго комплекса явленій, какъ одной цѣльной группы жизни.

По временамъ мы очень реально чувствуемъ цѣльность жизненныхъ отношеній, ихъ нераздѣлимость. Напр., отсутствіе политическихъ правъ у рабочаго класса почти неотдѣлимо отъ его экономической слабости, отсталости или неорганизованности. Нельзя не видѣть, обратно, что политическое освобожденіе Франціи въ эпоху первой революціи было въ то же самое время крупнымъ подъемомъ промышленной энергіи, было индустріальнымъ переворотомъ. Въ эпохи политической реакціи разгромъ страны, производимый администраціей, такъ близко совпадаетъ съ экономическимъ разореніемъ, со слабостью промышленной инициативы общества, что эти двѣ группы при описаніи почти невозможно раздѣлить.

Обычный пріемъ сопоставленія хозяйства и права.

Но, можетъ быть, все-таки есть основаніе раздѣлять группы явленій, относящихся къ извѣстному комплексу, на первоначальныя и производныя? Можетъ быть, права матеріалистическая философія, называя экономику основой, а политику и право—надстройкой, въ томъ смыслѣ, что однѣ стороны жизни раньше обнаруживаются, раньше получаютъ опредѣленныя очертанія, а другія—позже и какъ бы приспособляясь къ первымъ?

Не ясно ли въ самомъ дѣлѣ, что *хозяйство* въ качествѣ сырой матеріи предшествуетъ *праву*, которое составляетъ позднѣе возникающую отчетливую форму? Въ теченіе долгаго періода слагаются извѣстные пріемы пользованія силами внѣшней природы, происходитъ накопленіе богатствъ, опредѣляется бытъ обладателей капитала и рабочихъ и т. д. И лишь на значительномъ разстояніи отъ этихъ явленій слагается группа дѣйствующихъ правилъ, регулирующихъ реальныя отношенія; они получаются въ сознаніи, какъ результатъ измѣненій, которыя вноситъ жизнь или подъ вліяніемъ внутренней работы передумыванія надъ этими измѣненіями. Такимъ образомъ, факты права какъ бы являются позднѣйшими въ сравненіи съ соотвѣтствующими фактами хозяйства.

Однако является сильное опасеніе, не становимся ли мы жертвой оптическаго обмана, который получается вслѣдствіе пріемовъ нашей собственной композиціи? Нетрудно замѣтить, что обычная картина хозяйственной жизни и обычная формулировка правовыхъ отношеній получается совершенно различнымъ способомъ. Когда право опредѣляется, какъ продуктъ сложной, долго развивавшейся мысли, то думаютъ всегда о памятникахъ права, кодексахъ, законоположеніяхъ или ученыхъ комментаріяхъ, имѣютъ въ виду дѣйствительно переработанныя, отшлифованныя въ извѣстномъ смыслѣ художественныя или научныя произведенія, составленныя на своеобразномъ искусственномъ языкѣ, пестрящемъ архаизмомъ и философскими благозвучіями. По сложности, по отдаленности отъ жизни эти памятники права можно сопоставлять только съ очень учеными эконо-

мическими картинами, которыя были бы написаны также изъ очень далекой отъ фактовъ перспективы. Но мы обыкновенно такими поздними сложными экономическими картинами не располагаемъ. Когда мы хотимъ изобразить экономическую жизнь, мы должны сами составить нѣчто цѣлое изъ разрозненныхъ частностей, изъ индивидуальныхъ черточекъ и мелкихъ соотношеній разныхъ мѣстностей и разныхъ временъ.

Работа идетъ въ томъ и другомъ случаѣ по совершенно различному методу. Мы привыкли изображать движеніе права и вообще политическую жизнь *по типу событій*, т.-е. стеченія яркихъ моментовъ. Насъ ведетъ къ этому типу изображенія, до извѣстной степени соблазняетъ въ этомъ смыслѣ самый матеріалъ: вѣдь тутъ мы имѣемъ акты, законы, резолюціи, перевороты, программы, воззванія, выступленія партій, торжественныя, обдуманныя, отложившіяся формулы. Экономическую жизнь мы, напротивъ, склонны изображать *по типу состояній*, т.-е. длительныхъ, повторяющихся, разрозненныхъ, въ отдѣльности мало замѣтныхъ соотношеній. Факты здѣсь не выступаютъ отчетливо, сразу: ихъ составныя доли раздвинуты во времени; и только въ лабораторіи ученаго онѣ встрѣчаются вмѣстѣ, образуютъ сложный комплексъ.

События, законченные документы, яркія манифестаціи правового и партійнаго творчества будутъ казаться позже совершившимися, чѣмъ состоянія, чѣмъ отмѣченныя лишь рукою ученаго собирателя повторяющіяся экономическія соотношенія. Но что изъ этого слѣдуетъ для общаго, для философскаго заключенія о послѣдовательности, о связи явленій? Ничего. Потому что нельзя

сопоставлять въ качествѣ реальностей двѣ наши композиціи, да еще сработанныя по разному плану.

Ошибочность обычнаго сопоставленія хозяйства и права.

Для того, чтобы дѣлать общія заключенія, мы должны разсматривать совмѣстно явленія и отношенія, дѣйствительно соотвѣтствующія другъ другу, т.-е. прежде всего брать то, что совпадаетъ по времени. Можно всякое хозяйственное явленіе разсматривать, какъ явленіе права. Напр., распредѣленіе богатства въ такую-то эпоху и въ такой-то средѣ происходитъ по такому-то типу, въ такихъ-то пропорціяхъ, при такихъ-то соображеніяхъ выгоды со стороны участниковъ распредѣленія, при условіяхъ такихъ-то взаимныхъ уступокъ, съ такими-то ссылками на обычаи, традицію. Мы дали экономическому явленію юридическую формулировку. Допустимъ дальше, что образуется общественная сила, организація, которая добивается другого распредѣленія богатствъ. Эта организація можетъ погибнуть, но она можетъ также добиться полной побѣды или компромисса, напримѣръ, установленія коллективной собственности на промышленныя предпріятія. Законодательная санкція явится гораздо позже, если она вообще явится, а между тѣмъ организація не только боролась за извѣстныя новыя неосуществленныя права, но она стояла на почвѣ положеній, которыя считала правильными, справедливыми, само ея существованіе было фактомъ новаго права. Мы и этому экономическому явленію можемъ дать юридическую формулировку.

При такомъ сопоставленіи экономики и права мы изучаемъ вещи, соотвѣтствующія другъ другу; мы даемъ два послѣдовательныхъ описанія опредѣленной дѣйствующей среды.

Въ томъ же смыслѣ возможно сопоставленіе, напр., религіи, культа, вѣрованій съ одной стороны, и хозяйственной жизни—съ другой. Вотъ рядъ историческихъ примѣровъ для явленія религіозной централизаціи: сосредоточіе іудейскаго міра около Іерусалима, мусульманскаго—около Мекки, христіанскаго—вокругъ Рима. Централизація выражается въ объявленіи обязательнаго единобожія и въ признаніи особой святости избраннаго города и, слѣдовательно, особыхъ преимуществъ происходящаго въ немъ культа, что можетъ обратиться въ исключительное право центра владѣть единственнымъ храмомъ и получать всѣ жертвы, какъ это было съ Іерусалимомъ въ теченіе 5 вѣковъ, до его паденія въ 70 году по Р. Х. Затѣмъ централизація выражается въ исключительномъ авторитетѣ іерархической корпораціи, находящейся въ главномъ священномъ пунктѣ, вяжущей и разрѣшающей споры, открывающей пропускъ въ другой міръ и распредѣляющей вѣчныя блага.

Въ центральный священный пунктъ приливаетъ постоянно масса людей; идутъ богомольцы, чтобы лицезрѣть святыя мѣста, принести жертву или отдать свое дареніе божеству; идутъ получить прощеніе грѣховъ, иногда съ затаенной надеждой умереть прощенными на святой землѣ и прямо попасть въ рай; идутъ и ѣдутъ многочисленные просители, жалобщики, истцы и отвѣтчики въ судъ, къ канцелярію, въ административныя бюро центральной духовной власти.

Одновременно приливаютъ массами богатства и суммы денегъ. Ихъ приносятъ въ центръ и проживаютъ богомольцы, ихъ отдаютъ или пересылаютъ за исполненіе

дѣлъ просители, ихъ жертвуютъ на святыни, на церкви или на единственный храмъ центра, ихъ безъ остатка растрачиваютъ въ большихъ празднествахъ и жертвахъ, на богатую обстановку блестящихъ іерарховъ, или ихъ складываютъ въ запасы на храненіе и пускаютъ путемъ отдачи подъ заемъ въ новый оборотъ. Получается громадное скопленіе капитала, широкій обмѣнъ, большая кредитная система, крупнѣйшая организація хозяйственнаго управленія. Центръ, помимо собственнаго повышеннаго потребленія, можетъ выполнять большія организованныя предпріятія, требующія приложенія финансовъ: папы устраивали крестовые походы; на средства мекканской Каабы, управляемой храмовой аристократіей, начаты были большія завоеванія арабовъ; большія богатства іерусалимскаго храма сдѣлали возможнымъ упорное возстаніе въ Іудеѣ, продержавшееся такъ долго въ маленькой странѣ противъ подавляющей военной силы Рима.

Каковъ порядокъ возникновенія этихъ явленій? Экономическое ли сосредоточеніе обусловило религіозную централизацію или обратно? Едва ли можно отвѣтить на этотъ вопросъ. Наше затрудненіе не устранится, если мы поставимъ вопросъ менѣе притязательно: что раньше началось—признаніе ли святости извѣстнаго центра, возрастаніе его авторитета, признаніе величія такой-то мѣстной святыни, дѣлающейся всемірной, или притокъ въ этотъ центръ людей и капиталовъ, подъемъ его экономической мощи? Мы явно чувствуемъ, что имѣемъ дѣло съ явленіями, одновременно подвигающимися, вѣрнѣе встрѣчаемся съ однимъ и тѣмъ же явленіемъ, выраженнымъ двумя разными способами.

Однако, отбросивши прежнюю постановку вопроса, мы вовсе не сдѣлали шага назадъ въ истолкованіи явленій. Мы лишь получили другой результатъ и вмѣстѣ съ тѣмъ возможность поправить постановку вопроса. Результатъ параллельнаго изученія рядовъ, которые мы назвали экономической жизнью, религіозной, правовой и т. д., состоитъ въ томъ, что мы можемъ установить между ними соотвѣтствіе моментовъ, узнать каждое явленіе вновь и нѣсколько разъ въ различныхъ формулировкахъ. Первоначальная постановка вопроса заключалась въ выясненіи основныхъ и производныхъ элементовъ, при чемъ основнымъ или производнымъ предполагался цѣлый рядъ, напр.: право старались вывести изъ хозяйства. Поправка заключается въ томъ, что мы будемъ искать по разнымъ рядамъ взаимно отвѣчающіе другъ другу моменты. Экономика не можетъ быть причиной права, или религія—слѣдствіемъ политики. Въ каждомъ ряду есть своя цѣпь взаимно обусловленныхъ моментовъ, и изъ одного ряда также нельзя выводить другой, какъ явленія свѣта, напр., молніи, нельзя выводить изъ явленій звука, грома, какъ форму тѣла или его объемъ нельзя считать результатомъ такого или иного освѣщенія и т. д. Изученіе цѣпи явленій въ каждомъ отдѣльномъ ряду есть слѣдованіе разъ принятому разрѣзу дѣйствительности. Но при истолкованіи какого-либо явленія въ цѣломъ необходимо прослѣдить его, такъ сказать, горизонтально черезъ всѣ ряды, найти всѣ его формулы.

Необходимая поправка при сопоставленіи историческихъ категорій.

Эта постановка вопроса о взаимной связи явленій казалось бы одинаково далеко отводитъ насъ отъ идеализма и отъ матеріализма, въ свою очередь одинаково

Требованія конкретно историческаго описанія.

склонныхъ принимать разрѣзы дѣйствительности за сущности, за твердыя реальныя категоріи. Однако слѣдуетъ признать, что въ извѣстныхъ отношеніяхъ матеріалистическое толкованіе ближе удовлетворяетъ нашему методологическому запросу. Остановимся на этихъ преимуществахъ матеріалистическаго толкованія.

Научно-историческая задача состоитъ во *всесторонемъ описаніи явленій*. Описаніе распадается на нѣсколько очерковъ. Есть извѣстный смыслъ въ избраніи опредѣленнаго порядка, которому будутъ слѣдовать наши очерки. Историческій матеріализмъ предлагаетъ намъ такой опредѣленный порядокъ, и трудно спорить противъ того, что этотъ порядокъ наиболѣе удобный и естественный. Историческое описаніе такъ же, какъ этнографическое, естественно начнетъ съ явленій, наиболѣе осязательныхъ, съ характеристики территоріи, перечисленія и изображенія того, что даетъ человѣку внѣшняя природа, его работы надъ ея продуктами, его жилищныхъ условій, его пріемовъ дѣлать запасы и пускать въ оборотъ излишки. И вотъ уже съ неизбѣжностью мы подошли къ вопросу о классахъ. Раздѣленіе на имущественные классы, видъ рабочихъ и хозяевъ, подчиненныхъ и господъ, ихъ жилищъ и обихода, это—такая же рѣзко бросающаяся въ глаза черта, какъ расовыя, климатическія и геологическія условія. Это тоже нагляднѣйшій элементарный фактъ, который такъ же, какъ географическія условія, немыслимо обойти въ самомъ началѣ описанія.

Безъ сомнѣнія, можно было бы начать описаніе также изображеніемъ политическихъ порядковъ. Положимъ, описаніе начинается съ того, что въ странѣ двѣ

палаты, при чемъ одна состоитъ изъ наслѣдственныхъ членовъ, преимущественно крупныхъ землевладѣльцевъ, другая—изъ депутатовъ преимущественно изъ городского населенія; въ странѣ большая свобода слова и печати; нѣтъ постояннаго войска, но есть большой флотъ. Пользуясь аналогіями, вы догадываетесь, что это островное государство, или, если оно составляетъ часть материка, то хорошо защищено съ суши; догадываетесь, что оно носитъ на себѣ слѣды сильной концентраціи земли въ немногихъ рукахъ, но что рядомъ съ крупными землевладѣльцами образовался могущественный торговый и индустріальный классъ, что соперничество между ними могло обезпечить условія свободы слова и свободы собраній и т. д. Но всѣ эти опредѣленія носятъ характеръ предварительныхъ и приблизительныхъ догадокъ. Въ цѣломъ рядѣ частностей, выслушивая политическое описаніе, вы нетерпѣливо готовы предупредить ходъ изложенія и задать вопросъ такого рода: кто эти городскіе избиратели съ такимъ-то цензомъ, какая ихъ профессія, на какія имущественныя градаціи они распадаются? Или вы остановитесь на странномъ противорѣчіи существованія палаты наслѣдственныхъ представителей и наличности почти всеобщаго избирательнаго права, и вы будете искать объясненія въ положеніи мелкихъ избирателей; вы спросите объ ихъ отношеніи къ землѣ, кто они—владѣльцы или арендаторы, и притомъ какіе—первичные или вторичные, или они рабочіе? Въ какой мѣрѣ сельскіе рабочіе связаны съ опредѣленными деревнями или представляютъ отхожій промыселъ, организованы ли они въ союзы или нѣтъ и т. д.? Т.-е., иными словами, вы будете

задавать вопросы изъ области экономическаго строенія, или вопросы, относящіеся къ разрѣзу экономическаго описанія. Вы будете упреждать изложеніе политическаго разрѣза, такъ какъ оно будетъ казаться неяснымъ, преждевременнымъ, вы будете невольно чувствовать тяготѣніе къ очертаніямъ болѣе элементарнымъ, къ тому, чтобы узнать раньше наглядное. Здѣсь указаніе на какой-то естественный порядокъ, котораго требуетъ наша познавательная привычка.

Позднее выступленіе конкретно-историческаго направленія.

Если матеріалистическая философія ведетъ историческое описаніе именно по типу этого порядка, то она удовлетворяетъ важную потребность современнаго научнаго познанія, именно потребность реалистической наглядности. При этомъ естественно возникаетъ вопросъ: почему экономическое истолкованіе историческихъ явленій, имѣющее такое важное техническое преимущество, составляетъ столь позднюю черту въ развитіи исторической науки? Почему оно стало привлекать общее вниманіе чуть ли не всего только во второй половинѣ XIX вѣка? Нерѣдко объясняли появленіе экономизма въ исторической наукѣ тѣмъ, что хозяйственная жизнь въ послѣднее время въ Европѣ и Америкѣ приняла колоссальные размѣры; благодаря этому, характеръ борьбы за существованіе сталъ такъ интенсивенъ, что экономическіе интересы заполнили современную общественную мысль, а вмѣстѣ съ нею и историческія истолкованія. Подобное объясненіе весьма легкомысленно, тѣмъ болѣе, что здѣсь терминъ „экономическій“ стоитъ вмѣсто „капиталистическій“. Вопросы матеріальной жизни, тягости, соединенныя съ матеріальными лишеніями, жажда богатства, зависимость вѣса человѣка въ обществѣ отъ

его матеріальнаго положенія, экономическое соперничество и т. п., разумѣется, во всѣ времена имѣли одинаковую силу и значеніе и одинаково занимали мысль и воображеніе. Различна не степень интенсивности экономической жизни въ разныя времена, а форма этой жизни.

Поэтому болѣе серьезное объясненіе факта возникновенія историческаго матеріализма указываетъ на специфическій характеръ новѣйшей экономической жизни, на концентрацію капитала въ индустріальныхъ предпріятіяхъ, на зависимость огромнаго количества рабочихъ отъ „всемірныхъ“ или международныхъ конъюнктуръ и на небывалую организованность индустріальныхъ рабочихъ. Вотъ, говорятъ намъ, тѣ особенныя явленія, которыя вызвали къ жизни философію историческаго матеріализма, Эту связь фактовъ и построенія мысли пытались формулировать еще точнѣе: матеріалистическое истолкованіе исторіи составляетъ естественную философію индустріальнаго рабочаго класса, какъ наиболѣе сознательной корпоративной группы современности, какъ такой организаціи, которая наиболѣе систематически ведетъ экономическую борьбу. Эта формула ближе подходитъ къ опредѣленію тѣхъ характерныхъ условій новѣйшаго времени, которыя вызвали къ жизни матеріалистическую теорію.

Но, можетъ быть, здѣсь есть нѣкоторое преувеличеніе? Можетъ быть, напрасно приписывать сознательность, позволяющую дать стройное истолкованіе явленій, одной опредѣленной соціальной группѣ, одному классу? Несомнѣнно, что представители капитализма, напримѣръ въ Америкѣ, ведутъ экономическую кампанію съ неменьшей интенсивностью и системой, чѣмъ рабочія груп-

ны, и если степень отчетливости теоріи зависитъ отъ сознательности практическихъ усилій, то группа капиталистовъ, вѣроятно, не уступитъ своимъ противникамъ въ способности усвоить матеріалистическую философію. Да въ сущности, обращаясь къ предшественникамъ историческаго матеріализма и отыскивая начало экономическаго истолкованія исторіи, мы должны признать, что соотвѣтствующія теоріи раньше возникли въ средѣ представителей капитализма. Съ большимъ основаніемъ, во всякомъ случаѣ мы могли бы считать предшественниками историческаго матеріализма Ад. Смита и нѣкоторыхъ реакціонеровъ начала XIX вѣка.

Съ другой стороны, мы могли бы сказать, что если индустріальные рабочіе имѣютъ склонность къ идеямъ историческаго матеріализма, то не въ качествѣ людей опредѣленнаго класса, а въ качествѣ современныхъ интеллектуально развитыхъ людей, безразлично какого класса.

Въ виду всего этого было бы правильнѣе искать объясненія успѣховъ историчсскаго матеріализма въ общей наклонности современнаго человѣка къ опредѣленному способу построенія соціально-историческихъ фактовъ, который удовлетворяетъ потребности реалистической наглядности. Эта черта выступаетъ особенно рѣзко по сравненію съ историческими построеніями предшествующаго времени, которыя можно назвать *символико-схематичными* по преимуществу.

Освобожденіе науки отъ стараго символизма.

Конечно, противопоставлять современное историческое познаніе въ качествѣ реалистическаго прежнему, какъ символическому, можно лишь условно. Въ современномъ познаніи остаются элементы символизма, и въ теоріяхъ

прошлаго находили себѣ мѣсто реалистическія задачи. Точнѣе было бы сказать, что элементъ символизма очень силенъ вначалѣ и замѣняется все болѣе реалистической тенденціей. Въ историческомъ познаніи замѣчается приблизительно то же, что въ эволюціи искусства. Глазъ художника въ старину воспринимаетъ дѣйствительность сквозь какую-то схему, сѣть, рамку: человѣкъ, звѣрь, птица, корабль и т. д. усваиваются и воспроизводятся примѣнительно къ какому-то условному идеальному чертежу. Такой же сѣтью, такимъ же условнымъ чертежомъ являются въ истолкованіи историческихъ явленій рамки четырехъ всемірныхъ монархій, или градаціи возрастныхъ ступеней, проходимыхъ человѣчествомъ, или схема волнообразнаго движенія въ развитіи личности и общества со смѣной органическихъ и критическихъ эпохъ. Факты разставляются примѣнительно къ чертежамъ, они, можно сказать, видны постольку и тамъ, гдѣ они легли на линію условнаго символа. Символизмъ, господствующій въ старыхъ концепціяхъ, постепенно слабѣетъ. Легко замѣтить, что схема органическихъ и критическихъ эпохъ менѣе принудительна, не въ такой мѣрѣ символически груба, какъ теорія четырехъ монархій, и даетъ гораздо больше мѣста реалистическому разнообразію.

Постепенно происходитъ послѣдовательное освобожденіе отъ слишкомъ рѣзкихъ и простыхъ символовъ, переходъ къ болѣе тонкимъ и сложнымъ, лучше улавливающимъ оттѣнки и детали дѣйствительности. Соотвѣтственно этой перемѣнѣ каждое новое поколѣніе историковъ предъявляло предшествовавшему упрекъ въ схематизмѣ, въ приверженности къ условному рисунку. Почти всякій разъ новое поколѣніе объявляло себя натуралистиче-

скимъ, возвѣщало задачу изученія дѣйствительности, какъ она есть, внѣ всякой символизаціи.

Особенно отчетливо протестуетъ противъ отвлеченной символики историковъ XVIII вѣка Огюстенъ Тьерри въ 20-хъ гг. XIX вѣка. Прежніе историки, по его мнѣнію, не имѣли чутья къ великимъ соціальнымъ трансформаціямъ прошлаго. Для нихъ существовали только рубрики монархіи и республики; факты исторіи Франціи распредѣлялись по однообразной линіи развитія и усиленія монархическаго начала. Но развѣ можно безразлично употреблять, напр., терминъ „король“ для всѣхъ эпохъ? Надо же различать совершенно особый соціальный характеръ древне-германскаго king'a, вождя племени или дружины, отъ очень на него непохожаго геу, короля-капитана военнаго общества, рыцарскаго главы „касты побѣдителей“; и, наконецъ, надо отличать непохожаго на нихъ обоихъ новаго короля, представителя буржуазной индустріи, цѣпкаго, дѣятельнаго, не склоннаго къ пышности, типомъ котораго служитъ Людовикъ XI. И Тьерри ревностно принимается за конкретизацію исторіи, онъ старается выдѣлить въ учрежденіяхъ, въ событіяхъ, въ дѣятеляхъ прошлаго своеобразности, принесенныя расой, профессіей, соціальнымъ положеніемъ, привычками работы и т. п. У Тьерри мы находимъ также ясно и отчетливо выраженную формулу борьбы классовъ, какъ главнаго содержанія историческаго процесса.

Въ различныхъ смыслахъ мы и можемъ считать Тьерри и историковъ его направленія предшественниками историческаго матеріализма. И прежде всего въ смыслѣ стремленія къ конкретизаціи исторіи, въ смыслѣ под-

становки къ отвлеченнымъ терминамъ реальнаго комментарія.

Новое истолкованіе эпохи Возрожденія.

Въ видѣ примѣра, чтобы показать, какъ далеко уводитъ насъ такой комментарій отъ прежнихъ формулъ, припомнимъ способы изученія итальянскаго Возрожденія. Старое опредѣленіе этой эпохи хорошо извѣстно. Оно утверждало, что въ это время человѣческій разумъ и чувство вышли на свободу, что началось торжество индивидуализма, вырвавшагося изъ тисковъ авторитета, произошло пробужденіе личности, раньше утопавшей въ стихійномъ цѣломъ, и т. п. На вопросъ о томъ, какова же была почва, какія условія Возрожденія—историки поколѣнія предшествующаго указали бы на мракъ средневѣковья, аскетизмъ и пригнетеніе мысли догмой, на ростъ сознанія личности, на ея протестъ, сослались бы, въ духѣ діалектической антитезы Гегеля, на рожденіе свѣта изъ тьмы и свободы изъ деспотизма. Помимо такой разстановки чисто-символическихъ понятій и терминовъ, они сказали бы, въ качествѣ реальнаго добавленія, что Возрожденіе началось въ Италіи потому, что эта страна болѣе другихъ сохранила остатковъ античной культуры и, кромѣ того, раньше другихъ выдвинула городскую жизнь, болѣе свободную, чѣмъ жизнь феодальныхъ замковъ.

Подобная постановка въ изученіи итальянскаго Возрожденія XIV и XV вв. для насъ теперь совершенно невозможна. Мы не можемъ говорить о гуманистическомъ міровоззрѣніи вообще, включающемъ мораль, политику, философію, религію; не можемъ представить себѣ гуманиста вообще или человѣка Возрожденія вообще въ качествѣ энциклопедическаго многограннаго индивидуа-

листа, въ видѣ существа и мысли, внѣ пространства и времени. Мы стараемся, прежде всего, выяснить обстановку, въ которой дѣйствуютъ писатели, ораторы, проповѣдники, археологи, художники, любители древности,— весь этотъ разнообразный составъ людей, которыхъ принято называть гуманистами. Мы спрашиваемъ: какіе общественные слои выдвигаютъ новыя потребности просвѣщенія, вырабатываютъ новые вкусы? Для кого такое множество художниковъ пишетъ картины? Кто читаетъ звучные лирическіе стихи на родномъ итальянскомъ языкѣ и рядомъ съ ними высоко цѣнитъ пышную прозу на мертвомъ литературномъ языкѣ Цицерона? И намъ приходится выяснять богатую среду купцовъ, ведущихъ широкія международныя сношенія, банкировъ, служащихъ посредниками папской финансовой системы въ Европѣ съ крупными конторами, большимъ письмоводствомъ. Мы должны представить себѣ ихъ новые просторные дома-салоны съ живописнымъ убранствомъ, постройку въ городѣ новыхъ свѣтлыхъ и просторныхъ церквей, расписанныхъ на средства тѣхъ же патроновъ, мы должны представить себѣ скупку тѣми же дѣловыми людьми тѣсныхъ и угрюмыхъ феодальныхъ замковъ и перестройку ихъ въ болѣе интимныя виллы, окруженныя красивыми садами, куда начинаютъ спасаться достаточные горожане, убѣгая отъ дѣловой, коммерческой, биржевой, фабричной сутолоки центра. При этомъ практичный новый хозяинъ округляетъ владѣніе на счетъ бывшихъ крѣпостныхъ рыцаря, переводитъ повинности крестьянъ на деньги, этимъ способомъ освобождаетъ ихъ и создаетъ земельную ренту, новый видъ дохода, вовсе не пустяковый, хотя бы и въ сравненіи съ дивидендомъ

операцій по дѣламъ папской куріи. Мы должны представить себѣ правительство изъ этихъ магнатовъ, при которомъ состоитъ обширная канцелярія, впервые организующая въ Европѣ правильную дипломатическую переписку. Политика встрѣчается здѣсь съ искусствомъ, съ литературой; венеціанскіе посольскіе доклады, съ ихъ художественной детальностью въ описаніяхъ и характеристикахъ, несомнѣнно, должны быть причислены къ выдающимся произведеніямъ гуманистической литературы. На службѣ у тѣхъ же „великолѣпныхъ“ principi, какъ любили титуловать себя тогдашніе милліонеры, состоятъ мастера политическаго восхваленія и обличенія, первая систематическая организація публицистки, тогда какъ раньше и въ другихъ странахъ публицисты выступали спорадически, порывами при какихъ-нибудь особенно рѣзкихъ конфликтахъ между королями и папой.

Въ данную минуту достаточно бѣгло намѣтить нѣкоторые реальные моменты, чтобы иллюстрировать характеръ нашихъ поисковъ, когда мы приступаемъ къ истолкованію культурно-историческаго явленія. Только съ установленіемъ этихъ реальныхъ моментовъ, только при условіи такой конкретизаціи является возможность разобраться въ перспективѣ самого идейнаго движенія, отдѣлить въ немъ общее и главное отъ случайнаго и детальнаго. Между прочимъ, въ увлеченіи пышной и красивой рѣчью, въ выработкѣ чрезмѣрно чистаго стиля, въ культѣ краснорѣчія эпохи Возрожденія видѣли особое преклоненіе передъ человѣческой личностью; сопоставляли эту черту съ необыкновеннымъ славолюбіемъ писателей-гуманистовъ, и тогда получался какой-то небывалый ни раньше, ни позже подъемъ личнаго само-

сознанія. Выяснивъ обстановку, мы очень многое, если не все, въ литературной манерѣ и манерности Возрожденія должны отнести на счетъ новой служебной, дипломатической и публицистической техники; мастерство слова, виртуозы слова являются продуктами, орудіями и выраженіями болѣе широкой публичности.

Сопоставляя старые и новые пріемы историческаго истолкованія, мы замѣчаемъ разницу въ смыслѣ увеличенія, усиленія запроса на реализмъ, на конкретизацію историческихъ явленій. Направленіе историческаго матеріализма является цѣннымъ, поскольку даетъ выходъ этому запросу и поскольку рубриками и разрѣзами своего метода содѣйствуетъ конкретизаціи исторіи. Въ настоящее время, по крайней мѣрѣ, оно болѣе всѣхъ другихъ направленій служитъ задачамъ историческаго реализма.

VI.

Активные и пассивные элементы культуры. Анализъ ученія о роли личности въ исторіи.

Предшествующій анализъ привелъ къ тому заключенію, что категоріи экономической жизни, политической, соціальной, религіозной и т. д. образуютъ очень важныя и удобныя для насъ группы описаній, ряды снимковъ, подобранныхъ по одинаковымъ признакамъ; но эти наши разрѣзы и композиціи не могутъ быть сопоставляемы въ качествѣ моментовъ, ступеней и фазъ движенія соціальной жизни; нельзя категоріи въ ихъ цѣломъ отождествлять съ группами явленій первоначальныхъ и явленій производныхъ.

Сложность строенія культуры.

Однако, если мы должны были отвергнуть за экономикой право считаться первоначальной и основной группой, а за культурой титулъ группы производной, то мы не можемъ отстранить самого принципа раздѣленія элементовъ въ соціальной жизни на первичные и вторичные. Въ самомъ дѣлѣ, мы должны признать, что въ цѣломъ рядѣ человѣческихъ дѣйствій обнаруживается непосредственное приложеніе органическихъ силъ, какъ бы продолженіе того, что даетъ окружающая человѣка природа, поскольку и самого человѣка она захватываетъ

въ свою жизнь. Съ другой стороны, въ цѣломъ рядѣ другихъ дѣйствій мы должны признать выраженіе рефлексіи, работы человѣческаго отвлеченія, изобрѣтенія, новаторства, какъ бы особенно сосредоточенной, проникнутой сознаніемъ энергіи.

Мы очень хорошо чувствуемъ крайнія проявленія въ каждомъ изъ двухъ родовъ. Къ той и другой крайности легко подобрать примѣры. Для одного ряда можно сослаться на судъ Линча, какъ бурное моментальное проявленіе раздраженія или негодованія, охватывающаго массу, на низшіе виды земледѣльческой техники, на примитивное скотоводство, на старинные весенніе праздники, когда человѣкъ, въ качествѣ нѣкотораго зоологическаго вида, сливается съ расцвѣтающей природой въ стихійномъ эротизмѣ. На противоположномъ концѣ и для характеристики крайностей другого ряда можно было бы привести: электрическіе опыты Эдисона, современныя попытки руководимаго воздухоплаванія, изученіе древнесумерской культуры, направленіе импрессіонизма въ искусствѣ и т. п.

Разсматривая крайности того и другого ряда, мы, пожалуй, склонны будемъ считать сравнительно легкимъ и простымъ вопросъ о раздѣленіи элементовъ въ соціальной жизни на первоначальные, основные, и на позднѣйшіе, производные. Но мы сейчасъ же почувствуемъ всю трудность и сложность вопроса, какъ только попробуемъ провести границу между двумя рядами, которые условимся для краткости называть, одинъ – органическимъ рядомъ, другой—культурнымъ. Мы увидимъ, что они, въ концѣ-концовъ, не составляютъ двухъ очерченныхъ группъ, что, напротивъ, они образуютъ мно-

жество незамѣтно отдѣляющихся другъ отъ друга градацій, множество повышеній отъ крайности органической къ крайности культурной.

Но это только одна трудность. Другая состоитъ въ томъ, что во всякой наблюдаемой дѣйствительности передъ нами выступаютъ не всѣ градаціи въ послѣдовательномъ порядкѣ, имѣется не полный ихъ подборъ, и не цѣлый вырѣзъ изъ всего ряда, взятый на извѣстной высотѣ развитія; напротивъ, мы имѣемъ всякій разъ спутанный, смѣшанный подборъ элементовъ, градацій разнаго происхожденія, разнаго возраста. Конечно, очень нетрудно сказать, что въ жизни новѣйшаго человѣчества, въ жизни культурной Европы и Америки второй рядъ и количественно, и качественно возрастаетъ сравнительно съ первымъ. Но это заключеніе уже потому не имѣетъ большой цѣны, что элементъ культурный, сравнительно съ органическимъ, играетъ также очень важную роль и въ раннемъ обществѣ.

Въ этомъ смыслѣ крайне любопытны тѣ сложные обряды магіи, волшебства, которые наблюдаются, напр., среди племенъ центральной Австраліи, живущихъ на очень низкой ступени матеріальнаго быта. Надо признать въ нихъ большую сложную систему, правильные пути разсужденія, сосредоточенную энергію при выполненіи и т. д. Конечно, исходный моментъ магическихъ дѣйствій для насъ всегда дико-невозможенъ. Напримѣръ, дѣлается такое предположеніе. Количество и распредѣленіе дождя въ извѣстной мѣстности зависитъ отъ кучи толченой извести, собранной колдуномъ и имѣющей таинственное сходство съ облаками и тучами. Но за этимъ основнымъ фантастическимъ положеніемъ

слѣдуютъ разсужденія и дѣйствія, совершающіяся по всѣмъ правиламъ научной аналогіи. Какъ мы говоримъ, что сходныя причины въ параллельныхъ рядахъ должны вызывать сходныя послѣдствія, такъ разсуждаютъ и дикари, устраивая погоду. Колдунъ разсыпаетъ известь по вѣтру въ разныхъ направленіяхъ, и всѣ увѣрены, что эти дѣйствія повторятся съ полнымъ тождествомъ въ параллельной области, т.-е. на небѣ: образуются облака, и влага низойдетъ на землю.

Имѣя въ виду подобные пріемы, можно съ нѣкоторымъ правомъ говорить о волшебной магической физикѣ. Но у людей первобытнаго общества можно констатировать также магическую физіологію, которая занимаетъ много времени и требуетъ приложенія большой энергіи. У тѣхъ же племенъ центральной Австраліи выполняются символическія дѣйствія, драматическія картины, при чемъ человѣческія группы подражаютъ движеніямъ извѣстныхъ животныхъ, напр., большой птицы эму, или исполняютъ кровью хитрые символическіе чертежи на землѣ. Церемоніи направлены къ тому, чтобы вызвать или усилить производительность опредѣленной живой породы—птицы, насѣкомаго, растенія. При этомъ слѣдуетъ имѣть въ виду, что часто усилія вовсе не вызваны прямо утилитарной цѣлью: хлопочутъ, напр., о благоденствіи такой породы, которой не потребляютъ въ пищу; въ особенности это явленіе встрѣчается въ связи съ тотемизмомъ, т.-е. вѣрованіемъ, что существуетъ мистическая связь между такимъ-то звѣремъ, птицей, ящерицей и т. д. и извѣстной группой человѣческаго общества. Въ такихъ случаяхъ, помимо сложной техники, еще имѣется и сложная мысль о поддер-

жаніи общаго благополучія, и притомъ не въ видѣ заботы о данномъ моментѣ или о предстоящемъ насыщеніи, а въ качествѣ болѣе отвлеченнаго представленія о поддержаніи общаго жизненнаго начала.

Къ области того же широкаго господства идеальныхъ началъ въ раннемъ обществѣ можно отнести отдаленныя путешествія, предпринимаемыя австралійцами ради пріобрѣтенія красильныхъ веществъ, которыя они очень цѣнятъ эстетически; сюда же принадлежатъ визиты одного племени къ другому, цѣль которыхъ—узнать новыя пѣсни и новые танцы.

Переживанія старины въ позднѣйшей культурѣ.

Какая связь между этими разнообразными мотивами жизни и дѣятельности людей? Каковы соотношенія между ними, какой порядокъ ихъ происхожденія? Можно ли отдѣлить ясно группу мотивовъ и пріемовъ, направленныхъ на прямое поддержаніе жизни, и видѣть въ нихъ первые двигатели, а затѣмъ выдѣлить вторичные мотивы, которые заключаютъ въ себѣ позднѣйшія, добавочныя, рефлективныя мысли и усилія? Можно ли утверждать, что вторые опредѣляются первыми? Повидимому, дѣло обстоитъ сложнѣе. Безъ сомнѣнія, вся дѣятельность человѣка, вся культура идетъ отъ самосохраненія, отъ инстинкта жизни; помимо того, человѣкъ среди самой высокой культуры вынужденъ постоянно обращаться къ прямой мысли о сохраненіи своей жизни. Но различеніе первоначальныхъ раннихъ и производныхъ позднихъ формъ приспособленія затрудняется тѣмъ, что пути и средства для организаціи жизни стоятъ во всякій данный моментъ на неодинаковой ступени развитія. Тогда какъ извѣстныя области техники обнаруживаютъ частыя и сильныя перемѣны, другія стоятъ дол-

гое время совершенно неподвижно, въ полной закоснѣлости.

Въ качествѣ примѣра необыкновенной косности хозяйственныхъ пріемовъ можно сослаться на примѣненіе домашнихъ животныхъ. Крупнѣйшій изслѣдователь въ области этого вопроса, географъ Hahn отмѣчаетъ чрезвычайную ограниченность круга прирученныхъ животныхъ сравнительно съ количествомъ живыхъ видовъ вообще, т.-е. сравнительно съ неиспользованными возможностями прирученій. Отчего человѣкъ не пробовалъ приручать и размножать массы разныхъ видовъ? Отчего онъ принялся за прирученіе и приспособленіе къ работѣ такихъ непокорныхъ буйныхъ на свободѣ животныхъ, какъ рогатый скотъ и лошадь? Затѣмъ въ дѣлѣ прирученія животныхъ почти не видно прогресса на всемъ протяженіи культуры: насколько мы можемъ прослѣдить, хозяйственные пріемы въ этомъ отношеніи остаются неизмѣнными. При первомъ проблескѣ культуры мы видимъ уже тѣ самыя домашнія животныя, которыя имѣются и теперь; начало прирученія теряется въ полной неизвѣстности. Человѣкъ проявилъ здѣсь такъ мало иниціативы въ эпоху, доступную исторіи, что мы не можемъ предположить большой изобрѣтательности и въ началѣ этого дѣла. Да и какъ себѣ представить начало?

Въ области умственной культуры примѣромъ неподвижности можетъ служить намъ календарь. Въ самомъ дѣлѣ, до сихъ поръ, вопреки астрономіи, вразрѣзъ съ климатическими разнообразіями, календарь воспроизводитъ систему солнечнаго культа, сложившуюся неизвѣстно когда, но, несомнѣнно, находившуюся въ полномъ

расцвѣтѣ 4000 лѣтъ тому назадъ. Христіанство должно было покорно приспособиться не только къ моментамъ рождества и воскресенія солнца, но также и къ еще болѣе древнему культу и религіи мѣсяца, вслѣдствіе чего до сихъ поръ еще въ вычисленіи Пасхаліи имѣетъ значеніе весеннее новолуніе. До сихъ поръ то количество подвижныхъ свѣтилъ, которое было извѣстно 4.000 лѣтъ тому назадъ, символическое число семь, служитъ основой ариѳметически нераціональнаго счета дней недѣли. Какой архаизмъ въ отдѣльныхъ частностяхъ календаря, какая косность въ основной несогласованности между собою календарныхъ періодовъ, года, мѣсяцевъ и недѣль, несогласованности, которая получилась отъ медленнаго срастанія элементовъ вѣры и наблюденія, принадлежавшихъ разнымъ временамъ. Свидѣтелемъ ранней эпохи остаются элементы лунной религіи, такъ и сохранившіеся въ непримиренномъ видѣ рядомъ съ результатами наблюденія надъ движеніемъ солнца. Въ свою очередь эпоха религіи мѣсяца, вѣроятно, занимала огромное протяженіе времени, и такимъ образомъ календарь связываетъ насъ съ отдаленнѣйшими вѣками.

Классическимъ мѣстомъ архаизмовъ можетъ служить судопроизводство. Здѣсь сохраняются самые старинные пріемы волшебства, сохраняются обычаи, отвѣчающіе понятіямъ первобытной поры. Такова присяга свидѣтелей, служащая для судей нѣкоторой дополнительной гарантіей вѣрности показаній, при чемъ не отстранено соображеніе, что присягнувшій „побоится“ сказать неправду во вниманіе къ невидимой силѣ. Это обращеніе къ таинственной силѣ есть прямая и опредѣленная цѣль

старинной присяги, при чемъ присягавшій проявлялъ тогда гораздо больше активности: вѣдь это онъ, борецъ въ судебномъ поединкѣ, звалъ себѣ на помощь магической формулой, условными выраженіями своего бога или своего бѣса. Способъ воздѣйствія на демона былъ очень важенъ, и важны были всѣ подробности его примѣненія. Если сбить съ порядка присяги произносящаго формулу, то это значило лишить его чудесной помощи.

Мотивъ присяги въ современномъ судѣ какъ будто иной, но, несомнѣнно, сохранился и старый расчетъ. Торжественная обстановка, церковные, т.-е. устрашающіе символы, условныя выраженія, размѣренность рѣчи, общее вставаніе и т. д. разсчитаны на нѣкоторую гипнотизацію человѣка, на его оцѣпенѣніе и овладѣніе имъ. Въ старомъ судѣ вся процедура была борьбой гипнотизеровъ или магнетизеровъ, все состязаніе состояло въ томъ, чтобы перехитрить, преодолѣть противника своимъ способомъ гипноза.

Такой же архаичностью является безапелляціонность суда или безапелляціонность верховной судебной инстанціи. Нетрудно видѣть, что она представляетъ частное признаніе человѣческой непогрѣшимости. Эта нераціональность не можетъ не стѣснять современнаго сознанія. Поэтому безапелляціонность судебныхъ приговоровъ оправдывается высшей государственной необходимостью, самимъ принципомъ государства, которое творитъ право, но надъ которымъ нѣтъ въ свою очередь правотворящей и правоконтролирующей силы. Получается только перенесеніе того же принципа человѣческой непогрѣшимости на государство, т.-е. въ концѣ-концовъ также

на данную группировку людей. Такимъ образомъ, оправданіе, комментарій беззапелляціонности только заводитъ насъ въ еще большія принципіальныя затрудненія. А это происходитъ оттого, что современная жизнь сохранила въ сущности первобытный обычай, ставшій непонятнымъ впослѣдствіи. Судебный приговоръ былъ божественнымъ рѣшеніемъ, выраженіемъ оракула; его произносилъ священникъ, т.-е. колдунъ, или царь, т.-е. главный колдунъ, считавшійся органомъ божества; отмѣнить такое рѣшеніе или даже только усомниться въ немъ значило бы потерять вѣру въ божество. Въ новомъ судѣ, послѣ долгой эволюціи, постепенно исчезъ основной сильнѣйшій мотивъ и, повидимому, исчезъ безъ остатка. Но эффектъ его остался.

Совмѣщеніе культурныхъ элементовъ разнаго возраста.

Передъ нами на каждомъ шагу явленія необычайной косности человѣческой культуры; наше существованіе заполняютъ пережитки, находящіеся въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ усиленнымъ новаторствомъ. Можно бы сказать, что человѣкъ одновременно пользуется кунсткамерой средствъ разнаго возраста и происхожденія, не представляющихъ между собою внутренняго сродства. Условія культуры по большей части остаются между собою несогласованными, и жизнь всякаго поколѣнія и всякой среды является въ высокой мѣрѣ несистематичной или, иначе говоря, состоитъ изъ множества ирраціональностей.

Несогласованность, нераціональность при внимательномъ наблюденіи окажется еще болѣе значительной, чѣмъ можно думать на первый взглядъ. Вернемся еще разъ къ приведеннымъ примѣрамъ. Во всѣхъ случаяхъ примѣненія архаизмовъ имѣется налицо комментарій,

оправданіе. Человѣкъ какъ бы хочетъ сказать: „да, я пользуюсь устарѣлымъ пріемомъ, я не понимаю или не раздѣляю первоначальнаго мотива его установленія, но я нахожу этотъ пріемъ или это средство удобнымъ для такой-то новой, близкой мнѣ задачи, я нахожу возможнымъ раціонализировать старину". Такой раціонализаціей можно, напримѣръ, считать теорію государственнаго права, пытающуюся вывести полноту государственной власти изъ потребностей общежитія, тогда какъ принципъ безусловнаго государственнаго верховенства, безъ сомнѣнія, идетъ отъ совершенно другого начала, отъ признанія магической силы за носителями верховной власти. Да вѣдь и сама власть тамъ, гдѣ она болѣе примитивно организована, даетъ въ своихъ наивно-жестокихъ формулахъ яркое подтвержденіе вѣрности нашего опредѣленія. Чѣмъ иначе объяснить знаменитое обвиненіе всякой оппозиціи въ стремленіи ниспровергнуть существующій порядокъ, какъ не запоздалымъ расчетомъ подѣйствовать на людей посредствомъ волшебства страшныхъ словъ, которое должно соотвѣтствовать великому табу, положенному на нерукотворное государство?

Такая раціонализація не должна насъ вводить въ заблужденіе. Мы не должны думать, что новое оправданіе архаизма и есть условіе его сохраненія; нѣтъ, это оправданіе есть только дополнительная попытка человѣка внести принципъ цѣльности въ свою жизнь или дать иллюзію такой цѣльности. Архаизмъ живетъ независимо отъ раціонализирующаго комментарія, и, какъ мы видѣли, эффектъ переживаетъ надолго вызвавшіе его мотивы.

Всѣ эти соображенія мы должны принять во вниманіе при разграниченіи тѣхъ группъ, которыя пришлось назвать органическими и культурными, и при попыткѣ установить между ними связь, послѣдовательность и взаимную зависимость. Теперь спрашивается, какъ далеко въ этомъ отношеніи зашла наша наука, какъ ставятся вопросы при объясненіи связи явленій, и насколько удовлетворительны имѣющіяся толкованія?

Если попытаться схватить въ одной короткой формулѣ разницу прежнихъ и новыхъ научныхъ объясненій, то можно бы сказать, что наука отдавала прежде рѣшительную дань понятію дуализма жизни, различая косную матерію и организующій духъ. Культура разсматривалась, какъ продуктъ вѣчно изобрѣтающаго человѣческаго духа, постоянно побѣждающаго и одолѣвающаго тяжелую на подъемъ физическую природу человѣка или чуждыя человѣку матеріальныя условія окружающей среды. „Первый толчокъ, первая причина всегда лежитъ въ головѣ, въ иниціативѣ разсудка или фантазіи; затѣмъ идетъ борьба съ матеріей“. Старая наука до необычайности преувеличивала организующую силу человѣческаго духа. Гегель слагаетъ до извѣстной степени послѣдній гимнъ организующему духу. Въ послѣдній разъ въ гегельянской философіи духъ на свободѣ совершаетъ свои полеты, чудесныя превращенія, прячется въ хаосѣ случайностей и вновь озаряетъ жизнь внезапнымъ свѣтомъ и т. д. Географическія, почвенныя, климатическія, расовыя и т. п. условія уступаютъ его напору, покорно подставляютъ свой матеріалъ здѣсь—деспотизму, тамъ—индивидуальной свободѣ, въ извѣстный моментъ—аскетизму, въ другой—чувственности и т. д.

Со временъ Гегеля, несомнѣнно, все болѣе слабѣло пониманіе жизни, какъ дуализма организующаго духа и руководимой матеріи. Какъ ни шумѣла въ послѣднее десятилѣтіе реакція идеализма, но она не смогла, не рѣшилась подняться до того фантастическаго полета, который еще позволялъ себѣ идеализмъ первой трети XIX вѣка.

Въ срединѣ XIX в., подъ вліяніемъ громадныхъ успѣховъ естественныхъ наукъ, измѣнилось самое понятіе о матеріи, о кругѣ и характерѣ матеріальныхъ процессовъ. Въ результатѣ этого измѣненія пришлось сократить область, гдѣ, казалось, смѣло и самостоятельно выступалъ „творческій духъ"; продукты духовной жизни, „идеи", вмѣсто прежней своей признанной роли двигателей сошли на степень регистрацій сознанія. Пусть матеріализмъ, процвѣтавшій отъ 40-хъ до 80-хъ годовъ XIX вѣка, утратилъ значеніе въ качествѣ психологической теоріи. Послѣдствія его аналитической работы неустранимы: въ наукѣ не можетъ быть возврата къ дуализму духа и матеріи.

Обычное представленіе о великихъ личностяхъ.

Но отъ стараго дуализма остался очень замѣтный обломокъ. Это—*ученіе о личности* и ея роли въ исторической жизни. Въ сущности въ обычномъ ученіи о личности и обществѣ, о личности и средѣ мы встрѣчаемся со знакомымъ дуализмомъ организующаго духа и руководимой сырой или мертвой матеріи. Общество, среду понимаютъ, какъ нѣчто неподвижное или малоподвижное, но цѣльное въ своихъ однообразныхъ и повторяющихся переживаніяхъ. Подъ личностью, точнѣе—великою или выдающейся личностью, разумѣютъ поднимающуюся надъ средой дѣятельную силу, которая ста-

новится внѣ массы, живетъ повышеннымъ темпомъ, такъ или иначе увлекаетъ за собой общество, приводитъ его къ новой организаціи. На личность переносятъ всѣ функціи духа, на общество, на массу—всѣ функціи матеріи.

Теорія творческаго воздѣйствія личности въ исторической жизни, вѣра въ спасительную роль личности въ прошломъ и будущемъ необыкновенно популярны и широко распространены и уже поэтому заслуживаютъ анализа.

Кого разумѣетъ теорія подъ великими личностями? Какъ представляютъ себѣ ихъ воздѣйствіе, ихъ творчество въ исторіи? Въ этомъ отношеніи замѣчается большая неясность и хаотичность представленій. Группа великихъ людей образуетъ весьма безпорядочный подборъ. Въ популярномъ перечисленіи вамъ назовутъ Александра Македонскаго, Цезаря или Августа, апостола Павла, императора Константина, папу Григорія VII, Лютера, Мирабо, Наполеона, Бисмарка. Подумавши еще, назовутъ другихъ людей, можетъ быть, въ другомъ подборѣ: среди нихъ окажутся Сократъ или Платонъ, Коперникъ, Кантъ; но вообще крупныхъ дѣятелей науки, аналитиковъ или изобрѣтателей будутъ называть не такъ охотно. Въ болѣе продуманныхъ подборахъ можетъ быть, удалось бы отмѣтить двѣ главныя группы великихъ людей-устроителей исторіи: вопервыхъ, пророковъ, провозвѣстниковъ новыхъ религіозныхъ началъ, основателей религій, и вовторыхъ, завоевателей, объединителей, политическихъ организаторовъ. Первые открываютъ пути духовной жизни, успокаиваютъ мятущіеся умы, даютъ опредѣленный укладъ міровоззрѣнія; вторые слагаютъ систему внѣш-

ней жизни, вводятъ людей въ огромную организацію, въ которой стройно распредѣлены общественныя функціи. У тѣхъ и другихъ основной двигатель заключенъ въ ихъ „волѣ“, въ сосредоточенной энергіи, внѣшнимъ знакомъ которой является произнесеніе магическаго слова или совершеніе магическаго акта.

Въ своихъ картинахъ и рѣзкихъ формулировкахъ теорія дѣятельной или творческой личности въ исторіи, разумѣется, слишкомъ напоминаетъ миѳологическія темы и способна увлекать только очень примитивные умы. Но въ болѣе тонкой, менѣе уловимой формѣ она можетъ захватывать также людей, болѣе искусившихся въ критической мысли. Среди политическихъ сужденій мы постоянно слышимъ, что, положимъ, такому-то вѣку или поколѣнію или моменту недоставало геніальнаго вождя или руководителя, сильной центральной личности, и потому такое-то движеніе не имѣло успѣха, разстроилось и т. д. Напротивъ, такой-то вѣкъ или страна счастливы тѣмъ, что нашли своего объединителя. Иногда мы слышимъ формулу: сильное движеніе должно выставить и сильную личность. Иногда намъ говорятъ: значеніе великой личности въ томъ, что ей удается соединить лучшія мысли и желанія своего времени, дать имъ новую форму и пустить ихъ въ ходъ именно въ этой формѣ, которая и вытѣсняетъ постепенно всѣ остальныя, всѣ предшествующія.

Основатели религій въ качествѣ великихъ личностей.

Послѣдняя схема примѣняется по преимуществу къ такъ наз. основателямъ религій. Приблизительно на этой точкѣ зрѣнія стоитъ современное либеральное богословіе протестантовъ въ вопросѣ о роли и значеніи основателя христіанства. Либеральный протестантизмъ

допускаетъ въ самой широкой мѣрѣ воздѣйствіе на христіанство религій предшествующихъ. Историки и богословы этой школы признаютъ, что всѣ идеи, соединившіяся въ христіанствѣ, даны въ греческой культурѣ или идутъ изъ источника еще болѣе стариннаго, отъ религіи персидской, вавилонской, индійской. Различныя положенія христіанской морали, различные образы христіанской эсхатологіи, очистительные и другіе обряды, поминальныя трапезы, изгнаніе бѣсовъ и т. д. — всѣ эти понятія и символы встрѣчаются и въ отдѣльности, и въ комбинаціяхъ у различныхъ народностей, и въ различныя эпохи.

Признавая заимствованія, упомянутая богословская школа, однако, считаетъ нужнымъ сохранить какой-то объединяющій историческій центръ. По ея ученію, всѣ многоразвѣтвленныя и отдаленныя нити и теченія соединились сразу въ одинъ историческій фокусъ. Геніальная личность въ необходимый, особенно острый моментъ связала въ яркой, жгучей формѣ разбросанныя понятія и желанія, облекла ихъ въ единственныя по оригинальности и наглядности притчи; а съ другой стороны, та же личность взяла на себя какъ бы отвѣтственность за цѣлый рядъ высказывавшихся раньше упованій, признала ихъ относящимися къ себѣ. Въ вопросѣ о томъ, какъ далеко заходило это мессіанское самосознаніе — господствуетъ разногласіе и неясность. Для однихъ вся суть ранней христіанской проповѣди въ несравненной морали и въ ученіи о душевномъ успокоеніи, въ геніальномъ открытіи тайны возрожденія индивидуальной души, для другихъ, напротивъ, въ эсхатологіи, въ возвѣщеніи близкаго суда Божія, въ просвѣтленномъ мес-

сіанствѣ, въ руководительствѣ массъ. Такъ или иначе передовое западное богословіе считаетъ, что личный примѣръ, личное сознаніе сыграли рѣшающую историческую роль въ возникновеніи новой религіи. Оно объясняетъ силу, продолжительность движенія, общечеловѣчность его тѣмъ, что въ началѣ стоитъ оригинальнѣйшее личное творчество.

Много аналогій такому построенію представляетъ обычная характеристика великаго завоевателя или организатора, напр., Александра или Цезаря. Обыкновенно историкъ также признаетъ отдаленныя предшествующія условія; такія-то страны уже объединились большимъ завоевательнымъ теченіемъ, и великій завоеватель является лишь послѣднимъ завершителемъ ряда движеній. Въ свою очередь въ народѣ, во главѣ котораго онъ идетъ, намѣтилось уже раньше экстенсивное направленіе, торговая или военная эмиграція. Такова же формула для объясненія политическихъ или соціальныхъ созданій великаго государственнаго дѣятеля. Всѣ принципы, всѣ политическіе пріемы, введенные имъ, въ отдѣльности были даны раньше; геніальный организаторъ находитъ для нихъ лишь счастливую комбинацію. Посмотрите, какъ изображенъ у Моммзена Цезарь-реформаторъ; онъ возвращаетъ Римъ къ той гармоніи началъ и интересовъ, которая была нарушена раздирательной борьбой партій въ концѣ республики, но которая существовала раньше, если не въ первобытномъ Римѣ, то въ идеальной жизни Рима, т.-е., иначе говоря, разрозненно всѣ эти элементы заявили о себѣ въ историческомъ ходѣ, но вмѣстѣ они встрѣтились только въ наброскѣ, въ планѣ великаго организатора.

Затѣмъ теорія обыкновенно признаетъ непрочность созданій великихъ завоевателей и организаторовъ. Немедленно за ихъ смертью начинается разрушеніе; иногда вмѣсто сложеннаго ими цѣлаго остаются разрозненными собранныя ими части, возвращающіяся въ свое первобытное состояніе. Иногда великій планъ такъ и остается невыполненнымъ замысломъ: мысль Александра о сліяніи востока и греческой культуры или планъ Цезаря о проведеніи демократическихъ реформъ средствами монархіи умираютъ вмѣстѣ съ ними. Тѣмъ не менѣе за такими неосуществленными мечтаніями признается огромное культурное значеніе. Это—завѣщанія будущему, путеводныя нити дальнѣйшаго развитія человѣчества.

Образы основателей религіи обыкновенно—позднѣйшія композиціи.

Что можно возразить противъ подобныхъ композицій взаимодѣйствія личности и среды? Прежде всего, что касается такъ наз. основателей религій, то все болѣе и болѣе обнаруживается, что мы имѣемъ дѣло не съ подлинными слѣдами ихъ дѣятельности, а съ позднѣйшими и весьма сложными литературными созданіями и варіаціями на нѣкоторыя философскія и этико-соціальныя темы. Будда, Заратустра, Мохамедъ, какъ личности реальныя, въ такой мѣрѣ закрыты систематическимъ резонирующимъ, символико-поэтическимъ и церковно-устроительнымъ творчествомъ, что мы не можемъ сказать о нихъ, какъ о людяхъ, жившихъ въ такую-то эпоху, почти ни одного слова, не можемъ отмѣтить почти ни одной достовѣрной черты. На основаніи дошедшихъ до насъ данныхъ возможно говорить только о томъ, что хотѣли имъ приписать ихъ почитатели. Характерно, что объ основателѣ религіи обыкновенно не разсказываютъ современники, спутники, сподвижники

его. Разсказчики ссылаются сами на имѣющуюся традицію. Въ евангельскихъ разсказахъ нѣтъ упоминанія о томъ, что такая-то черта передана очевидцемъ или такія-то слова переданы такимъ-то слушателемъ. Единственная ссылка подобнаго рода и вслѣдствіе этого ссылка поразительная, выдѣляющаяся, состоитъ въ указаніи Ев. Марка (15, 21), что для несенія креста позвали нѣкоего Симона, родомъ изъ Кирены, случайно оказавшагося въ городѣ крестьянина, отца Александра и Руфа. Кто такіе послѣдніе двое, не объяснено, предполагается, что это—люди, извѣстные въ кругахъ, къ которымъ обращается евангелистъ. Они могли передать разсказъ своего отца объ участіи въ какой-то казни, значенія которой самъ онъ, видимо, въ свое время не сознавалъ, потому что иначе запомнилъ бы еще что-нибудь характерное.

Разсказы объ основателяхъ религій вызываютъ смущеніе еще въ другомъ смыслѣ. Они вплетаютъ столько символовъ, до такой степени рисуютъ условный узоръ, что у насъ является сомнѣніе, хотѣлъ ли составитель вообще изображать реальную личность, не писалъ ли онъ поучительный романъ, въ которомъ детали подобраны съ извѣстной тенденціей, чтобы выдѣлить основную цѣль, а вовсе не для того, чтобы изобразить біографію опредѣленнаго лица? Эта основная цѣль состоитъ въ свою очередь въ томъ, чтобы начертить нѣкоторую мистическую истину, обнаружить для посвященныхъ нѣкоторую тайну. Тенденція работаетъ въ томъ направленіи, чтобы не только вложить въ уста великому учителю жизни притчи, т.-е. загадки, полузакрытыя тайны, но чтобы и его земное странствованіе изобразить

въ видѣ одной основной притчи, одной великой мистеріи, таинственной высоко-символической драмы.

А если это такъ, то и цѣлое, и отдѣльные эпизоды должны быть сводимы не на историческія происшествія и не на реальныя отношенія; они разлагаются на философемы, выраженныя въ символическихъ образахъ. Есть нѣкоторыя частности, въ которыхъ мы очень ясно сразу усматриваемъ поучительный символъ. Таковы *три дня* въ преисподней, соотвѣтствующіе тремъ днямъ въ нѣдрахъ великой рыбы,—символъ, который въ свою очередь представляетъ повтореніе стариннаго астрологическаго миѳа о погруженіи свѣтила въ небесную воду, т.-е. смертельно-опасную или зимнюю стихію. Таково чудесное кормленіе нѣсколькихъ тысячъ людей въ пустынѣ, варіантъ ветхозавѣтнаго сказанія о чудесномъ питаніи въ пустынѣ народа, спасеннаго отъ плѣна, при чемъ можно замѣтить, что уже при составленіи варіанта, оригинальный разсказъ склонны были понимать въ переносномъ смыслѣ, т.-е. подъ плѣномъ, пустыней, питаніемъ разумѣть не матеріальныя, а духовныя сущности.

При ближайшемъ анализѣ оказывается, что весь текстъ состоитъ изъ своеобразно нанизанныхъ, переплетенныхъ между собою, вставленныхъ одинъ въ другой символовъ или притчъ, представляющихъ повтореніе немногихъ очень старинныхъ образцовъ. Мы называемъ этотъ жанръ миѳологическимъ. Но миѳологія въ данномъ случаѣ лишь дидактическая форма для опредѣленной, если можно такъ выразиться, философіи исторіи. Солнечные и другіе миѳы взяты составителями потому, что они давали наиболѣе подходящую оболочку для характери-

стики героическаго начала. Считали необходимымъ сдѣлать характеристику героя, сверхчеловѣка въ терминахъ старинаго солнечнаго или луннаго культа (три дня сокрытія, повидимому, относятся къ новолунію).

Образы великихъ завоевателей и организаторовъ.

Тѣ же миѳологическія черты мы встрѣчаемъ въ біографіяхъ великихъ завоевателей и организаторовъ, хотя здѣсь по причинамъ понятнымъ роль миѳологіи слабѣе: вѣдь отъ дѣятельности этихъ, несомнѣнно, реальныхъ людей осталось много слѣдовъ, въ видѣ чеканенныхъ монетъ, грамотъ и актовъ и т. д. Но все же обстоятельства жизни въ рукахъ біографа приспособляются къ извѣстной схемѣ; онъ свободно переставляетъ иные эпизоды на условныя мѣста, другіе разростаются до крупныхъ размѣровъ. Между прочимъ любопытна такая черта: сверхчеловѣку все удается; счастье въ такой мѣрѣ его удѣлъ, что тамъ, гдѣ у всякаго другого была бы констатирована неудача, за героемъ числится только успѣхъ. Такъ, напримѣръ, въ политической карьерѣ Цезаря есть моменты, когда ему приходится дѣлать уступки взбунтовавшимся солдатамъ, унижаться до капитуляціи передъ ихъ требованіями или въ безпомощности колебаться между враждующими фракціями своихъ сторонниковъ. Но у біографа все это принимаетъ почти фантастическій видъ выступленія какого-то повелителя стихій, спокойно разрѣзывающаго самые запутанные узлы, волшебнаго гипнотизера массъ и т. д.

Вскрытіе литературнаго творчества при изображеніи такъ называемыхъ великихъ людей чрезвычайно важно. Оно показываетъ намъ, что у современныхъ почитателей великихъ личностей въ исторіи, у приверженцевъ героическаго культа были предшественники, отъ кото-

рыхъ эти новые историки находятся въ сильнѣйшей зависимости. Наши источники препарированы уже въ духѣ опредѣленной философіи исторіи. Въ новомъ ученіи о роли героическаго начала въ исторіи, о воздѣйствіяхъ историческихъ сверхчеловѣковъ мы встрѣчаемся до извѣстной степени съ удвоенной миѳологіей: она уже была въ первоначальномъ изображеніи и повторяется въ современныхъ намъ переработкахъ и толкованіяхъ.

Поэтому и наша критика также должна носить характеръ двойного нападенія: мы должны одновременно разбивать композиціи, заключенныя въ источникахъ, и опровергать вторичныя построенія, воспроизводящія уже въ наше время философію торжества героическаго начала въ исторіи.

Въ приведенныхъ толкованіяхъ мы имѣли теорію, наиболѣе примыкающую къ старому миѳологизму, къ старой теологіи и теократіи.

Смягченныя формы миѳологизма въ исторіи.

Разсмотримъ теперь болѣе мягкія, утонченныя формы того же основного направленія, выступающія въ цѣломъ рядѣ историческихъ утвержденій, построеній, истолкованій. Таково общее положеніе, что исторія дѣлается личностями или что только личности даютъ печать той или другой эпохѣ. Напримѣръ, говорятъ намъ, аѳинская демократія V вѣка есть нѣчто единственное въ своемъ родѣ, нѣчто неповторившееся и неповторимое. Но что создаетъ эту исключительность аѳинской демократіи? То, что ея руководителемъ была такая индивидуальность, какъ Периклъ. Пусть повторятся въ другомъ мѣстѣ всѣ тѣ условія матеріальнаго быта, отдаленныхъ сношеній, торгово-промышленнаго расцвѣта, подвижности и энергіи массы, пусть оставались бы въ

томъ же мѣстѣ, въ тѣхъ же Аѳинахъ одинаковыя условія, но разъ нѣтъ налицо господствующей индивидуальности, черты которой единственны, неповторимы, и весь секретъ великой эпохи исчезъ. Аѳины V вѣка не были демократіей вообще; Аѳины представляли не только типично-греческую демократію или типично-мореходную, нѣтъ, самое характерное опредѣлилось въ этой демократіи тѣмъ стеченіемъ реальныхъ элементовъ и идей, которые систематизировала личность съ такимъ-то темпераментомъ, съ такимъ-то кругозоромъ, такой-то группой друзей, учителей, сотрудниковъ.

Еще примѣръ. Въ Римѣ устанавливается монархія. Это фактъ неизбѣжный, навязанный и колоніальными войнами, въ которыхъ создавался неограниченный авторитетъ командировъ и устроителей провинцій, и появленіемъ огромныхъ армій, и внутренней смутой, борьбой классовъ, среди которой аристократія искала себѣ опоры, выдвигая соціальную диктатуру. Но при неизбѣжности самого факта гибели республики въ цѣломъ новый строй могъ получить неодинаковыя формы. Здѣсь многое зависѣло отъ случайностей, и одной изъ важнѣйшихъ случайностей былъ успѣхъ такого-то претендента на корону. Въ столкновеніи Цезаря и Помпея могъ, конечно, побѣдить и Помпей, но тогда императорство получило бы совершенно иной видъ, чѣмъ тотъ, который былъ ему приданъ Цезаремъ. Имперія стала цезаризмомъ, т.-е. усвоила тѣ черты, которыя намѣчены были опредѣленнымъ лицомъ, бывшимъ демократомъ, презиравшимъ сановную аристократію, человѣкомъ бурной и неудержимой иниціативы, лично во все входившимъ и всюду поспѣвавшимъ, вслѣдствіе этого склон-

нымъ преувеличивать свои силы въ качествѣ единственнаго носителя власти, и потому передавшимъ своимъ преемникамъ слишкомъ много неограниченнаго авторитета, слишкомъ много обязанностей. Въ свою очередь преждевременная смерть Цезаря была роковымъ обстоятельствомъ для судьбы созданнаго имъ строя. Было бы очень важно, говорятъ намъ, если бы Цезарь могъ еще въ теченіе одного или двухъ десятилѣтій видѣть и направлять функціонированіе новаго порядка и такимъ образомъ укрѣпить его въ тѣхъ самыхъ началахъ, какія были вложены при его созданіи. Результатомъ смерти основателя римской монархіи было не только то, что получились новыя смуты, отодвинувшія моментъ окончанія кризиса, но и то, что устроеніе попало въ другія руки, подъ руководительство Октавіана-Августа, личности очень отличной отъ Цезаря и по своему міровоззрѣнію, и по складу характера. Не все наслѣдство Цезаря пошло на уничтоженіе; остались неустранимыя традиціи. Но соціально-политическій строй принялъ иной видъ: сенату, аристократіи, которые были такъ приниженны Цезаремъ, Августъ предоставилъ большой просторъ, взялъ въ соправительство. Отстранены были черты демонстративной божественной монархіи, которыми любилъ себя окружать Цезарь. Такимъ образомъ послѣдующая имперія сложилась изъ характерныхъ воздѣйствій двухъ оригинальныхъ людей: смѣлаго иниціатора и сдержаннаго систематизатора.

Теорія воздѣйствія личности въ исторической жизни выражается въ разныхъ другихъ формахъ. Напримѣръ, мы слышимъ о томъ, что извѣстные моменты или эпохи исторіи характеризуются особеннымъ подъемомъ или

пробужденіемъ личностей. Въ свою очередь только такія эпохи и могутъ быть признаны прогрессивными, двинувшими впередъ человѣчество; періоды, когда личность тонула въ массовыхъ формахъ быта и сознанія, были безплодны для культуры. Есть эпохи, которыя условлено считать индивидуалистическими по преимуществу, особенно благопріятными для свободнаго выхода личныхъ своеобразностей, для расцвѣта оригинальныхъ личныхъ силъ. Такой эпохой считается время гуманизма и больше всего итальянскаго возрожденія XV вѣка. Затѣмъ такимъ временемъ считается для Германіи періодъ бурныхъ стремленій (Sturm und Drang) и вообще конецъ XVIII в. и начало XIX вѣка, при чемъ здѣсь и сами современники готовы были признать какую-то революцію сильныхъ и „геніальныхъ", какъ тогда говорили, натуръ, искавшихъ себѣ выхода и простора.

Періодомъ индивидуализма многіе склонны называть наше время, конецъ XIX и начало XX вѣка. Но здѣсь уже голоса расходятся, и мы встрѣчаемся съ возраженіями противъ такой сплошной характеристики времени. Возражающіе указываютъ на то, что по крайней мѣрѣ съ одинаковой, если не съ большей силой выступаютъ въ наше время соціально-уравнительныя, коллективно-солидарныя теченія; поэтому есть наклонность истолковывать индивидуализмъ, какъ специфическій продуктъ вырождающихся высшихъ классовъ. Новѣйшій сверхчеловѣкъ, говорятъ намъ, есть очень плохо маскированный выразитель вожделѣній старой и новой аристократіи, не желающей и неспособной мириться съ новымъ строеніемъ промышленно-трудовой жизни.

Въ данную минуту насъ не занимаетъ вопросъ о вѣрности или невѣрности соціальнаго опредѣленія новѣйшаго индивидуализма. Намъ важно только отмѣтить ссылку, историческую иллюстрацію къ теоріи пробужденій или подъемовъ личности.

Составные элементы понятія о роли личности въ исторіи.

Мы можемъ, на основаніи приведенныхъ примѣровъ, выдѣлить три группы въ представленіяхъ о роли личности въ исторіи. Во-первыхъ, есть мысль о постоянной возможности выступленія сильныхъ руководящихъ натуръ, изобрѣтателей, организаторовъ, вождей, людей, выводящихъ общество изъ маразма, изъ коснѣющаго бездѣйствія или помогающихъ вырваться къ новому строю жизни. Во-вторыхъ, есть представленіе о сильныхъ натурахъ другого типа, которыя не могутъ увлечь за собою общество, но которыя, тѣмъ не менѣе, прорываютъ условныя рамки жизни, добиваются свободы для себя или погибаютъ въ трагическомъ столкновеніи со средой. То и другое возможно во всѣ моменты и эпохи. Но помимо того, въ-третьихъ, есть времена, особенно обильныя выступленіями сильныхъ или оригинальныхъ личностей, есть эпохи преобладанія личностей въ противоположность другимъ эпохамъ, когда личности принижены или вліяніе ихъ ослаблено.

Вглядываясь внимательно въ разнообразные оттѣнки ученія о роли личности въ исторіи, мы найдемъ въ нихъ прежде всего переживаніе очень старыхъ идей.

Въ обществѣ малоразвитомъ человѣкъ очень легко объективируетъ явленія своего сознанія. Онъ такъ поражается своей способностью дѣлать умственныя заключенія, переводить желанія въ дѣйствія,—такъ увлеченъ своимъ умомъ и волей, что готовъ себя считать

за органъ, вмѣстилище внѣшнихъ высшихъ невидимыхъ силъ, оказывающихъ черезъ него свое давленіе или дѣйствіе; ему кажется, что въ моменты своихъ сознательныхъ дѣйствій, напр., когда онъ исполняетъ искусную работу или совершаетъ акты смѣлости и физической ловкости, или когда онъ предсказываетъ, т.-е. дѣлаетъ хорошую догадку, что въ такіе моменты онъ становится божествомъ или божество вселяется въ него. Чѣмъ значительнѣе дарованія человѣка, чѣмъ острѣе его умъ, чѣмъ дѣятельнѣе его воля, т.-е. чѣмъ выше его бодрость и вниманіе, тѣмъ сильнѣе въ немъ сознаніе своей божественности, своей способности сообщаться съ міромъ высшихъ существъ. Какъ будто для того, чтобы еще болѣе поднять въ себѣ эту увѣренность, человѣкъ примѣняетъ разные пріемы, которые должны обезпечить ему въ нужный моментъ помощь божества, его присутствіе. Изъ этихъ пріемовъ слагается старинная магія.

Окружающіе раздѣляютъ общую вѣру въ магію, потому что всякій имѣетъ сколько угодно случаевъ и основаній испытать божественность актовъ личнаго сознанія, но въ то же время въ магіи много индивидуальнаго, принадлежащаго отдѣльнымъ изобрѣтателямъ. Поэтому на почвѣ магіи происходятъ сильныя соперничества и столкновенія. Здѣсь большое неравенство; есть особенно дѣйствительные способы привлечь божество, т.-е., по-нашему, есть болѣе признанные авторитеты такихъ-то личностей, въ свою очередь обладающихъ большой увѣренностью въ себѣ самихъ. Затѣмъ есть возможность перенять силу у другого, перебить чужую силу, перезвать къ себѣ божество или побѣдить чужое божество при помощи своего божества.

Въ старинномъ ученіи о личности-божествѣ нетрудно узнать предшественника современной теоріи роли личности въ исторіи. Въ самомъ дѣлѣ, не находимъ ли мы въ этой теоріи остатки стариннаго преклоненія, восторженнаго изумленія человѣка передъ актами своего сознанія, своего ума и воли? У самыхъ крайнихъ представителей увлеченія величіемъ личности, у мистиковъ, эта связь со стариной ясно чувствуется: они именно объявляютъ великой тайной процессы, происходящіе въ глубинѣ человѣческой личности, потому что поражены, подавлены впечатлѣніемъ дѣятельности своего собственнаго сознанія. Въ лицѣ мистиковъ мы имѣемъ прямое отпаденіе въ бездну старой магіи. Но крайность лишь даетъ намъ возможность судить о мотивахъ, лежащихъ въ основѣ болѣе мягкихъ, болѣе умѣренныхъ воззрѣній.

Мы должны констатировать вообще у людей, и у себя, конечно, въ томъ числѣ, наклонность слишкомъ высоко оцѣнивать иные акты, въ которыхъ проявляется личное сознаніе. Эту наклонность можно иллюстрировать еще съ другой стороны, другимъ способомъ. На каждомъ шагу можно убѣдиться въ томъ, какъ велика подражательность въ обществѣ, и именно, какъ сильно развита способность повторять, воспроизводить какое-нибудь слово, формулу, жестъ или рядъ движеній, произнесенныхъ или сдѣланныхъ какой-нибудь личностью. Эти явленія подражанія хорошо изучены въ книгѣ Тарда „О законахъ подражанія“ и въ извѣстной статьѣ Михайловскаго „Герои и толпа“. Въ этихъ работахъ превосходно выяснено, что „герои“, увлекающіе за собой толпу, тѣ люди, которые первыми, насколько, по край-

ней мѣрѣ, могло быть замѣчено, сказали слово, сдѣлали движеніе, воспроизведенное потомъ массами, что эти наглядно или офиціально первые нерѣдко бывали случайными, ничтожными, незамѣтными, сѣрыми личностями. Очень часто потомъ о нихъ утрачивается всякое опредѣленное воспоминаніе, всякій слѣдъ; очень часто ихъ роль ограничивается однимъ выступленіемъ, послѣ котораго они исчезаютъ; большинство ихъ вовсе не продолжаетъ потомъ оставаться во главѣ движенія, вовсе не продолжаетъ увлекать толпу новыми оригинальными словами и жестами.

Мы можемъ провѣрить этотъ фактъ собственными наблюденіями, и притомъ сдѣланными на самихъ себѣ. Очень часто значительную среду облетаетъ какой-нибудь слухъ, какая-нибудь версія происшествія, какая-нибудь формула, несостоятельность которой становится очевидной при малѣйшей попыткѣ анализа. Тѣмъ не менѣе такая формула, словечко, версія имѣли хотя бы моментальный успѣхъ, и мы нерѣдко ловимъ себя самихъ на досадной слабости, что поддались чему-то явно плоскому или несообразному.

Какой выводъ можно отсюда сдѣлать для теоріи познанія? Очевидно, впечатлѣніе отъ нѣкоторыхъ личныхъ актовъ, нѣкоторыхъ проявленій личнаго сознанія громадно, и у массы людей отодвигаетъ ихъ собственныя аналогичныя чувства и проявленія сознанія. Опредѣленные единичные акты выступаютъ на особенно видное мѣсто не вслѣдствіе своей внутренней цѣны, а подъ вліяніемъ обстановки, въ которой они являются: они первые среди другихъ или они кажутся первыми—эта разница уже не имѣетъ значенія.

Такимъ образомъ происходитъ совершенно невѣрная разстановка перспективы. Вниманіе сосредоточивается на случайной частности, одной изъ многихъ одинаковыхъ, изъ сотенъ или тысячъ, и эта частность воцаряется въ послѣдующемъ сознаніи надъ другими. Мы игнорируемъ всѣ другія равныя ей, потому что вниманіе фиксировано на одной точкѣ. Это происходитъ въ особенности относительно тѣхъ личностей и тѣхъ актовъ, которые сравнительно съ другими наглядно отмѣтились; или потому, что такая-то мысль и такимъ-то лицомъ была сказана, а другіе услышали ее, или потому, что среди много разъ повторенныхъ движеній и словъ отъ такой-то личности исходило первое движеніе или первое произнесеніе. Всякій разъ, конечно, терминъ „первое“ надо понимать условно, т.-е. подразумѣвать лишь то, что показалось „первымъ“.

И затѣмъ, помимо такой фиксаціи, такого преувеличенія, всякій разъ мы имѣемъ дѣло съ крупнымъ забвеніемъ, игнорированіемъ большой группы явленій, игнорированіемъ, въ которое мы захватываемъ самихъ себя, свою сознательную жизнь. Мы забываемъ, что сознаніе разлито въ обществѣ гораздо болѣе равномѣрно, что въ дѣйствительности мы имѣемъ дѣло съ нѣкоторой массой скрытой электрической энергіи, которая только констатируется по искрамъ, при чемъ эти искры являются показателями лишь минимальной доли всей массы энергіи.

Такъ или иначе, но обычное воспріятіе наше, заключающееся въ фиксированіи одной случайной точки или немногихъ точекъ и въ игнорированіи обширныхъ пространствъ или въ усвоеніи ихъ лишь въ качествѣ общаго тона,—это обычное воспріятіе возвращаетъ насъ

на почву ранняго міровоззрѣнія. Если мы и теперь еще способны воспринимать явленія соціальнаго міра по типу „дѣйствіе героевъ, повтореніе ихъ толпою“, то понятно, въ какой мѣрѣ сказывалось въ старину убѣжденіе въ силахъ отдѣльной личности, убѣжденіе въ ея божественности.

Ошибки при составленіи исторической перспективы.

Теперь является вопросъ, какимъ же способомъ мы могли бы поправить наше преувеличеніе, нашу ошибку? Вѣдь научное воспріятіе есть ни что иное, какъ продолженіе воспріятія обычнаго, оно вынуждено опираться на тѣ же пріемы наблюденія и сравненія. Однако, движеніе науки состоитъ въ совершенствованіи этихъ пріемовъ. Въ первыхъ своихъ шагахъ наука о человѣческомъ обществѣ, исторія, очень близка къ религіозному эпосу, такъ что, напр., какая-нибудь старинная біографія Александра мало отличается отъ Гомера. Совершенствованіе состоитъ въ томъ, что научное мышленіе учится контролировать одни наблюденія другими, учится производить многократный перекрестный опросъ. Въ извѣстномъ смыслѣ науку и можно считать большимъ контрольнымъ аппаратомъ нашихъ воспріятій, дѣйствующимъ при посредствѣ техники перекрестнаго ихъ опроса или примѣненія.

Посмотримъ, какъ стоитъ дѣло въ данномъ случаѣ, какія возможны контролирующія или сдерживающія, ограничивающія наблюденія. Наше обычное противопоставленіе „индивидуальность и масса, личность и общество“ основано на томъ, что мы на одну сторону относимъ активность, на другую—пассивность; личность произноситъ, толпа, масса, общество слышитъ и усваиваетъ; или личность дѣлаетъ жестъ, производитъ дѣйствіе,

масса подражаетъ, повторяетъ. Личность—авторъ, вождь, масса—зрители, слушатели или армія. Вслѣдствіе этого потомъ, при нашемъ историческомъ сужденіи, личность является подсудимымъ. При болѣе внимательномъ взглядѣ на вещи мы должны почувствовать все неудобство такого раздѣленія. Въ нашемъ судѣ надъ историческимъ прошлымъ, кромѣ подсудимыхъ, должны быть, конечно, свидѣтели. Кто же эти свидѣтели? Надо признаться, что въ исторіи мы такіе же плохіе судьи, какими обыкновенно бываемъ въ дѣйствительной жизни. Мы допрашиваемъ нашихъ подсудимыхъ въ качествѣ свидѣтелей и одновременно судимъ и приговариваемъ нашихъ единственныхъ свидѣтелей.

Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь личность должна намъ дать весь матеріалъ, который мы послѣ и располагаемъ по двумъ категоріямъ; ряду активностей и ряду пассивностей. Только наблюденныя нами личныя дѣйствія, личныя проявленія даютъ намъ понятіе о томъ, что происходитъ въ массѣ, въ обществѣ. Личность—нашъ единственный свидѣтель. Но тѣ же самыя дѣйствія, тѣ же проявленія мы немедленно разсматриваемъ подъ другимъ угломъ зрѣнія; они даютъ намъ мѣру возвышенія личности надъ средой, т.-е. мѣру оцѣнки вліянія, воздѣйствія, силы личности. Тотъ же матеріалъ показаній уже превращенъ въ систему, изъ которой создается представленіе о героѣ, объ авторѣ, виновникѣ и т. д. Личность становится нашимъ подсудимымъ.

Стоитъ присмотрѣться къ способу, какимъ составляется обыкновенно характеристика массы, среды, общества. Вѣдь приходится брать тѣ же самыя данныя жизни и мысли извѣстныхъ намъ личностей. Не суще-

ствуетъ другихъ данныхъ, кромѣ литературныхъ, художественныхъ произведеній, политическихъ и соціальныхъ программъ, выработанныхъ спеціалистами, мастерами, техниками дѣла. Все, что мы называемъ коллективной мыслью, вѣрой и т. д., нисколько не составляетъ совокупности и свода мелкихъ единичныхъ наблюденій надъ молчаливыми сѣрыми, воспринимающими людьми. Обыкновенно при составленіи общихъ историческихъ характеристикъ культуры, состоянія общества и т. п. историкъ незамѣтно для себя производитъ слѣдующую операцію: стираетъ болѣе или менѣе сильно оригинальныя черты отдѣльныхъ личностей, ослабляетъ разницу между индивидуальностями, вырабатываетъ искусственно нѣкоторый средній уровень и изъ суммы стертыхъ фигуръ получаетъ „среду“. Или, иначе говоря: между доступными личностями и личными проявленіями онъ совершаетъ отборъ, вполнѣ искусственный, и создаетъ какъ бы второй разрядъ личностей, среднихъ между высшей активностью, оригинальностью и полной пассивностью. Получается что-то въ родѣ воспріимчивой среды прямыхъ послѣдователей или второстепенныхъ исполнителей. Понятія наши объ этой посредствующей средѣ очень неясны, свѣдѣнія проблематичны. Но историкъ и не думаль опять-таки извлекать картины дѣятельности и настроенія этой промежуточной среды изъ прямыхъ непосредственныхъ наблюденій. Онъ получилъ ее искусственнымъ образомъ изъ приниженія, обезцвѣченія первой группы оригинальныхъ личностей, единственно ему доступной.

Такъ же незамѣтно, нечувствительно совершается еще другое искусственное расчлененіе, которое приходитъ

первому на помощь и комбинируется съ нимъ. Кромѣ обычнаго раздѣленія матеріала на рядъ активностей и рядъ пассивностей, въ обычныхъ характеристикахъ культуры вѣка, состоянія общества и т. д. можно замѣтить также пріемъ хронологическаго расчлененія элементовъ, при чемъ активные относятся въ раннюю пору, а пассивные—въ позднюю. Когда, напримѣръ, идетъ рѣчь о такихъ направленіяхъ, какъ гуманизмъ, реформація, романтизмъ и т. д., то наблюдается наклонность историка выдѣлить, съ одной стороны, выраженія, манифестаціи, мысли и настроенія болѣе яркія, болѣе связныя и мотивированныя, а съ другой—болѣе блѣдныя, отрывочныя. Первыя разсматриваются, какъ „само теченіе“, главное направленіе, или какъ форма ранняя, сосредоточенно-цѣльная, вторыя фигурируютъ въ качествѣ результатовъ воздѣйствія, въ видѣ фактовъ поздняго, размельченнаго, разсѣяннаго вліянія.

Мы можемъ сдѣлать общее заключеніе изъ этого анализа. Пріемъ построенія отношеній личности и среды состоялъ въ томъ, что показанія расчленялись на двѣ группы, между которыми предполагалось какое-то скрытое, непонятное воздѣйствіе, какъ будто въ одной группѣ видѣли, по старинному, душу, въ другой—тѣло, матерію. Но такое расчлененіе не вызывается свойствами самаго матеріала. Оно получилось вслѣдствіе внесенія старой привычной методы магіи. Для того, чтобы поправить произвольные результаты. полученные отъ такого построенія, мы должны попробовать другой контрольный пріемъ. Надо постараться возможно болѣе полно использовать тѣ свидѣтельскія показанія, которыя мы имѣемъ въ дѣятельности личностей, прежде

чѣмъ садиться за судъ надъ ними. Вѣдь это—единственныя данныя для сужденія о томъ, что происходитъ въ массѣ. Надо поставить прежде всего вопросъ о тѣхъ естественныхъ признакахъ и отличительныхъ чертахъ, которые обнаруживаются въ группахъ свидѣтельскихъ показаній. Надо постараться черезъ эти группировки понять и опредѣлить массу, слои и оттѣнки, которые въ ней имѣются.

Появленіе новаго метода.

Выраженная такимъ образомъ задача анализа и истолкованія вполнѣ совпадаетъ съ методомъ, выдвинутымъ матеріалистической философіей исторіи, съ типичнымъ ея требованіемъ отыскивать во всякой группѣ идей классовую основу и давать всякой идеологіи соціально-экономическое истолкованіе. Въ этомъ смыслѣ методъ, предложенный историческимъ матеріализмомъ, составляетъ важный шагъ впередъ въ теоріи историческаго познанія.

Прежде всего въ немъ слѣдуетъ видѣть правильную, необходимую реакцію противъ укоренившагося миѳологизма, или магицизма. Историческій матеріализмъ указываетъ сдержку противъ чрезмѣрно смѣлыхъ полетовъ комбинаціонной фантазіи. Матеріалистическая философія исторіи хочетъ видѣть въ личности прежде всего представителя группы. Она предлагаетъ не вводить сразу двухъ неизвѣстныхъ: массы и воздѣйствія на массу. Надо ограничиться опредѣленіемъ неизвѣстнаго по извѣстному: массы по выдѣляющимся на ея фонѣ, но входящимъ въ ея составъ личностямъ.

Перемѣны внесенныя политическимъ развитіемъ.

Выяснить условія, при которыхъ сложился свойственный матеріалистической философіи исторіи методъ классоваго истолкованія идеологіи, составляло бы особую

интересную задачу. Но здѣсь невозможно обойти самый основной мотивъ. Европейскія событія XIX в. сыграли огромную, рѣшающую роль. Какъ много значило выступленіе крупныхъ организованныхъ союзовъ, большихъ дисциплинированныхъ партій, необходимость для всѣхъ культурныхъ дѣятелей приспособляться къ той или другой программѣ, выставляемой большимъ общественнымъ соединеніемъ! Это научно-дисциплинирующее вліяніе политики мы испытали недавно самымъ наглядным образомъ. Послѣ движенія 1905 г. мы уже невольно опредѣляемъ всѣхъ интеллигентныхъ людей по партіямъ, все равно, записаны они въ нихъ или нѣтъ; мы сводимъ личныя, иногда, казалось бы, капризно-личныя черты и оттѣнки воззрѣній на большія установившіяся общественныя группировки. Вся страна представляется намъ ясно раздѣленной на большіе, компактные по своимъ интересамъ общественные слои. Намъ кажется теперь изумительнымъ тотъ туманъ соціальныхъ идиллій, который облекалъ головы значительной части интеллигентнаго слоя при нашемъ старомъ режимѣ, хотя бы, напримѣръ, такія представленія, какъ мысль о возможности демократической монархіи, державшаяся на неспособности или неумѣньи подставлять къ идейнымъ программамъ соціальный, классовый фундаментъ. Можетъ быть, поколѣніямъ, вырастающимъ среди яркаго дневного свѣта новыхъ условій, которыя требуютъ новой постановки вопросовъ, трудно въ достаточной мѣрѣ представить себѣ, насколько неясны, сбивчивы были соціально-политическія представленія еще очень недавняго времени. Въ данную минуту классовое истолкованіе идейныхъ теченій должно казаться большинству наблю-

дателей самымъ естественнымъ способомъ ихъ разсмотрѣнія. А, между тѣмъ, мы были еще въ самое послѣднее время такъ далеки отъ него! И разъ не было привычки, не было потребности относить личныя выступленія къ большимъ групповымъ комплексамъ, могла процвѣтать въ высокой степени вѣра въ сверхъестественную силу личности, въ какія-то необычайныя свойства личнаго самоусовершенствованія и т. п.

Значеніе опыта, принесеннаго этнологіей.

Если важнѣйшимъ практическимъ условіемъ новаго метода были успѣхи политической жизни новѣйшей Европы и Америки, то другимъ, болѣе спеціальнымъ мотивомъ можно было бы считать появленіе новой отрасли знанія въ XIX вѣкѣ, той науки, которую вначалѣ называли преимущественно соціологіей и которая теперь все больше и больше превращается въ *этнологію*.

На первый взглядъ такое утвержденіе можетъ показаться страннымъ. Но я укажу на то, что на всемъ протяженіи существованія этой науки замѣтно ея, если можно выразиться, соціально-философское вліяніе. Съ первыхъ шаговъ соціологіи или этнологіи, когда появился въ кругозорѣ науки дикарь, или первобытный человѣкъ, онъ интересовалъ интеллигенцію не только какъ предокъ, какъ полуживотный родоначальникъ тонко чувствующаго и глубоко разсуждающаго новѣйшаго европейскаго полубога. Дикарь интересовалъ не только, какъ исчезнувшій или исчезающій зоологическій типъ, нѣтъ, онъ съ самаго начала занималъ науку въ качествѣ человѣка и представителя человѣческаго общества вообще, въ качествѣ особенно важнаго, особенно нагляднаго опытнаго поля для выясненія основныхъ законовъ соціальной жизни. Наука XVIII вѣка демонстрировала на дикарѣ свое „естественное право“, свое пред-

ставленіе о вѣчно-неизмѣнныхъ законахъ жизни: она старалась разыскать въ его бытѣ и понятіяхъ очертанія устойчиваго общечеловѣческаго строя, къ которому культура является лишь надстройкой, дополненіемъ. Одно изъ направленій XVIII вѣка, ярко представленное Руссо, объявило даже дикаря нормальнымъ типомъ, а культурнаго человѣка — искаженіемъ, грѣхопаденіемъ, отпаденіемъ отъ нормы. Реакція потомъ пыталась перегнуть палку въ противоположную сторону и представить дикаря дегенератомъ, наказаннымъ злодѣемъ, поверженнымъ въ прахъ бывшимъ культурнымъ человѣкомъ, несущимъ всѣ злыя послѣдствія свой культурной гордыни. Какъ ни курьезна была эта идея, но она свидѣтельствовала попрежнему о философскомъ интересѣ къ объекту этнологіи.

Безъ сомнѣнія, и въ современной этнологіи огромную роль играетъ, рядомъ съ чисто-описательной задачей, рядомъ съ археологическимъ и архивнымъ интересомъ еще другая задача и другой интересъ, который приходится назвать *соціально - философскимъ*. Соотношенія, которыя мы наблюдаемъ въ средѣ малокультурной, должны намъ дать сравнительный матеріалъ для сужденія о характерѣ современнаго культурнаго человѣчества. Стоитъ вникнуть въ постановку вопросовъ и характеръ изученія въ области этнологіи. Вотъ, напримѣръ, вопросы о происхожденіи семьи, о возникновеніи власти, о возникновеніи аристократіи, о роли новаторовъ, пророковъ, изобрѣтателей въ средѣ дикихъ или малокультурныхъ народовъ; вотъ другіе вопросы — о возникновеніи сказаній, обрядовъ, вѣрованій. Нерѣдко ученый изслѣдователь совершенно сознательно отбрасываетъ въ ходѣ работы вопросъ о началѣ явленія, напримѣръ, о

началѣ семьи, въ собственномъ смыслѣ, какъ задачу неразрѣшимую, лежащую за предѣлами познанія, приблизительно вродѣ вопроса о населенности планеты Марса. Во всякомъ случаѣ онъ старается въ глубинѣ культурныхъ вѣковъ, въ обстановкѣ „первобытнаго“ общества найти общія повсемѣстныя и постоянныя основы явленій соціальной жизни. Его занимаютъ вопросы: на чемъ держится семья вообще, отчего въ обществѣ происходитъ разслоеніе, какъ слагается власть вообще и на чемъ она строится, какъ готовится въ обществѣ новизна или реформа, какое мѣсто занимаютъ руководящія личности и т. д.

Въ наше время этнологъ является болѣе, чѣмъ когда-либо, соціальнымъ философомъ. И если за разрѣшеніемъ общихъ соціологическихъ вопросовъ мы должны отправляться въ область этнологіи, то мы исходимъ отъ соображенія, что въ жизни малокультурныхъ обществъ уже имѣются всѣ тѣ соотношенія, которыя насъ интересуютъ въ культурной средѣ; но тамъ эти соотношенія проще, или, какъ выражались въ XVIII вѣкѣ, они выступаютъ въ своемъ естественномъ видѣ. И въ самомъ дѣлѣ, позднѣйшія культурныя общества создали въ значительной степени новый условный міръ: отдѣленіе господствующихъ классовъ, долгое ихъ преобладаніе, появленіе и развитіе въ ихъ средѣ литературы, все это факты, которые и разорвали общество, и вмѣстѣ съ тѣмъ глубоко и невыгодно измѣнили, сузили бытъ и сознаніе низшихъ, отодвинутыхъ классовъ, такъ наз. „народа“. Благодаря этому простой народъ въ Европѣ, относительно говоря, бѣднѣе духовнымъ содержаніемъ своей жизни, чѣмъ народныя группы менѣе культурныхъ обществъ, не пережившихъ того рокового

раздѣленія, на почвѣ котораго образовалась наша новая культура.

Изученіе этнологіи позволяетъ намъ освободиться отъ тумана понятій, сложившагося въ условномъ мірѣ культурнаго общества. Въ этомъ мірѣ рефлексія, изображеніе явленій поднялись на степень самостоятельныхъ фактовъ, иногда заступаютъ собой собственно жизнь. Мы часто колеблемся, считать ли такое-то бытовое изображеніе въ литературѣ лишь отраженіемъ дѣйствительности или видѣть въ немъ композицію литературы, пущенную въ жизнь, ставшую благодаря этому дѣйствительностью. Въ рефлексіяхъ и отраженіяхъ отраженій, каковыми является наша жизнь, получаются иногда несообразныя, преувеличенныя, искаженныя перспективы. Достаточно напомнить литературную фигуру сверхчеловѣка, которой рѣшительно нѣтъ никакого соотвѣтствія въ общественныхъ нравахъ конца XIX вѣка, и которая представляетъ „чистую“ мечту, созданную худосочной и нетерпѣливой породой людей, между прочимъ получившей возможность высказаться и въ литературѣ.

Когда мы смотримъ на общество. живущее внѣ этихъ условностей, внѣ этой игры взаимно отражающихся зеркалъ, мы улавливаемъ соотношенія въ ихъ болѣе простомъ и естественномъ видѣ. Въ частности, въ разбираемомъ нами вопросѣ о руководящей роли личности, о роли новаторовъ, изобрѣтателей вождей и т. д., этнологія даетъ намъ очень сдержанный, очень ограничивающій фантазію отвѣтъ. Этотъ отвѣтъ въ значительной мѣрѣ сходится съ общимъ результатомъ, который мы получаемъ и отъ теоріи классоваго истолкованія идейныхъ теченій.

VII.

Анализъ понятія общественнаго класса.

Сравнительно съ недавнимъ господствомъ въ наукѣ телеологіи и миѳологизма новые пріемы анализа и истолкованія, нашедшіе себѣ выраженіе въ историческомъ матеріализмѣ и въ задачахъ этнологіи, являются огромнымъ переворотомъ. Понятно ожесточеніе, которое они вызываютъ во всѣхъ защитникахъ божественнаго начала въ человѣкѣ, начиная съ откровенныхъ мистиковъ и кончая наиболѣе стыдливыми представителями идеалистическаго quasi-критицизма. Чудесамъ личнаго творчества, всемогуществу человѣческой воли нѣтъ болѣе мѣста въ новомъ пониманіи общественной жизни.

Но чѣмъ болѣе цѣннымъ для насъ является новый методъ, тѣмъ важнѣе точно формулировать способъ его примѣненія.

Схематичность обычнаго понятія класса.

Матеріалистическая философія исторіи оперируетъ въ качествѣ основной единицы или контрольной массовой группы понятіемъ *класса*, понимая подъ классомъ производственную организацію, т.-е. группу, основнымъ признакомъ которой является мѣсто въ производствѣ или характеръ производства. Здѣсь желательно внести рядъ поправокъ, по возможности расширить понятіе

группы, освободить его отъ узкихъ границъ, отъ исключительности, въ которую оно поставлено историческимъ матеріализмомъ.

Припомнимъ одинъ изъ выводовъ, сдѣланныхъ раньше. Мы видѣли, что культура, которою живетъ человѣкъ, состоитъ изъ явленій разнаго возраста, разнаго происхожденія: между ними нѣтъ раціональной связи. Культура не систематична, она не можетъ быть выводима изъ одной линіи развитія. Поэтому выводить группу идейныхъ теченій изъ даннаго экономическаго положенія, объяснять идеологію изъ классоваго сознанія, въ свою очередь опредѣляемаго производственнымъ положеніемъ,—пріемъ слишкомъ упрощенный; это—слишкомъ крупная сѣть, въ которой неизбѣжно проскользнетъ очень многое, слишкомъ большой хирургическій ножъ, которымъ нельзя дѣлать тонкихъ анатомическихъ разрѣзовъ.

Вотъ примѣръ. Итальянскій пролетаріатъ, особенно на югѣ, отличается необыкновенной приверженностью къ религіознымъ чудесамъ всякаго рода, склонностью искать сверхъестественнаго заступничества у знаменитыхъ иконъ, мощей и т. д. Конечно, эти наклонности держатся невѣжествомъ, а невѣжество въ свою очередь—результатъ и спутникъ бѣдности и экономическаго разоренія. Но при тѣхъ же экономическихъ условіяхъ другія группы пролетаріевъ, англійскій рабочій начала XIX вѣка, германскій 40—50-хъ годовъ, напр., хотя бы силезскіе ткачи голодныхъ десятилѣтій, увѣковѣченные поэтизаціей Гергардта Гауптмана, далеки были отъ религіозной маніи итальянцевъ. Въ частности въ Англіи большой успѣхъ, и какъ разъ среди неорганизованной

бѣдноты, имѣлъ методизмъ, но эта отвлеченная проповѣдь, такъ сказать, теоретическаго спасенія глубоко непохожа на наивный реализмъ чудотворства и чудоискательства итальянцевъ. Здѣсь формула зависимости сознанія общественной группы отъ ея классоваго положенія оказывается недостаточной для истолкованія факта; она какъ бы образуетъ только самый первый приступъ къ методической работѣ и оставляетъ насъ на порогѣ изслѣдованія.

Сложность образованія класса.

Формула, сводящая идейныя теченія къ классовымъ отношеніямъ, признаетъ классы за первопричину дальнѣйшихъ измѣненій и не входитъ въ вопросъ о возникновеніи самаго класса. Историческій матеріализмъ довольствуется схематическимъ представленіемъ о выдѣленіи въ хозяйственной жизни группъ соотвѣтственно ихъ отношенію къ орудіямъ производства. Самъ по себѣ фактъ этотъ имѣетъ громадное значеніе, но онъ никогда не происходитъ въ той, такъ сказать, геометрической чистотѣ очертаній, какъ его предполагаетъ матеріалистическая теорія. Классъ обыкновенно не составляетъ естественной группировки, получившейся отъ одного простого процесса; на его образованіи отражается большею частью цѣлый рядъ различныхъ процессовъ. Не все „культурное“—продуктъ сознанія уже готоваго класса. Наоборотъ, большая часть культурныхъ признаковъ являются дополнительной конститутивной силой въ образованіи класса. Или, иначе говоря, культурный признакъ является такимъ же существеннымъ въ опредѣленіи класса, какъ и всѣ другіе. Отнявши его, мы разнимаемъ цѣлое. Напр., средневѣковое рыцарство, несомнѣнно, можетъ быть опредѣлено по

своему военному ремеслу и землевладѣльческому положенію, но эта формула подойдетъ къ быту военныхъ колонистовъ разныхъ временъ и народовъ и не схватитъ своеобразнаго соціальнаго положенія данной группы. Въ живой дѣйствительности западно-европейское рыцарство было также цѣлой группой понятій и чувствъ, характеризуемыхъ оригинальной литературой, обрядами, тотемистикой и т. д. Какъ организованная группа, какъ классъ, рыцарство выдѣлилось лишь съ появленіемъ этихъ культурныхъ признаковъ.

Нерѣдко экономическій признакъ вовсе не выступаетъ первымъ по времени въ образованіи класса. Любопытнымъ примѣромъ въ этомъ отношеніи можетъ служить исторія протестантизма во Франціи XVI и XVII вѣковъ. Сначала сектантское направленіе, по разнымъ причинамъ не усвоенное правительствомъ, не имѣвшее шансовъ стать государственной церковью, притягиваетъ къ себѣ извѣстные оппозиціонные слои: во-первыхъ, дворянство и именно ту его часть, которая стоитъ въ сторонѣ отъ придворной столичной службы и не участвуетъ въ бюрократіи; во-вторыхъ, извѣстные круги городского населенія, давно уже враждовавшаго съ богатой церковью и ея поборами, давно уже добивавшагося церковной автономіи, при активномъ участіи свѣтскаго элемента, съ болѣе дешевымъ и экономнымъ управленіемъ. Конечно, можно сказать, что во Франціи были уже раньше готовые классы, которые приспособились къ нѣкоторому церковному направленію, сдѣлали его своимъ. Но, съ другой стороны, въ протестантизмѣ французскомъ есть черты, которыя трудно вывести изъ сословныхъ или экономическихъ вкусовъ: таковы наклонность

къ сухому раціоналистическому догматизированію, вызубриваніе библіи и примѣненіе ея текстовъ во всѣхъ мелочахъ жизни, дѣлающее гугенотовъ настоящими приверженцами „религіи книги“, своеобразная склонность къ аскетической внѣшности, къ пуританской или спартанской простотѣ и мрачности; все это черты, которыя не вытекали изъ ранѣе данныхъ классовыхъ мотивовъ. Но въ свою очередь эти черты прибавили нѣчто въ такой мѣрѣ существенное къ жизни цѣлой группы, что въ результатѣ получилось какъ бы новое классовое наслоеніе. Гугенотское дворянство отдѣлилось, въ качествѣ провинціальнаго, довольно рѣзко отъ дворянства католическаго, сохранившаго дружбу съ дворомъ, съ бюрократическимъ абсолютизмомъ.

По мѣрѣ усиленія бюрократіи, по мѣрѣ истребленія феодальныхъ и сепаратистскихъ теченій, съ прекращеніемъ непрерывной почти гражданской войны, питавшей автономные элементы въ дворянствѣ, быстро начинаетъ таять и составъ гугенотскаго дворянства; оно массами переходитъ въ католичество, поступаетъ на королевскую службу, получаетъ новые жалованные титулы и имѣнія и утрачиваетъ свой прежній характерный спартанско-библейскій обликъ. Зато гугенотство удерживается въ другихъ кругахъ общества, частью въ крестьянствѣ отдаленнаго горнаго юга, на почвѣ котораго потомъ возникаетъ мистико-экстатическое движеніе камизаровъ, но главнымъ образомъ въ средѣ городского купечества и индустріаловъ. Это соціальное распредѣленіе сектантства, послѣ разрыва съ нимъ дворянства, очень напоминаетъ судьбы одновременнаго русскаго раскола XVII вѣка, закрѣпляющагося въ сѣверномъ и

поволжскомъ крестьянствѣ и въ представителяхъ городского торговаго и индустріальнаго капитала.

Но вмѣстѣ съ тѣмъ наблюдается и въ той, и другой, и въ русской, и во французской сектантской средѣ, нѣкоторое новое явленіе. Происходитъ своеобразное скопленіе капиталовъ въ рукахъ раскольничьей буржуазіи: у нея вырабатываются особыя формы веденія промышленнаго дѣла; во Франціи гугеноты становятся банкирами и создателями новыхъ индустріальныхъ предпріятій фабричнаго типа. Еще новой аналогіей къ тому же факту можетъ служить выдѣленіе въ качествѣ банкировъ, крупныхъ коммерсантовъ и новыхъ фабричныхъ предпринимателей—англійскихъ диссентеровъ, т.-е. пуританъ, отколовшихся отъ государственной церкви.

Какую роль сыграли здѣсь религіозныя убѣжденія? Конечно, было бы странно выводить бережливость, расчетъ и оборотливость сектантовъ изъ раціоналистическихъ пріемовъ и прозаичности ихъ библейскаго направленія. Но связь между направленіемъ мысли и общественнымъ положеніемъ, несомнѣнно, есть, и она получается вслѣдствіе того, что сектанты принудительно выдѣлены отъ цѣлаго ряда занятій и профессій, главнымъ образомъ отъ всякихъ видовъ государственной службы; какъ носители запрещеннаго культа, они подлежатъ всякимъ штрафамъ и взысканіямъ, поборамъ и погромамъ со стороны администраціи и населенія, придерживающагося офиціальнаго культа. Въ значительной степени, но только еще болѣе рѣзко, всѣ эти условія сказываются и на положеніи европейскаго еврейства. Результатъ ихъ очень понятенъ. Находясь подъ извѣстнымъ гнетомъ, вдвинутые принудительно въ узкое

русло опредѣленныхъ профессій въ значительной мѣрѣ отрицательнымъ путемъ, исключеніемъ ряда другихъ, ставшихъ недоступными, люди опредѣленнаго религіознаго толка бросаются на то немногое, что имъ осталось, и совершенствуютъ извѣстныя отрасли промышленности или техники, вырабатываютъ въ нихъ новыя формы, достигаютъ новыхъ изобрѣтеній. Находясь подъ страхомъ разныхъ взысканій, они пріобрѣтаютъ искусство скрывать и сберегать капиталы, а однимъ изъ самыхъ существенныхъ средствъ къ тому является церковно-общинная организація единомышленниковъ, которая обращается въ своеобразную систему взаимнаго страхованія и кредита.

И вотъ только теперь, въ результатѣ всѣхъ этихъ добавочныхъ образованій, всѣхъ этихъ дополнительныхъ признаковъ, получается характерно очерченный классъ. Его образованіе вовсе не идетъ по простой единой линіи, которой этапы можно было бы обозначить такъ: экономическое отдѣленіе, экономическая конституція, затѣмъ выработка соотвѣтствующей идеологіи, отражающей экономику и развивающей дальше заложенные въ ней принципы. Дѣло гораздо сложнѣе. Экономическіе мотивы, своеобразные принципы и пріемы разсужденія и вѣрованія, внѣшніе толчки сплетаются между собою въ различныхъ комбинаціяхъ; а главное—классъ получается не въ началѣ, какъ незыблемый фундаментъ всего построенія, а скорѣе въ концѣ, какъ совокупность соединившихся вмѣстѣ вліяній и признаковъ.

Значеніе факта организаціи въ образованіи класса.

Теорія, объявившая классовую борьбу за сущность историческаго процесса, недостаточно оцѣниваетъ фактъ перевѣса организованныхъ силъ общества, фактъ пода-

вляющей силы государства и рѣшительнаго воздѣйствія политическихъ переворотовъ на идейную жизнь общества.

Понятно, какъ произошелъ этотъ пробѣлъ въ теоріи историческаго матеріализма. Она возникла, какъ реакція противъ преувеличеннаго политическаго строительства, противъ вѣры въ исключительную спасительность опредѣленныхъ конституціонныхъ тонкостей, противъ свойственной XVIII вѣку и началу XIX вѣка исключительно политической исторіографіи. Историческій матеріализмъ исходилъ отъ того общаго соображенія, что политическія формы составляютъ лишь послѣднія поверхностныя образованія, что онѣ только показатели глубже лежащихъ общественныхъ силъ и соединеній интересовъ. Будучи отвлечены отъ своей соціальной основы, политическіе символы теряютъ содержаніе, и ихъ перестановка обращается въ безплодную игру. Поэтому матеріалистическая философія исторіи стала искать болѣе существенныхъ и прочныхъ соединеній въ обществѣ, которыя и могли бы служить объясненіемъ важныхъ перемѣнъ исторической жизни. Такими основными, глубже лежащими фактами были признаны сословія, классы, въ видѣ большихъ профессіональныхъ и экономическихъ группъ. Само государство съ этой точки зрѣнія пришлось разсматривать, какъ общественное явленіе, какъ господство извѣстнаго класса или союзъ, компромиссъ классовъ.

Это были чрезвычайно важныя научныя открытія, и они имѣли очень большое, очень рѣшительное вліяніе въ области исторической науки. Методъ, внесенный матеріализмомъ, отразился далеко за предѣлами круга

партійныхъ или философскихъ единомышленниковъ; историки всѣхъ направленій, въ томъ числѣ очень консервативныхъ, вынуждены, сознательно или незамѣтно для себя, итти по линіямъ, указаннымъ этимъ методомъ, и группировать историческія явленія по рубрикамъ соціально-классовой терминологіи, отыскивать соціальныя основанія для идейныхъ теченій.

Но при этомъ истолкованіи, теперь уже намъ вполнѣ привычномъ, можетъ быть, слишкомъ часто игнорируется одно обстоятельство. Если мы въ правѣ разсматривать государство, какъ соединеніе извѣстныхъ общественныхъ силъ, захватившихъ себѣ господство, иногда какъ организацію господства опредѣленнаго класса, то обратно—не слѣдуетъ забывать, что классъ формируется только на почвѣ государства, что внѣ государства и раньше государства нѣтъ классовъ, какъ объединенныхъ группъ, какъ дѣйствующихъ силъ. Классъ не есть явленіе стихійное или естественное, наподобіе расы, въ родѣ антропологическихъ образованій. Классъ представляетъ нѣчто большее, чѣмъ собраніе профессіональныхъ признаковъ и повторяемостей. Разсѣянные на большой территоріи, не сообщающіеся между собою, представители одной и той же хозяйственной спеціальности или отрасли труда не составятъ еще класса согласно нашему обычному представленію. Пусть только наблюдатель мысленно поставитъ на одной сторонѣ египетскихъ крестьянъ за долгіе вѣка самостоятельнаго государства въ Нильской долинѣ и за время ея принадлежности персамъ, грекамъ, римлянамъ, арабамъ, т.-е. пассивную рабочую массу, надъ которой смѣнялись различные господа; пусть поставитъ на той же сторонѣ римскихъ колоновъ Африки или

средневѣковыхъ французскихъ сервовъ, т.-е. крестьянскіе элементы, хотя и многочисленные, но разсѣянные по отдѣльнымъ экономіямъ, отдѣльнымъ феодальнымъ міркамъ; на другой сторонѣ пусть поставитъ такія группы, какъ аѳинскій мореходный ὄχλος, римскихъ всадниковъ, англійскую джентри, современную индустріально-рабочую демократію Германіи. Разница такъ велика, что прилагать къ явленіямъ того и другого ряда одинъ и тотъ же терминъ „классъ“ невозможно.

Роль государства въ образованіи классовъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ приведенное сопоставленіе даетъ намъ возможность выдѣлить основной фактъ, создавшій столь существенное отличіе. Это—фактъ *организованности*. Въ самомъ отчетливомъ видѣ мы встрѣчаемъ организованность въ современныхъ политическихъ партіяхъ. Но это фактъ очень поздній, и партійность имѣетъ свою большую предшествующую исторію. Въ этомъ процессѣ нарастанія организованности и отчетливости группъ наблюдается большая неравномѣрность. Сначала сплачиваются небольшія, особенно выгодно поставленныя группы въ формѣ воинственной дружины, союза торговцевъ, членовъ магической корпораціи; иногда эти профессіи своеобразно комбинируются и даже всѣ сливаются вмѣстѣ; таково первоначальное государство—оно же церковь. Но въ одно и то же время происходитъ и выдѣленіе этихъ группъ, какъ класса; классъ скоро послѣ возникновенія сразу прогрессировалъ, совершилъ крупный подъемъ. Остальныя массы стоятъ совершенно въ сторонѣ отъ этихъ соединеній, онѣ лишь условно входятъ въ государство, какъ входятъ въ это государство рѣки и лѣса страны. Больше того—въ смыслѣ разъединенности положеніе ихъ съ образова-

ніемъ государства становится большею частью хуже; господствующія группы, сложившійся классъ или классы въ силу пріобрѣтеннаго политическаго перевѣса получаютъ возможность усилить свои поборы, налагаемые на рабочихъ, увеличить повинности зависимыхъ людей и усилить также раздробленность низшихъ слоевъ. Въ этомъ смыслѣ, напр., феодализмъ, феодальное государство представляетъ шагъ впередъ сравнительно съ предшествующимъ какъ будто бы болѣе объединеннымъ, а въ сущности болѣе рыхлымъ государствомъ. Яснымъ результатомъ болѣе прочной организаціи высшихъ слоевъ въ феодальную эпоху является прикрѣпленіе низшихъ, возникновеніе крѣпостного права, которое можно считать государственнымъ явленіемъ по преимуществу.

Такимъ образомъ, если группы раньше организующіяся становятся классомъ и крѣпнутъ, какъ классъ, то группы непреуспѣвшія, напротивъ, отбрасываются назадъ, отдаляются отъ образованія класса; тотъ и другой фактъ объединяется въ одномъ комплексѣ, въ „образованіи государства“. Образованіе государства есть фактъ благопріятный для однихъ группъ, для возникновенія и укрѣпленія однихъ классовъ и неблагопріятный для другихъ группъ, для возникновенія другихъ классовъ. Возникшее государство сразу и быстро усиливаетъ имѣющееся уже неравенство, оно увеличиваетъ соціальныя противоположности, обостряетъ ихъ.

Дальше процессъ можетъ пойти различно. Господство политически организованнаго класса и раздробленность, классовая недоразитость отодвинутыхъ слоевъ можетъ утвердиться надолго, какъ это было, напримѣръ, въ

Египтѣ, гдѣ и сейчасъ феллахи приблизительно въ томъ же положеніи, что были крестьяне за 300 лѣтъ до Р. Х.; всѣ завоеванія Египта, персидское, греческое, римское, арабское, турецкое, мамелюкское были взаимными столкновеніями высшихъ военныхъ феодальныхъ организацій, одной, которая раньше здѣсь утвердилась, и другой, которая позже пришла. Классовое дѣленіе оставалось то же самое, мѣнялись его представители, его личный составъ наверху.

Но можетъ получиться и обратное явленіе. Политическое сплоченіе высшихъ классовъ, государственная организація господствующихъ классовъ вызываетъ къ жизни новый фактъ, *оппозицію*, т.-е. сплоченіе разрозненныхъ до тѣхъ поръ низшихъ слоевъ; эти слои поднимаются къ классовой жизни. Въ средневѣковомъ европейскомъ феодальномъ государствѣ отчетливымъ моментомъ образованія такой классовой оппозиціи являются большія крестьянскія возстанія, французская жакерія 1357 г., англійское возстаніе Уота Тайлера 1381 г., германское реформаціонное великое возстаніе 1525 г. Въ Англіи XIV в. въ непосредственномъ сосѣдствѣ стоятъ два факта: репрессивное рабочее законодательство середины вѣка, систематически выработанное въ парламентѣ рыцарствомъ, представителями класса сельскихъ предпринимателей для обузданія рабочихъ элементовъ, и въ видѣ какъ бы прямого отвѣта на эту мѣру классовой политики программа требованій крестьянъ, появленіе вооруженныхъ организацій передъ столицей, т.-е. возникновеніе оппозиціоннаго класса изъ тѣхъ элементовъ, которые высшій классъ старался дезорганизовать своей организаціей.

Если слѣдить дальше за классовой исторіей Англіи, то получается опять впечатлѣніе неравномѣрности, прерывчатости развитія. Въ концѣ XIV вѣка какъ будто началъ организовываться оппозиціонный сельскій классъ; но это развитіе останавливается. Общественнымъ слоямъ, сидящимъ въ парламентѣ, удается образовать дворянское государство. При новыхъ политическихъ успѣхахъ высшаго класса, три вѣка спустя, въ эпоху безкровной революціи 1688 г. и послѣдующаго капиталистическаго усиленія землевладѣльческаго сословія, оппозиція внизу оказывается гораздо слабѣе, чѣмъ она была въ XIV в.; вытѣсняемые съ земли копигольдеры, долгосрочные арендаторы, или коттеры, осѣдлые сельскіе рабочіе, не организуются для протеста, какъ за 3—4 вѣка назадъ. Въ XVIII вѣкѣ они были дальше отъ классовой организаціи, чѣмъ въ XIV вѣкѣ.

Но въ то же самое время организація наверху получаетъ важное добавленіе или измѣненіе, а отсюда получаются новыя измѣненія внизу. Рядомъ съ землевладѣльческимъ капитализмомъ съ XVIII вѣка появляется торгово-индустріальный и претендуетъ на политическую власть. Государство принимаетъ другой видъ въ XIX в. Соперничество двухъ высшихъ классовъ открываетъ новые шансы для организаціи низшихъ классовъ, рабочихъ, для ихъ политическаго выступленія и для ихъ экономическаго возрожденія. Затруднительно сказать, что въ Англіи произошло раньше, классовое ли выдѣленіе индустріальныхъ рабочихъ или ихъ политическая формація, потому что второе включено въ первое, или это одинъ и тотъ же фактъ, который мы назовемъ фактомъ организаціи и организованности.

То же самое значеніе политическаго толчка и, пожалуй, еще ярче можно наблюдать въ Германіи XIX в. Рабочій классъ, какъ организованная сила, выступаетъ лишь на почвѣ объединеннаго государства; формація класса завершается тѣмъ, что онъ составляетъ партію, въ свою очередь возможную только на почвѣ широкаго политическаго объединенія. Конечно, ясно, что Германская имперія есть единство націи или народа, только въ самомъ благорѣчивомъ, офиціально и лицемѣрно патріотическомъ смыслѣ этого слова; въ дѣйствительности имперія составляетъ единство и объединенное господство опредѣленныхъ общественныхъ слоевъ, опредѣленныхъ преуспѣвшихъ классовъ. Но тотъ самый фактъ, который создалъ ихъ господство, послужилъ вмѣстѣ съ тѣмъ важнѣйшимъ шансомъ для организаціи протеста, для объединенія противниковъ, до тѣхъ поръ не существовавшихъ, какъ цѣльная сила.

Въ практической политикѣ значеніе этого элемента организованности, вносимаго государствомъ прямо и косвенно, превосходно оцѣнено, и въ этомъ отношеніи программы и тактика германской соціалъ-демократіи являются образцомъ продуманности и послѣдовательности, насколько эти свойства вообще достижимы въ политической жизни. Въ теоріи, при историческомъ анализѣ, въ составленіи нашихъ историческихъ сужденій и оцѣнокъ мы, можетъ быть, не привыкли еще въ достаточной мѣрѣ взвѣшивать значеніе тѣхъ самыхъ фактовъ, которыми съ успѣхомъ пользуется опытъ жизни.

Всѣ приведенныя замѣчанія имѣли цѣлью сдѣлать поправки къ той теоріи—которая старается свести исто-

рическія явленія, факты человѣческой культуры на интересы, группировки, движенія въ средѣ большихъ общественныхъ слоевъ и соединеній. Матеріализму, какъ исторической философіи, принадлежитъ вся заслуга важнаго открытія въ области метода. Дѣло идетъ теперь объ усовершенствованіи принятаго и всюду торжествующаго пріема. Необходимо заняться болѣе точной и болѣе разносторонней формулировкой тѣхъ категорій, при помощи которыхъ мы стараемся дать истолкованіе исторической жизни.

БИБЛИОТЕКА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
АКАДЕМИИ.

Того-же автора:

Учебникъ Древней исторіи съ рисунками и историческими картами. Седьмое изданіе. Москва, 1909 г. Ц. 1 р.

Учебникъ исторіи Среднихъ вѣковъ съ историческими картами. Пятое изданіе. Москва, 1910. Ц. 1 р. 25 к.

Учебникъ Новой исторіи съ историческими картами. Четвертое исправленное изданіе. Москва, 1910 г. Ц. р. 50 к.

Общественныя ученія и историческія теоріи XVIII и XIX вв. въ связи съ общественнымъ движеніемъ на Западѣ. Второе изданіе. Москва, 1908. Ц. 1 р. 20 к.

Лекціи по исторіи Греціи. Часть I. Третье изданіе. Москва, 1909. Ц. 1 р.

Очерки исторіи Римской имперіи. Москва, 1908. Ц. 1 р. 75 к.

Складъ изданій въ книжномъ магазинѣ **В. С. Спиридонова и А. М. Михайлова,** Москва, Тверская, Столешниковъ пер., д. Ліанозова.